Олеся Николаева

«НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ»

и другие рассказы



Олеся Николаева

«Небесный огонь»

и другие рассказы





Олеся Николаева

«Небесный огонь»

и другие рассказы

Пятое издание



Издательство
Сретенского монастыря
Москва, 2012

УДК 23/28
ББК 86.372
Н62

Допущено к распространению
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС 12-204-0247

Олеся Николаева

Н62 «Небесный огонь» и другие рассказы. – 5-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 496 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-0746-0

В сборник рассказов Олеси Николаевой вошли как новые произведения, так и уже успевшие полюбиться читателю сюжеты. Издание продолжает собой серию, начатую книгой архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и другие рассказы». Ее главная тема – Промысл Божий в жизни человека.

Издание снабжено множеством иллюстраций.

УДК 23/28
ББК 86.372

ISBN 978-5-7533-0746-0

Вместо предисловия

...Я понимаю, это может быть сочтено нескромным, более того — дерзновенным и даже прелестным, с ударением на первом слоге, то есть в церковном смысле этого слова: вот так и рассказывать чудесные истории, которые произошли с тобой или твоими близкими... Я знаю многих замечательных людей, ведущих духовную жизнь, и они остерегаются говорить о чудесах, которые случались в их жизни, считая это предметом очень личным, очень сокровенным...

И тем не менее, взвесив все «за» и «против», я иду на риск, ибо всякие истории, свидетельствующие о действии Промысла в мире и душе человека, о милости нашего Спасителя и Бога, о том, что «творит Бог елико хощет» и тогда «превышается естества чин», — утешительны, радостны, духоподъемны.

Философ А. Лосев рассматривал чудо как совпадение двух планов бытия, осуществляющееся в плане одной и той же личности. Это — внутренний план личностной заданности, то есть замысла Божиего о человеке, творческой идеи, и план исторический,

развернутый во времени и становлении, то есть план судьбы. Эти два плана вдруг соединяются в некоем неделимом образе: «Личность... вдруг хотя бы на минуту выражает и выполняет свой первообраз целиком, становится тем, что сразу оказывается и веществом, и идеальным первообразом. Это и есть настоящее место для чуда. Чудо — диалектический синтез двух планов личности, когда она целиком и насквозь выполняет на себе лежащее в глубине ее развития задание первообраза».

Такие моменты открываются человеку в Церкви, хранящей и являющей «тайны Царства Небесного», в церковных Таинствах, богослужении и молитве. Но порой происходит это и в любви, и в ощущении надвигающейся смерти, и в момент решающего нравственного выбора, и в ликовании, и в скорби, — и особенно явственно это происходит тогда, когда человек, обращаясь к Богу, начинает хотя бы чуть-чуть, хотя бы близоруко, хотя бы как «сквозь мутное стекло» смотреть на мир глазами веры, чувствовать свою непреложную с в я з ь с Творцом всяческих, просить у своего Промыслителя помощи и ответа и в конце концов получает их. Таким образом, вся жизнь верующего человека претворяется в развернутое непрестанное чудо, в чтение удивительных словес, где ему, конечно, понятно далеко не все, а только отчасти, чуть-чуть, едва-едва...

Каждый раз, даже в самом, казалось, маленьком случае, это явление славы Божией. Порой это невозможно воспроизвести на человеческом языке, это неописуемо. Порой это адресовано лично тебе и если начнешь кому-нибудь, в страхе, изумлении и трепете об этом рассказывать, собеседник может просто и не понять: а чего тут, собственно, чудесного?



Так, как-то раз я приехала в Лавру к старцу архимандриту Кириллу. Меня одолел страшный недуг – бессонница. Ночью я засыпала, в лучшем случае, на час-полтора и вдруг, как бы от внутреннего толчка, просыпалась и, несмотря на изнуряющую усталость, уже не могла сомкнуть глаз. Так продолжалось

почти два года. А тут еще добавилось то, что я перестала есть.

Истощенная, одурманенная от своей немощи, я и предстала пред отцом Кириллом. Он выслушал меня, как всегда, ласковый, любящий, сострадающий, дал мне коробку конфет и сказал:

– Тебе нужен покой...

– Батюшка, какой покой? Где же мне его взять? У меня семья большая, забот столько, страхов, трудов, суеты, страстей...

– Тебе нужен покой, – повторил отец Кирилл. – Пойди сейчас к преподобному Сергию...

В недоумении я вышла из его кельи.

«Ну да, покой, – думала я, – легко сказать! А что же мне сделать, чтобы его получить? Господи, погибаю!»

С этими мыслями я и вошла в Троицкий храм.

Как раз в этот момент священник начал читать Евангелие – отрывок, который я не только, конечно же, знала, но помнила наизусть. И я замерла на пороге.

«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете ПОКОЙ душам вашим».

Слово «покой» ударило мне в сердце и... наполнило его покоем. Слышанное мною много раз вдруг претворилось в живое слово, слово бытийное, несущее в себе реальность, слово исцеляющее, слово, обращенное лично ко мне.

Забыть это или оставить втуне мне кажется актом неблагодарности.

«Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя»!

Но есть и истории из церковной жизни забавные, нелепые, смешные... Их порой рассказывают друг другу монахи, священники, прихожане... И почему бы, слушая их, не улыбнуться в ответ?

В древних патериках есть история про одного авву, подвижника, человека святой жизни, который порой шутил и посмеивался над чем-нибудь со своими учениками.

Его спросили:

– Как же так?

А он ответил:

– Если тетиву лука долго натягивать, она может лопнуть от напряжения. Поэтому нужно время от времени ее ослаблять.

Многие имена и названия в историях – подлинные, но есть и такие, которые автор изменил: в данном случае для читателя это несущественно, а подлинных героев повествования убережет от любопытных глаз.

Ко всему произошедшему и написанному здесь автору нечего больше прибавить, кроме как: Господи, слава Тебе!


Архимандрит Серафим
(Тяпочкин)

Повелитель дождя



Про архимандрита Серафима (Тяпочкина) рассказывают такую историю.

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) служил в селе Ракитное Белгородской области. Был он сюда направлен священноначалием после долгих лет лагерей, которые изменили его облик до неузнаваемости. Когда он вернулся домой, в свой родной Днепропетровск, его не узнала родная мать.

Храм в Ракитном, когда он приехал туда, пребывал в плачевном состоянии — достаточно сказать, что в огромном куполе была дыра и снег падал на престол и жертвенник, когда отец Серафим служил литургию.

Однако его подвижническими трудами, молитвами и помощью Божией церковная жизнь здесь стала возрождаться, и вскоре отремонтированный и отреставрированный храм наполнился прихожанами и паломниками, приезжавшими сюда из всех уголков земли и почитавшими отца Серафима как старца.

Есть много рассказов о чудесной силе его молитвы, о его благодатности, прозорливости,

милосердии и любви. Он исцелял неизлечимые болезни, утешал отчаявшихся, обращал к Господу неверующих, изгонял бесов...

Служение его приходилось на времена безбожной власти, которая, видя такое процветание и многолюдство в его обители, чинило препятствия как ему самому с его клиром, так и приезжавшим к нему людям: их порой задерживала милиция или пугала проинструктированная где надо местная шпана.

Докучали батюшке и уполномоченный, и местная администрация, наступая на него всем своим идеологическим фронтом, но особенно ретиво боролся с ним секретарь обкома. Однако отец Серафим переносил это все благодушно. Когда кто-нибудь из прихожан заговаривал с ним о безбожной советской власти, старец мягко отвечал:

– Это попущение Божие. Давайте лучше поговорим о духовном...

И вот летом, кажется, это был 1972 год, страну поразила долгая страшная жара и засуха. Больше месяца не было дождя, все выгорало, урожай погибал. А секретарю обкома это грозило не то что строгим выговором, а вообще изгнанием с занимаемой должности, чего он, конечно, очень боялся.

И вот как-то раз такой удушливо-знойной ночью слышит отец Серафим, как кто-то стучится в его священнический домик.

Открыл он дверь, а там – секретарь обкома стоит, дрожит, палец к губам прикладывает: мол, тише, – тс! – товарищ святой отец Серафим, я к вам тайно и по очень важному государственному делу.

Впустил его отец Серафим. А секретарь обкома и говорит так заискивающе и просительно:

– Святой отец, засуха, урожай гибнет! Помолитесь, чтобы дождь пошел!

И даже неловко поклонился в пояс священнику.

На следующее утро после литургии отец Серафим устроил большой крестный ход – на поля, где и совершил водосвятный молебен, прося Господа не погубить посевы и сохранить урожай.

Только успел он переступить порог своего домика, как на небе собрались тучи и хлынул крупный дождь.

Он шел целый день и целую ночь, и снова день и ночь, и неделю, и две. Колосья уже стали чернеть от воды, а дождь все идет. Все стучит по крыше ночь напролет. Так и весь урожай сгнить может, а секретаря обкома за это погонят с его места поганой метлой.

И снова – как-то ночью раздается отцу Серафиму стук в дверь.

И опять на пороге стоит вымокший и жалкий секретарь.

– Отец Серафим, спасибо вам, конечно, за ваши труды, за дождь, но как бы теперь его приостановить, а? Мол, хватит уже, так сказать, спаси Господи! Может, вы там снова у себя наверху просигнализируете, чтобы солнце засияло, чтобы урожай успеть убрать, траву покосить, стога высушить? Замолвите уж словечко!

Отец Серафим на следующее утро после литургии отслужил молебен, и на небе засияло солнце, высохли лужи, и установилась ясная ровная погода.

Новый Никодим



Вообще эти уполномоченные по делам религии, которым в советское время была дана такая власть, требуют своего отдельного рассказа. Именно от них порой зависела судьба священника и прихода: они имели полномочия или вовсе не дать иерею Божьему регистрацию, или ее отобрать, и тогда он оставался без храма, меж небом и землей, или просто – шантажировали его этой угрозой.. Но, как правило, многоопытные священники, знатоки человеческих душ, умели с ними обращаться: те были падки на деньги, выпивку, жадные, сребролюбивые, и, как правило, их просто подкупали и подпаивали. Как называли их в церковном народе, «упал, намоченный»...

А отец Анатолий, многочадный деревенский священник, духовный сын архимандрита Серафима, тоже много чего претерпевавший от своего уполномоченного, в конце концов обратил его в свою веру. Вот как это было.

Уполномоченный попался ему очень идейный, агрессивный и «занозистый» – все время норовил

сделать какую-нибудь пакость священникам. И завел такой порядок: как только иерей Божий, назначенный в храм, обживется на своем месте, прихожанами пообрастет, только детишек в школу поотдает, крыльцо подремонтирует, огородик посадит, так его сразу и переводить в другое село, в противоположном конце епархии. Формально он придирался к тому, что священник ведет в храме чуть ли не антисоветскую агитацию. Однако для таких серьезных обвинений, подводящих иерея Божьего под уголовную статью, нужны были серьезные свидетельства. И вот поначалу этот уполномоченный сам захаживал во время проповеди, пытаясь поймать священника на слове, а потом, как бы чего-то испугавшись, стал засылать туда с той же целью своих сексотов. И, давая им инструкции, на какой-то своей летучке произнес фразу, которая вышла за пределы и стала крылатой: «Вы, в основном, вокруг все слушайте, а в саму церковь-то не особо часто заходите и не надолго, а то ведь– за-со-сет!»

Короче говоря, так и не набрав улик против этого отца Анатолия, он его все же с его девятью детьми изрядно помытарил, перебрасывая из деревни в деревню, из села в село.

А тут еще ему идея в голову пришла: в стране то и дело какая-нибудь вспыхивает эпидемия — то гриппа, то кори, а то и вовсе — холеры. И заказал он местному художнику написать такие красочные плакаты, на которых изображен толстенный поп с красно-фиолетовым злодейским лицом, который стоит с Чашей и причащает худосочных старух. А на Чаше — написано: «эпидемия гриппа» или «эпидемия холеры». И старухи эти, отходя

от священника, вроде как претыкаются и падают и ложатся штабелями – уже мертвехонькие.

Развесил уполномоченный эти плакаты повсюду где можно – и на вокзале, и в поликлинике, и у себя в кабинете и вызывает к себе отца Анатолия.

– Вот, Анатолий Васильевич, полюбуйтесь, – обращается он к нему по-светски, по имени-отчеству. – В стране эпидемия, а вы заразу распространяете – всем одну ложку в рот кладете. Не положено так. Не гигиенично! Должен я вам запретить на это время причащать-то! Санэпидемстанции просигнализировать!

– Так мы причащаем во исцеление души и тела, – начал было отец Аннатолий, но уполномоченный повторил:

– За-пре-тить!

Посмотрел отец Анатолий на эту мазню на плакате, вздохнул, оглядел какую-то плюгавенькую фигурку уполномоченного, тухленькое такое личико и сочувственно говорит:

– Я вот тоже иногда думаю – ведь ко мне причащаться всякие люди ходят. У них и туберкулез, и онкология, и гепатит, и что угодно. А я потом, когда они причастятся, все то, что в Чаше осталось, потребляю. И лжицу за ними – облизываю. И все это – палочки Коха, бациллы, вирусы, инфекции – вроде во мне оказывается...

Уполномоченный радостно закивал:

– Вот-вот! Переносчики заразы!

– Все это – во мне, – задумчиво продолжал отец Анатолий, – а я – вон каков!

И поднялся перед уполномоченным во весь рост. А рост у него – под метр девяносто, в плечах – косая сажень, кожа на лице гладенькая да натянутая,

розовая — так и пышет здоровьем и красотой. А зубы-то ровные, белоснежные, чистый рафинад, а волосы — против плешивого уполномоченного — что грива роскошнейшая, кудри крупные завиваются, глаза смотрят ясные, что два сокола... Одним словом, красавец отец Анатолий! Богатырь!

Посмотрел-посмотрел на него уполномоченный снизу вверх и как-то совсем скис.

Праведный Никодим. Микеланджело

Ушел от него отец Анатолий и занялся своими делами: богослужения, паства, детишки, матушка...

А через полгода появляется у него уполномоченный, совсем желтый, скукоженный, засохший, как полевая трава. Смотрит на цветущего священника — красавца и здоровяка — мутным взором:

— Рак,— говорит,— у меня нашли. Онкологию. Покрестите меня, отец Анатолий. И потом дайте мне из этой вашей Чаши целебной, из которой сами вы причащаетесь. Только в тайне. Партийный я. Нельзя мне.

Покрестил его отец Анатолий, и сделался уполномоченный у него тайным христианином. Вроде евангельского Никодима. Тот ведь тоже — членом синедриона был. А сам по ночам приходил к Иисусу, и когда настал час, собственноручно погребал Его, обернув в пелены, умащенные благовониями: алоэ и смирной.

Конфуз



Как рассказывали мне монахи, отец А. прежде был насельником Троице-Сергиевой лавры, откуда его сослали «с глаз долой» в Псково-Печерский монастырь.

И вот за что. Еще в советские времена в нижнем храме Успенского собора он устраивал отчитки бесноватых, и к нему приезжало отовсюду множество народа. А Лавра была в брежневские времена официальной «туристической точкой» — туда возили и иностранные делегации, и высокопоставленных лиц. Это имело важное идеологическое значение, ибо должно было засвидетельствовать гражданам других государств отсутствие у нас гонений на Церковь и полную свободу совести.

Привезли туда как-то раз группу важных чиновников, к тому же — иностранного, капиталистического происхождения. И один из наших крупных чинов, ответственный работник, повел их на экскурсию в Троице-Сергиеву лавру.

Они подивились ее величию, неземным красотам монастырских храмов, особой благорастворенности

воздухов, а ответственный работник, чтобы они не слишком увлекались всем этим опиумом, стал им рассказывать о монахах какие-то байки — про подземный ход, по которому они якобы вылезают далеко за пределами монастыря и вольно разгуливают по городам и весям, про то, как они добавляют в воду химические вещества, а потом выдают ее за святую,— словом, нес какую-то такую чушь. Потом что-то «на юморе» от себя добавил, скабрезное, не уставая напрягать лицевые мышцы иронической гримаской: мол, мы-то с вами все правильно понимаем!

А стояли они стайкой на площади перед Успенским собором, по которой отец А.— уже в епитрахили, в поручах — как раз шел на «вычитку» в нижний храм. И что-то зацепило его на ходу, так что он на минуту задержался возле этих

Архимандрит Адриан

экскурсантов — какая-то фраза этого ответственного работника его насторожила, царапнула: он даже подошел к нему поближе — послушать. И вот когда он приблизился, этот безбожный краснобай вдруг изменился в лице, сложил губы трубочкой, прижал руки к груди, сломав их в запястьях, как собачка, которая, стоя на задних лапках, «служит», и завыл по-собачьи, а потом еще и залаял.

Экскурсанты переглянулись, но поскольку лай был очень уж натуральным, они решили, что это он так шутит. И талантливо шутит, надо сказать. Точь-в-точь немецкая овчарка заливается. Поэтому они заулыбались, засмеялись, а потом еще и зааплодировали: «Ишь, артист!»

А он — минуту, другую — знай себе брешет. Схватил самого себя за горло и — не может остановиться. Красный весь, глаза навыкате — вот-вот из орбит выпрыгнут, а он все — гав-гав-гав-гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав...

Постоял, постоял возле него отец А., потом накрыл его голову епитрахилью, и тот умолк. А старец ему и говорит:

— Милый, тебе лечиться надо. Болен ты. Бес в тебе! Приезжай ко мне, я тебе помогу.

С тем и пошел себе в храм.

...Через несколько дней этого старца и услали в далекий провинциальный Псково-Печерский монастырь, подальше от людских глаз и толп. На всякий случай. А то — мало ли какому высокому чиновнику еще понадобилось бы посетить Лавру, и кто знает, какой еще конфуз мог бы там с ним при отце А. выйти: стал бы вдруг орать, как ишак, ржать, как лошадь, или кричать петухом, смущая народ. Мало ли что...

Денька два-три



Мой близкий друг детский писатель Геннадий Снегирев еще в советские годы часто ездил в Пустыньку к архимандриту Серафиму (Тяпочкину). Старец его очень любил и, когда приглашал на трапезу в свой священнический домик, то всегда усаживал рядом с собой.

И вот погостили, помолились, поисповедовались, причастились Снегиревы у старца Серафима и засобирались домой.

Татьяна – жена Геннадия – специально съездила на дребезжащем автобусе за пятьдесят километров в Белгород, простояла очередь в кассе и купила им билеты в Москву.

Вернулась в Ракитное, загодя договорилась с таксистом, что он довезет до поезда, собрала вещи, попрощалась с хозяйкой, у которой они снимали комнатку в избе, отдала ей деньги, которые у нее еще оставались, и Снегиревы тронулись в путь.

Оставили вещи в машине, зашли к старцу Серафиму за благословением на дорогу. А он им и говорит:



– Не надо бы вам сегодня-то ехать!

– Да как же так, – возопила Татьяна, – отец Серафим, у нас и билеты, и такси, и вещи – все-все!

– Нет, – покачал головой старец, – поезжайте-ка вы лучше денька через два-три. Побудьте здесь еще.

– Ой, отец Серафим, у нас и денег уже нет, и дела в Москве. Благословите уж лучше – поедем мы! Настроились мы уже. Всех дома предупредили.

– Денька, – мягко произнес старец и поднял руку для благословения, – через два-три, – повторил он, легонько ударяя Татьяну тремя перстами в лоб, – а то и через четыре, – он перенес свои персты и дотронулся до груди, – тогда Бог вас, – он коснулся ее правого плеча, – благословит, – и он опустил персты на ее левое плечо.

Повздыхали-повздыхали Снегиревы, но ничего не поделаешь – поворотились домой. Отпустили таксиста. Выгрузили и вновь разобрали вещи.

Татьяна пошла на телеграф и попросила срочно прислать ей денег на обратный путь. А на следующий день она снова поехала в тряском автобусе за билетами.

«Ну, отец Серафим, — думала она, — живет в каком-то своем духовном мире, ничего не знает о нашей реальной жизни. Вот это все — дела, заботы, деньги. А он уже в Царстве Божьем. И ему кажется, что все там. Но мы-то пока — здесь, на земле».

С такими мыслями она и приехала в Белгород. Но уже на входе в вокзал она поняла, что здесь творится что-то не то: толпы людей теснились у касс, штурмовали кабинет начальника вокзала, сидели на подоконниках и даже спали прямо на полу.

— А что случилось? — спросила Татьяна.

— Да вот вчера вечером на выезде из Белгорода столкнулись два поезда — пассажирский и товарняк. Народу погибло множество, а остальные — кто в реанимации, кто просто в больнице. И путь в Москву пока перекрыт — говорят, дня через два-три только и восстановится нормальное движение.

Вернулась Татьяна в Ракитное и провела там несколько замечательных дней, оглядывая все вокруг так, словно она родилась заново.



Архимандрит Серафим (Тяпочкин) и иеромонах Зинон. 1980 г.

Цветы для плащаницы



Мой друг Геннадий Снегирев и его жена — моя крестная мать Татьяна — то и дело ездили к старцу архимандриту Серафиму в Ракитное и жили в его Пустыньке по нескольку недель. Возвращались они, исполненные света и радости, и рассказывали такие чудесные истории, что мне, конечно, тоже очень хотелось поехать к нему. Но я чувствовала, что Татьяне что-то мешало взять меня с собой. Может быть, ей казалось, что я привнесу туда дух той московской жизни, от которой они бежали, а может быть, она считала, что человек должен сам приложить какие-то усилия, чтобы попасть к старцу. И всякий раз, когда я восклицала: «Ой, а возьмите меня с собой!», она как-то умолкала и отводила глаза.

Но к старцу мне все равно очень хотелось попасть — даже мое подсознание кричало об этом в снах. Несколько раз мне снился один и тот же сон, будто бы я стою на платформе метро, и вот подъезжает поезд, двери открываются, и там, прямо перед этими открытыми дверями, стоит старец Серафим — точно такой, каким я видела его

на фотографии, с двумя наперсными крестами на груди. Он стоит и словно подзывает меня рукой: иди сюда, иди. И я могу остаться стоять, где стояла — на этой платформе, а могу впрыгнуть в вагон и уехать с ним...

Вместе с тем снились и сны искусительные — от лукавого. В них ко мне приходили гладко выбритые господа в котелках, и вроде бы это были протестантские пасторы. Они приподнимали свои котелки, здороваясь со мной, и тоже звали меня к себе, но во сне я почему-то понимала, что это даже никакие не пасторы, а просто бесы. И тогда я пробовала перекреститься, но рука наливалась свинцовой тяжестью и я не могла поднять ее ко лбу... Словом, это было время искушений и самостоятельно, своими силами, я добраться до старца не могла.

И тут мне помог Господь.

Как-то раз — это было в апреле 82-го года — мне предложили поехать в писательскую поездку — читать стихи в город Шебекино Белгородской области и за это обещали заплатить какие-то деньги. Поскольку эти деньги мне были очень нужны, я и поехала. Выступила там перед школьниками, насельниками общежитий и работниками клубов и отправилась домой. В руках у меня был огромный букет белых, словно восковых цветов — каал, которые выращивали в местных оранжереях.

Я села на автобус, едущий в Белгород, с тем чтобы там пересесть на московский поезд. Но когда автобус наконец прибыл на автобусную станцию, я вдруг услышала объявление: «Через пять минут с третьей стоянки отправляется автобус на Ракитное».



И тут со мной что-то произошло. Я вдруг поняла, что должна пересесть на него и поехать к старцу. Я сейчас должна не думать о том, что мне, на самом деле, нужно ехать в Москву, где меня ждут муж и дети. Я должна, быть может, вообще ни о чем не думать, а просто побежать к кассам, купить билет и вскочить на подножку. И голос этот из репродуктора для меня – не просто голос диспетчера, а голос моей судьбы, обращенный лично ко мне. Я так и сделала.

Как только я вышла около храма в Ракитном вместе со своим огромным букетом, ко мне подошла женщина церковного вида – в длинном платье и платке – и сказала:

– Ну, слава Богу, что ты наконец-то приехала. Батюшка так и сказал: жди. А то нам нечем украшать плащаницу.

Взяла у меня цветы и пошла к храму. Это была Страстная Пятница.

Монах Леонид



Муж мой, узнав, что я в Ракитном, тоже приехал туда. А на следующий день после Пасхи, уже вечером, старец умер, и мы остались на отпевание и похороны.

Отпевать и хоронить отца Серафима отовсюду съехалось множество его духовных детей: епископы, священники, монахи, миряне. Старец словно напоследок соединял своей смертью людей, которых любил и молитвенно помнил. Во всяком случае из Ракитного мы уехали, обретя там на всю жизнь близких людей. Один стал нашим духовником, другой — наставником, третий — учителем, четвертый — другом.

А поскольку с самой Страстной Пятницы мы практически и не выходили из храма — молились, исповедовались, причащались, слушали Евангелие, которое священники по очереди неусыпно читали над телом лежащего посреди храма старца, то это явилось подлинным началом нашей церковной жизни.

Именно там, у гроба старца, мы и познакомились с монахом Леонидом и его послушницей — старушкой

инокиней Пелагеей. Монах Леонид был убог от чрева матери: до пояса он был похож на женщину — хорошая такая, симпатичная бабуся, а вот ноги с огромными ступнями были мужские. Из-за этого у него всегда были проблемы в мужских монастырях, а в одном из них его так даже и «проверяли». Он вспоминал об этом со слезами.

Был он монахом славной Глинской Пустыни, пока ее не разогнали при Хрущеве. Идти ему было некуда, поскольку мать от него отказалась и даже пыталась его сжечь в деревенской баньке, но Богородица его спасла. И поэтому он стоял на паперти и просил милостыню. Там-то и заметила его тайная инокиня Пелагея и забрала к себе, несмотря на то что у нее в бараке, в коммунальной восьмиметровой комнатке, лежала на диванчике парализованная сестра — девица Варвара. Девица Варвара ничего не делала — только молилась, и у нее над диванчиком проступил на стене крест. Молитвенно постоять возле сей чудной девицы и приложиться к нерукотворному кресту, говорят, тайно приезжали даже иные архиереи!..

Но когда мы познакомились с монахом Леонидом и Пелагеей, девица Варвара уже почила, а сами они переехали в московскую однокомнатную квартирку в нескольких трамвайных остановках от «Электрозаводской». Узнав, что я пишу стихи, отец Леонид очень этим заинтересовался и попросил меня приезжать к нему записывать исповеди. Одно с другим вроде бы не было никак связано, и все же он, наверное, рассчитывал, что человек, владеющий пером, сможет придать его покаянным воздыханиям форму.

— Я больной, убогий от чрева матери, инвалид детства, у меня парализация, шифрания, до старца


Архимандрит Серафим
(Тяпочкин)

архимандрита Кирилла в Лавру доехать не могу, а исповедоваться я ему должен. Так ты придешь, я тебе все продиктую, а ты ему и отвезешь, чтобы он прочитал разрешительную молитву.

Что ж, быть по сему. Вот я к нему и ездила.

— Отец Леонид, да разве ж это — грех? — порой изумленно спрашивала я его, услышав нечто невинное и трогательное и отрывая ручку от тетради.— Это ж в порядке вещей! Нормально! В чем же тут каяться?

— Ты, это, сиди, пиши за мной, не переспрашивай,— краснея и отворачиваясь, отвечал он.— И не смотри на меня, — прибавлял он, давая понять, что в данном случае я должна стать всего-навсего «тростью книжника-скорописца», а не влезать со своими комментариями и вопросами.

Порой мы исписывали по две тонкие ученические тетради в клетку, но при этом исповедь его, как я сейчас понимаю, свидетельствовала о том, что это был человек святой жизни.

То и дело он вызванивал моего мужа к себе и давал ему всякие поручения, а однажды попросил, чтобы тот помыл его в ванне.

— Год уж не мылся! — сокрушенно вздыхал отец Леонид.— Все тело в коросте. А сам я без твоей помощи ни в ванну не влезу, ни вылезти из нее не смогу. Парализация у меня! И вообще я — инвалид детства!

Мой муж и взялся его мыть. Помог забраться в ванну, намылил голову, тело, потер мочалкой, окатил душем... Смотрит — вот диво: мыльные пузыри по поверхности плавают, но сама вода в ванне — чистая!

— Отец Леонид! — изумленно произнес мой муж.— Вас, наверное, недавно кто-то мыл, вы просто забыли!

— Никто меня не мыл. Год уже, — буркнул тот.

— Ну что вы мне говорите — вода-то с вас чистая!

— Тише! Ну и не говори о том никому!

...Вот Господь и откликался на его святые молитвы.

Как-то раз муж мой уехал в Троице-Сергиеву лавру, а я собиралась с детьми в храм на всенощную (это было на Святителя Николая). Но перед службой мы решили попить чайку. Я стала зажигать плиту, чиркнула спичкой, кусочек горящей серы отлетел и попал мне прямо в левый глаз — аж зашипело. И тут же на глазу, на самой радужной оболочке, стало образовываться огромное бельмо!

А надо сказать, что через месяц я должна была родить третьего ребенка, и эти двое — маленькие, а дома никого нет, а на дворе — лютый мороз и гололед. Словом, плохо мое дело. Я даже мысленно представила себе, как буду доживать жизнь без одного глаза. Такая смиренная обреченность: что ж, на все воля Божья!

И вдруг, как почувствовал, позвонил монах Леонид. Я ему тут же и рассказала, в каком я ужасном положении: сижу с огромным животом, маленькими детьми и бельмом на глазу:

— Помолитесь за меня, отец Леонид!

— Ты оливковым маслом в глаз-то закапай! А одна — никуда не езди! — сказал он и повесил трубку.

Наутро бельмо прошло — только глаз был красный, словно я проплакала одним глазом всю ночь. Но к вечеру постепенно прошла и краснота.

Из Лавры вернулся мой муж и повез меня в глазную больницу. Врач осмотрел меня, проверил зрение и спросил:



– Так что, вы говорите, у вас произошло?

– Горящая сера в глаз! Зашипело! Бельмо!

– Да все в порядке! Нет у вас ничего! Никаких следов.

И посмотрел так, словно ему неловко за меня оттого, что я оказалась такая врунья...

А через две недели после этого я страшно заболела гнойным бронхитом — задыхалась так, что могла спать только сидя и кашляла кровью. К тому же у меня начисто пропал голос и я могла только сипеть. В больницу меня не брали, потому что я вот-вот должна была родить. Но не брали и в роддом, потому что у меня был гнойный бронхит. В общем, конец мой приближался: «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши, конец приближается...». То ли я должна была умереть, то ли ребенок, то ли мы вместе.

Отец Леонид прислал мне священника, чтобы он меня пособоровал. Я даже как-то стала свыкаться с мыслью, что срок мой вышел, что уже пора... Двадцать восемь лет как-никак прожила — больше Лермонтова и Есенина, не говоря уже о Рембо... И тем не менее было невыносимо жаль — всего, всего: жизни, детей, мужа, постаревших больных родителей... И тут у меня начался отек Квинке, я задыхалась, еще чуть-чуть, и горло закрылось бы совсем. И лишь тогда скорая отвезла меня в больницу.

— Да я молюсь за нее, молюсь! — говорил моему мужу отец Леонид, словно оправдывался, словно он в чем-то провинился. — Сейчас еще канончик за нее почитаю.

Наконец доставили меня в больницу, а сестра в приемном покое не хочет меня принимать:

— А ну сними крест! У нас не положено роженицам никаких побрякушек иметь.

А я ей — без голоса-то хриплю и, как немая, руками показываю:

— Мне так легче с ним! Не сниму!

— А я тебя не приму. Вон — скорая твоя уже уехала. Так и будешь ты у меня тут одна всю ночь, неоформленная, в приемном покое сидеть. А ну снимай!

А я ей опять:

— Не сниму!

Она чуть не с кулаками на меня, трясется, подпрыгивает, как одержимая, брызжет слюной. Я даже вспомнила, как у протопопа Аввакума: «человек, суете уподобився, скачет, яко козел, раздувается, яко пузырь, гневается, яко рысь, съесть хощет, яко змия, ржет, зря на чужую красоту, яко жребя, лукавнует, яко бес».

Тут появилась другая медсестра, видит — задыхаюсь я, помираю, а та меня мучает, ну она и уложила меня на больничную койку.

А наутро я стала рожать. Лежу в родильном отделении для чумных и заразных — одна-одинешенька и чувствую, как ребеночек мой уже вовсю рождается, рвется на свет Божий, пробивается к бытию, а я — без голоса и позвать-то к себе никого не могу — ни медсестры, ни врача, ни нянечки, а меж тем слышу, как они в соседней комнате о чем-то громко разговаривают, смеются даже. Тут меня крест мой и спас. Он большой был такой, тяжелый — его мне один иеромонах привез со Святой Земли. Сняла я его с шеи, взяла в руку и как стала этим кулаком с зажатым в нем крестом по тумбочке дубасить. От креста моего грохот пошел по всему родильному отделению. Врачи переполошились:

— Ты — чо?

Подбежали ко мне, а младенец мой прямо к ним в руки и угодил! Ровно в полдень! Розовый, волосы золотистые, упитанный такой, словно не у мамаши



истощенной, помирающей родился только что, которая вся — весом 53 килограмма вместе с ребенком, а от розовощекой ухоженной роженицы, у которой ноги как столпы из мрамора, а шея как башня из слоновой кости.

— Мамаша, кого родили-то? Пол ребенка назовите!

— Девочка! Анастасия! Воскресение!

...Но больше всех монах Леонид радовался. Купил ей, нищий монах, приданое — одеяльце атласное да распашонки всякие, ползунки с пеленками.

— Привези Анастасию, — все просил. — Дай хоть глазком взглянуть.

Ну я и приезжала с ней.

Но он только так сдержанно глянет и — отворачивается. Чтобы не возникло у него к ней — пристрастия. Он же — монах, а для монаха всякое пристрастие — опасно, порой даже и губительно. А сам — раз! — опять на нее посмотрит и — опускает глаза.

Приехали мы в очередной раз с Анастасией к нему, когда ей исполнилось уже месяцев одиннадцать. Она сидела у меня на руках и могла передвигаться по комнате лишь крепко схватившись за мой палец. Мы с отцом Леонидом и Пелагеей сели трапезничать. Картошечка, квашеная капустка...

Рождественский пост. Разговариваем о чем-то, на младенца почти и не обращаем внимания.

И вдруг Анастасия потянулась к тарелке с капусткой, взяла щепотку, слезла на пол и, отпустив меня, целенаправленно сама пошла к отцу Леониду, протягивая капустку ему...

— Она знает,— кивнула Пелагея,— Лёнюшка-то за нее так молился, так молился!

А через два месяца монах Леонид умер. И мы с моим мужем и Анастасией поехали на его отпевание, потом — на кладбище, а потом и к Пелагее — помянуть.

Там было много людей, которые любили его и обращались к его молитвенной помощи: в том числе и священники, и монахи. И только все сели за стол и выпили по глотку вина, как Анастасия, возрастом год с месяцем, подошла к красному углу, который был снизу доверху увешан иконами и иконками, перекрестилась и принялась на своем младенческом языке, но с явными церковными, псалмическими интонациями молиться и класть земные поклоны. Так она поднималась с коленок, крестилась и снова вставала на колени, упираясь лбом в пол...

Все замерли, наблюдая это диво, эту трогательную сцену, длившуюся несколько минут.

— Господи помилуй! — наконец очнулась какая-то старушка. — Пелагея, это что ж — та девочка, за которую Лёнюшка день и ночь молился, когда она рождалась? Уморили его, сам еле живой тогда остался?

— Она, она, — подтвердила Пелагея.

И тогда старушка рассказала вот что. Пелагея уехала в монастырь и попросила эту старушку присмотреть за монахом Леонидом, оставив ее вместо

себя. Это как раз были те дни, когда я помирала и больницы с роддомами отказывались меня принимать, а отец Леонид непрестанно молился о моем удачном разрешении от бремени. Когда же меня увезла скорая и мой муж сообщил ему об этом, он даже стал класть поклоны, что было ему невероятно трудно, поскольку одна сторона у него была парализована и он то и дело заваливался набок, и тогда старушке приходилось его поднимать. Оба они измучились. Так продолжалось почти всю ночь и наутро.

Она даже стала бить тревогу, что его самого может хватить удар от таких молитвенных подвигов, и все приговаривала:

– Уморят они тебя, отец Леонид!

Но он не слушал ее, и опять вставал на колени, и опять не мог с них подняться, и тут уже она подставляла свое плечо.

Наконец он сел в кресло, откинулся на спинку, вытер со лба пот и произнес:

– Уф! Родила!

Это был полдень.

...Теперь настала очередь младенца Анастасии помолиться за новопреставленного убогого монаха Леонида.

Другие источники



У монаха Леонида, как он ни боролся с пристрастиями, одно все же было: это были книжечки. Особенно он любил – запрещенные. Всякие – и просто антисоветские, и душеспасительные, и «за новомучеников».

Мы ему все время таскали всякий самиздат. Попала к нему и книга иеромонаха Серафима (Роуза), духовного сына святителя Иоанна, архиепископа Сан-Францисского, про последние времена. Называлась она как-то так: «Будущее России и конец мира». Она так его потрясла, что он послал меня в Лавру спрашивать благословения старца архимандрита Кирилла на то, чтобы ее распространять. И когда благословение было получено, он нанял машинистку, чтобы она перепечатала эту книгу в четырех экземплярах, и принялся раздавать ее как необходимое чтение своим многочисленным паломникам и посетителям. Но он не знал, как молиться за этого иеромонаха Серафима: живой он или усопший?

И никто не мог ему этого сказать, сколько бы он у кого ни спрашивал. И это очень угнетало

отца Леонида — очень уж ему хотелось помолиться за иеромонаха Серафима. Поэтому он уговорил моего мужа и свою послушницу, старушку инокиню Пелагею, чтобы они отвезли его в Троице-Сергиеву лавру к старцу Кириллу.

Приехали они, когда служба уже началась, и монах Леонид прошел к отцу Кириллу прямо в алтарь.

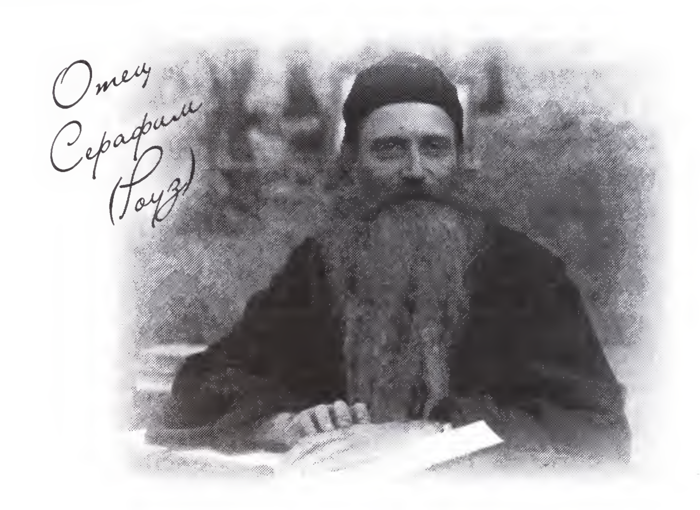
— Отец Кирилл, этот иеромонах Серафим — мертвый или живой? Как его поминать-то?

Отец Кирилл помолчал, чуть-чуть даже поднял кверху глаза, замер, а потом перекрестился и сказал сокрушенно:

— Царство ему Небесное.

А на следующий день, ближе к ночи, по радиостанции Би-би-си, на волну которой был настроен наш приемник, объявили, что два дня назад скончался от тяжелой болезни известный православный писатель и миссионер иеромонах Серафим (Роуз).

Старцу Кириллу это стало известно совсем из других источников.



Как я сражалась с цыганками



Приехала я как-то раз из Троице-Сергиевой лавры и при монахе Леониде обронила несколько слов о том, какое множество цыганок ходит по вагонам электрички и как эти цыганки ко всем пристают.

– За каждой из этих, которые гадают, сонмы бесов вьются, – заметил отец Леонид. – Надо быть настороже. И ни в коем случае не ловиться на их разговоры. Знаешь, как святые отцы говорили: «В диалог со злом не вступай».

– А я цыганок не боюсь, – беспечно отмахнулась я. – Это они меня боятся.

– Что это ты такая страшная? Так уж они и боятся, – недовольно проворчал отец Леонид.

– Да просто я знаю, как с ними обращаться, – заявила я.

– Знает она! И как же это? – подозрительно прищурился монах.

– Расскажу вам историю, как я встретилась однажды с цыганкой, которая все рвалась мне поворожить. За руки хватала. Но я все равно от нее

отворачивалась. Тогда она перешла к угрозам: мол, если не позолотишь мне ручку, будет то-то тебе и то-то: черный глаз мой тебя сглазит. И за это я ужасно на нее разозлилась: повернулась к ней лицом, посмотрела в очи черные, очи страстные, расправила плечи и сказала: «А моего светлого глаза, что — не боишься? Не боишься, что я светлым своим глазом могу тебя пронзить насквозь? Всю силу из тебя выну, талан твой себе заберу!»

Ох, она и испугалась! Сникла вся, отвернулась и бегом от меня! Знающие люди потом мне объяснили, что я, действительно, попала не в бровь, а в глаз. Они, цыгане, суеверные, сами всего боятся. И у них светлый глаз — такой же роковой, как у нас — черный.

Отцу Леониду все это очень не понравилось.

— Так ты что — сама колдовством ее стала запугивать? Ты ж бесов к себе приманила! А ну-ка пойди положи три поклончика Матери Божией с покаянием, а потом я тебе скажу, как быть дальше.

Что делать? Вздохнула я, опустилась трижды перед иконой Богоматери, прося ее о прощенье, и снова села перед убогим монахом.

— Цыганская сила — лукавая, ее только молитвой можно отогнать да развеять. Поэтому как ты цыган снова увидишь, сразу начинай читать «Да воскреснет Бог». И — ни слова им не говори. Запомнила?

— Запомнила, — сказала я.

И что же? Поехала я вскоре опять в Лавру, причастилась там на ранней литургии и — обратно в Москву. Вошла в пустую электричку, отправлявшуюся от станции Загорск, села у окна на скамейку, как вдруг следом за мной туда ворвалась целая толпа цыганок, всем женским табором — с монистами, с серьгами, в цветастых платках и юбках. И — сразу


Отец Леонид накануне пострига

ко мне: заперли собой мой закуток между скамейками, тянут ко мне руки, уже платок с головы сорвали, за волосы хватают, на разные голоса кричат:

– Дай, милая, ручку, погадаю, все расскажу!..

– Ай-яй! Ждет тебя казенный дом, напрасные хлопоты, дальняя дорога, крестовый король...

А вокруг – никого: будний день, часов 10 утра, никому, видно, из жителей Загорска не нужно в Москву.

И тут я вспомнила наставление отца Леонида. Мысленно нырнула в себя, отключила все внешние чувства и давай читать «Да воскреснет Бог». И как только дошла до «Яко исчезает дым, да исчезнут;

яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси...», взглянула перед собой — и никого нет. Оглянулась вокруг — и там никого: действительно ведь исчезли! Всей шумною толпою! Словно пылесосом их вытянуло. Одна только, уже в дверях, оглянулась и что-то такое стала мне кричать, но я — уже вслух — продолжила: «...От лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением». И сама — крестным знамением ее — вот так, так, так и так! Она вскрикнула, съежилась и умчалась прочь — лишь раздвижные двери сошлись со стуком.

Приехала я в Москву и тут же отцу Леониду эту историю рассказываю:

— Как я ее, самую последнюю, крестным знамением, она аж скукожилась вся!

— Ну и неправильно ты все сделала,— опять стал ворчать он.— Ни смирения, ни послушания...

— Все сделала, как вы научили,— обиженно произнесла я.

— Что ты все –«я, я, я!» Это Господь их разогнал, Которому ты молилась! Воскрес и расточил! А зачем ты эту цыганку крестным знамением осеняла? Ты что же — священник?

— А что в этом плохого? — защищалась я.

— А то, что ты только себя можешь так... осенять. Или детей своих. А если ты кого другого, тем паче язычника этим крестом припечатаешь, то бес может из него от ужаса перед крестом выскочить и в тебя вселиться!

— Я не знала,— в ужасе пролепетала я.— Что мне теперь делать, отец Леонид?

— Что делать, что делать,— опять заворчал он.— Теперь будешь знать. А пока — положи-ка ты три поклончика Матери Божией, да с покаянием.

Я исполнила его слова.

...И вот странно – с тех пор прошло уже много лет. И за эти годы я встречалась с цыганками то на вокзалах, то в городских парках, то вообще возле Елоховского собора, где они норовили продать выходящим из храма якобы золотые часы и браслеты. Но нигде и никогда – ни в Москве, ни в Крыму, ни в Париже – они не только не приставали ко мне, но даже не приближались, а в некоторых случаях и вовсе – обходили меня стороной.

...Зато я к ним приблизилась. Но это были уже совсем другие цыгане.

Выхожу я как-то из храма после ранней литургии – а дело было на Преображение – и вижу: стоят в церковном дворе столы, а на них разложены фрукты невиданной красоты – половинки алые арбузов, золотые груши, пунцовые и розовые яблоки, синие и фиолетовые сливы, багровые гранаты, разрезанные жемчужные дыни, лиловый и зеленый виноград, оранжевые мандарины, рыжие абрикосы, красно-желтые персики... Но не только это обилие прекрасных земных плодов меня восхитило, но и то, как празднично они были разложены на огромных блюдах: какое сочетание красок и форм – словно для натюрморта, для кисти великих фламандцев!

А около стола суетились четыре прекрасные юные цыганские дивы, этакие пушкинские Земфиры, поправлявшие то непослушную, желавшую скатиться с фруктовой горки сливу, то раскладывавшие гроздья винограда, чтобы каждая ягодка подставила свой бочок яркому сияющему августовскому солнцу. К ним с большими корзинами, наполненными фруктами, спешили два цыгана в белых рубахах...

— Вы это освящать будете? — довольно глупо спросила я.

— Да. Ведь Преображение Господне! А вас это удивляет?

— Разве вы — православные? — еще более глупо спросила я.

— Конечно. У нас тут целый табор православных цыган.

— Что — и в церковь ходите?

— И в церковь ходим, — отвечавшая мне цыганка принялась раскладывать по пустым блюдам фрукты из корзин. Она работала, как художник, творящий гармонию и выбирающий для каждого плода лучшее цветовое соседство.

Из храма вышел священник и с молитвой щедро покропил эту цыганскую роскошь.

И я хотела было убраться восвояси со своими навязчивыми вопросами, но совсем молоденькая цыганочка, внеся диссонанс в одну из фруктовых башен, протянула мне огромную мокрую аквамариновую сливу.

— Преображение! — повторила она.



Абрахам ван Бейерен. Натюрморт с омаром

Некомсомольские пряники



Монах Леонид был большой молитвенник и постник.

«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом», – любил повторять он евангельские слова. И чтобы быть верным не только в малом, но и в малейшем, разжился он не без моей помощи какими-то учебниками с таблицами, по которым учат студентов Пищевого института, и принялся штудировать и выяснять, из чего состоят иные продукты, считавшиеся доселе постными. Изучение этих составов вызвало у него немало сокрушенных вздохов. Ибо выяснилось, что отнюдь не все хлеба, которые мы вкушали постом без толики сомнения, чисты от скоромных примесей. Есть таковые и в иных макаронах и вермишелях, что уж говорить о печеньях с вафлями!

Ассортимент подлинно постной пищи катастрофически сужался. Из углеводов оставались разве что пряники да крупы...

А тут приехал к нам из Тулы дорогой гость – Митрофан Дмитриевич, бывший полковник,

фронтовик, раб Божий, которого очень любил отец Серафим (Тяпочкин) за чистоту сердца. Ну, из Тулы понятно что везут, да еще Великим постом: конечно, знаменитые тульские пряники – круглые, в глазури, да еще и в праздничной коробке. Вот Митрофан Дмитриевич и привез нам сразу три таких.

Только он появился – звонит мне мой друг Андрюша – одноклассник и крестник – и говорит:

– Я тут неподалеку от твоего дома. Можно к тебе зайти?

Купил в булочной у метро гостинец, чтобы появиться не с пустыми руками, позвонил в дверь и протянул мне с порога нарядную коробку с тульским пряником. В глазури. В праздничной коробке.

Муж мой, по дороге с работы, узнав, что у нас гости, в ту же булочную у метро завернул и с таким же печатным пряником с надписью «Тульский» прямо к чаепитию пожаловал. И так сидим мы, обложенные со всех сторон этими пятью уже пряниками, и пьем себе чай, постимся постом приятным, ведем разговоры на духовные темы. Еще бы – Митрофан Дмитриевич был когда-то келейником самого старца Серафима, множество знает чудесных историй, а Андрюша – неофит, слушает его затаив дыханье, открыв рот...

И тут звонит монах Леонид:

– Я только что изучил таблицу, в которой дается состав пряников. Оказывается, все они – скоромные. Да! В них яичный порошок добавляют. Только один вид постных и существует: так называемые комсомольские. Комсомольские пряники. Темненькие такие. Вот их можно спокойно есть в пост.

Сообщил и трубку положил. А мы уже этих – сомнительных, тульских – изрядно поглотили.


Отец Леонид

Другого-то ничего и нет! Ну, не стала я гостей огорчать.

Встретила я храме знакомого священника:

— Ты чего такая грустная? Никак, унываешь?

— Да ну! Постилась я постилась, а тут оскоромилась! Пост нарушила,— сокрушенно произнесла я.

Он решил меня подбодрить:

— Так, может быть, ты была в дороге? Или гостила в доме язычника?

— Нет,— твердо ответила я,— я была у себя.

— Но, может быть, ты болела?

— Нет, не была я больна,— удрученно произнесла я.— Я была вполне здорова.

— А что же тогда? Сырку захотелось? Творожку? Или ... мяса?, — сочувственно спросил он.

— Я ела пряники.

— Пряники? Так они ж постные! — радостно откликнулся священник.— Это можно, это не грех!

— Так то комсомольские. Комсомольские можно,— со знаем дела пояснила я.— А я ела — некомсомольские. Некомсомольские пряники я ела, вот ведь что!.

Батюшка посмотрел на меня в изумленье:

— Как-как ты сказала? Не-комсомольские?

— Ну да, некомсомольские. Скоромные. Яичный порошок в них!

Я даже почувствовала, как глаза мои в сокрушении увлажнились.

Священник тяжело вздохнул:

— Вот как мы... Яичный порошок, говоришь?

— Яичный порошок,— сдавленным голосом повторила я.

— Ох, лукавый! — воскликнул священник. — Как же он крутит людей! Значит, комара отцеживаем?

А верблюда? Верблюда фарисейства, выходит, поглощаем! Верблюда уныныя так и заглатываем!

Пришла я домой, а тут звонит мне монах Леонид:

– Я только прочитал про зефир и пастилу...

– Отец Леонид, – железным голосом сказала я, – я вынуждена у вас забрать эти учебники с таблицами. Владелец срочно требует их назад.

– А я еще не все изучил... Оказывается, мармелад...

– Он сказал: срочно! Я сейчас к вам приеду и заберу.

Приехала и забрала. А в качестве гостинца привезла ему три остававшиеся у меня коробки с подарочными тульскими пряниками. Я знала, что за все приношения он всегда благодарил, повторяя: «Всяк дар совершен свыше есть».

Вот и на этот раз он склонил набок голову и произнес, принимая у меня коробки: «Спаси тебя Господи!». Впрочем, именно так и должен был поступить смиренный монах.





У блаженной Ксении

Давно уже, году в 85-м, я поехала с моими маленькими детьми в Питер, который тогда был еще Ленинградом. Мы очень хотели попасть на могилку блаженной Ксении и потому отправились на трамвае на Смоленское кладбище.

Мой друг, в доме у которого мы остановились, сказал как-то странно:

– Там сама Ксения вам и поможет ее найти!

Была суровая зима, декабрь, и железный трамвай настолько промерз, что, казалось, повизгивал и поскуливал от мороза.

На кладбище было пустынно и сумрачно, и даже храм был закрыт. Я беспомощно оглядела заваленные снегом надгробья и поняла, что самим нам найти эту драгоценную могилку так и не удастся.

И вдруг откуда ни возьмись появилась убогая старушка в ветхом пальтеце – вся перекошенная, с причудливым лицом: вместо глазной впадины у нее была шишка величиной с глазное яблоко, а глаз располагался на самом этом возвышении, на этой шишке, но смотрел при этом ласково и простодушно.

И странно — вроде бы это явное уродство, а старушка не уродливая совсем, а такая милая, колоритная, сказочная.

— Ну, люди дорогие, вы не Ксению ли Блаженную ищете? — спросила она. — Думаете, как вам к ней пройти?

— Да, — сказала я, — да вот не знаем, где ее могилка. Холодно к тому же, смеркается.

Она закивала, зябко поеживаясь, и, вглядываясь в меня своим странным глазом, предложила:

— А я вас сейчас к ней проведу. Только самой могилки ее совсем не видно — часовня, где она похоронена, обнесена высоким забором. Можно только около него постоять и оттуда ей поклониться да помолиться. Все так молятся! — объяснила она, ведя нас между могилами. — Я вам и могилу расстрелянных священников покажу. Их закопали в землю еще живыми, и земля стонала над ними и ходила всю ночь ходуном. А под утро кладбищенский сторож увидел, как от мерзлой этой земли поднимаются кверху лучи — к небесам. И понял он, что это Господь забирает их души и светятся на лету их мученические венцы. Я вас и к расстрелянному образу Спасителя подведу. Это большевики по нему дали очередь, да так и оставили здесь. А от него — чудесные исцеления теперь бывают тем, кто попросит с верою.

Мы подошли к мозаичному образу Спасителя — лик Его действительно был изрыт пулями, глаза повреждены, стрелявшие порезвились вовсю.

— Наверное, все они умерли страшной смертью, — сказала я.

— По-разному, — ответила старушка. — Сам Господь на кресте молился о тех, кто не ведает что творит...



Постояли мы возле этого образа, помолились, спели тропарь мученикам на том месте, где были захоронены живые священники, и подошли наконец к часовне, обнесенной забором, на котором — надписи и записочки, записочки: «Ксения Блаженная, верни мне мужа!» «Блаженная Ксения, исцели мою дорогую дочь!» «Дорогая Ксения, мой сын воюет в Афганистане — спаси его и сохрани».

По преданию, если долго глядеть в высокое окошечко под куполом часовни, там можно увидеть и саму Ксению Блаженную, которая смотрит на приходящих к ней... Поглядели мы на это окошечко, поклонились, помолились тихонько, и я тоже несколько записочек блаженной Ксении написала и нанизала на торчавшие в заборе гвозди.

Двинулись обратно, пока не оказались возле храма. Его уже открыли, и люди потянулись туда на вечернее богослужение. Смотрим — а старушки-то нашей нет! И следов никаких. Была и исчезла.

— Надо же, — сказала я, — даже и денег ей не успели дать! Старушка-то — больная и нищая...

В храме я спросила у женщины за свечным ящиком:

– А что за старушка тут у вас водит к могиле Ксении Блаженной? Такая – со странным глазом?

Та недоуменно пожала плечами:

– Не знаем такой...

Друг мой – священник – потом мне объяснил:

– Да есть такое поверье – к тем, кто приезжает к ней впервые, Ксения Блаженная выходит сама и провожает к своей могилке. Так что сама и думай, кто это вас по Смоленскому кладбищу водил.

Когда мы с детьми садились в трамвай, чтобы ехать обратно, я спросила их:

– Ну что, совсем замерзли?

– Нет, – сказали они. И в доказательство сняли варежки и коснулись моей щеки своими теплыми руками.


Часовня блаженной Ксении

...Про часовню Ксении Блаженной, которую большевики хотели скрыть забором от глаз верующих людей, есть такая история. Изнутри ее тоже всю обезобразили и посадили туда скульптора, который выполнял госзаказы по изготовлению надгробий. Но в том числе он делал и головы Ленина. И вот он там сидел и тачал эти головы, а потом их развозили по городам, селам и организациям и ставили на постаменты. Но Господь, как видно, отнял от него благой дар рассуждения. Ибо как иначе можно расценить то, что скульптор вдруг ударился в гигантоманию и решил изваять голову Ленина небывалых размеров — какой доселе не было нигде, ни у кого. Нашелся на такую голову и заказчик.

Так сидел скульптор много месяцев и обделывал эту голову. Наконец она была готова и заказчик явился со своими людьми, чтобы ее забрать.

Но как они ни пытались вытащить ее из часовни — через двери ли, через окно — все было тщетно: голова не пролезала. Чтобы ее достать, надо было разрушить саму часовню. Но Ксения Блаженная не позволила. И голова хранилась там несколько лет, занимая собой все пространство, пока наконец скульптор в раздражении не взял в руки молоток, не разбил ее на куски и по частям не вынес на свалку.

Голодарь



Этого степенного и осанистого пономаря Василия я знала еще тогда, когда он был просто Васька по прозвищу Голодарь. А прозвище это он получил вот почему.

Еще в брежневские времена он женился на американке. Брак-то они зарегистрировали, а выпускать его в новое отечество не выпускали — он был инженером в каком-то КБ, где существовала секретность. Но и у молодой жены кончилась виза, и она вынуждена была уехать к себе в Америку.

И вот Вася, которого, как только он вступил в брак с гражданкой недружественной страны, выгнали с работы, посвятил всего себя борьбе за то, чтобы его наконец отпустили к жене. Он писал письма, воззвания, прокламации — в МИД, в Американское посольство, в Политбюро, даже самому Брежневу. Давал интервью вражеским радиостанциям и собрал вокруг себя группу таких же, как он, «невыпусканцев», также состоявших в браке с гражданами других государств.

Они организовал целое политическое движение «За воссоединение семьи»: стояли с плакатами возле Юрия Долгорукова, давали пресс-конференции и даже устраивали многодневные голодовки.

Конечно, не все были на это способны. Была среди них юная барышня из Владимира, которая вышла замуж за итальянца. И когда разлученные со своими «половинками» супруги собрались все вместе на московской квартире и, под наблюдением французских врачей, начали голодовку, о которой объявлялось по «вражеским» «Голосам» еще за несколько дней, она уже в полдень первого же дня стала жалобно канючить: «Ой, как пирожка хочется!», а к четырем часам окончательно спеклась: «Я без супу не могу!» Плакать стала, перечисляя название любимых блюд. Ну и выбыла из игры.

Но прочие мужественно держались — по две, а то и по три недели. А наш Голодарь — оказался самым мужественным и несгибаемым. Одна из его голодовок длилась ни много ни мало сорок дней. А если каждый такой день считать за год, то можно сказать, что он, как новый Моисей, сорок лет выводил своих товарищей по несчастью из египетского рабства.

Ну, конечно, если бы он подобным образом голодал в одиночку, самодеятельно, он бы так и умер. Но опытные французские врачи поддерживали в нем жизнь, вводили глюкозу и витамины, давали освежиться глоточком воды, а фотокорреспонденты запечатлевали его измученное, но благородное лицо, которое теперь появлялось и на страницах «Вашингтон пост», и «Нью-Йорк Таймс», и «Пари Матч» под жирным заголовком: «Еще одна жертва кровавого режима».

— Мы ведь всего-навсего хотим воссоединиться со своими семьями! Это наше право! — с угасающей улыбкой повторял Вася.

В конце концов в поддержку Голодаря стали проходить митинги, забеспокоились главы государств, а президент Рейган так даже поставил Брежневу ультиматум: если он не выпустит Голодаря к жене, Америка наложит эмбарго. Брежнев не выпустил, и эмбарго было наложено.

Словом, Вася постепенно стал значительной политической фигурой. Он сделался желанным гостем всех посольств и другом всех западных корреспондентов. Он был очень занят. И тем не менее как-то раз заскочил к нам. Со времени его последней голодовки прошел уже месяц, но он выглядел потрясающе — стройный, подтянутый. Былой жирок, собиравшийся было складками на боках, ушел,



Брежнев в Америке

лицо разгладилось, сделавшись совсем юным, взор просветлел, и вообще он пребывал в полной эйфории.

У меня сидела моя приятельница, которая очень следила за своей фигурой и ради этого один день в неделю, устраивая разгрузочный день, старалась вообще ничего не есть. Но, узнав о сорокадневных голодовках и взглянув на светящееся лицо Голодаря, она поддалась соблазну: может, и ей так попробовать?

— Скажите, а когда вы голодаете, вы... большие дела делаете? — спросила она, выясняя все обстоятельства, сопровождающие столь экстремальное голодание.

— Конечно, — с готовностью откликнулся он и достал из портфеля папку с бумагами. — Вот, я написал три петиции, дал большое интервью «Голосу Америки», была у меня пресс-конференция...

— Да я не об этом, я... — тут она сделала многозначительные глаза, — я про... большие дела. По-большому вы ходите?

— Безусловно. Только так и хожу, именно — по-большому. На остальное просто времени не остается. Вот — был на приеме у французского посла, пил чай с послом США, президенту Рейгану письмо написал...

— Да не про то я, — она уже досадливо махнула рукой и наконец решилась:

— Ну, вы хоть в уборную-то ходите? — и она даже для непонятливого собеседника изобразила, как сидят на толчке.

...Честно говоря, весь этот шум вокруг Васиного отъезда, семейной драмы и тоски по любимой жене мы воспринимали с некоторой доли иронии,

потому что знали, что Вася женился, в основном, чтобы эмигрировать, что у его жены появился там, в Америке, бойфренд. Потому что — если наша Наташа Ростова и одного года не могла прождать, чтобы зажить в счастливом браке с князем Андреем, то почему, собственно, американка должна хранить Васе верность в многолетней разлуке? Но тем не менее тот факт, что советский человек вынужден был пойти на такие уловки, чтобы выехать из страны, был очень показателен для характеристики режима: во всем мире все люди как люди — ездят куда хотят, только мы сидим здесь, прикованные, гремим кандалами.

Меж тем Вася затевал очередную голодовку. И мы наконец сказали ему:

— Знаешь, это не по-христиански. А вдруг ты от этого умрешь? Это же будет самоубийство! Нет уж, пойди и попроси у священника благословение на голодовку.

Убедили мы его и все вместе отправились в Лавру. Он попал на исповедь к архимандриту Зосиме — старику, прошедшему сталинские лагеря. Поговорил с ним, тот накрыл его епитрахилью, и Вася, довольный, сообщил нам:

— Ну все! Благословил!

— Как — благословил? А ты ему все рассказал?

— Конечно. Я сказал: «У меня жена в Америке, а нас друг к другу не пускают». А он мне: «Эта советская власть безгранична в своих злодействах. Надо что-то делать!» А я: «Так я вот и борюсь с ней — петиции сочиняю, протесты, американскому президенту вот написал...» А он: «Вот и правильно! Борись! Давай, уличай, прижимай их, где можешь. Я сам от нее, от власти этой безбожной, пострадал.

Медсестра у меня в лазарете кровь берет на анализ, а она — не идет. Всю кровь мне большевички выпили. Глаз чуть не выбили». А я: «Вот, батюшка, я и собираюсь поголодать». А он: «Дело хорошее! Сейчас как раз Успенский пост идет, так что Бог тебя благословит!»

...В общем, в конце концов выпустили нашего Васю. Приехал он в Америку, а он там не очень-то уже и нужен. Ну, на первых порах организовали ему турне с лекциями по университетам, где он неизменно рассказывал всю свою историю и расписывал кровавый режим там, за железным занавесом. Но потом эта история поросла быльем и он перестал кого-либо интересовать. Его бурная деятельность вдруг прекратилась, делать ему оказалось совершенно нечего, жена с ним развелась, и он затосковал.

Прибился там к семье эмигрантов и какое-то время даже ходил с ними по воскресеньям в церковь. Но потом решил переехать в другой город. Они подарили ему на прощанье икону святых Царственных мучеников: в Зарубежной Церкви они были уже канонизированы, а в Русской — нет, до этого было еще далеко-далеко.

Икона была в очень плохом состоянии — видимо, ее бывшие владельцы изрядно постранствовали по миру вместе с ней: краска кое-где облупилась, а где-то — засалилась, лики потемнели, доски расшатались. Но Голодарь поставил ее на высокое место в своем новом пристанище, лампаду зажег...

И — икона вдруг стала постепенно обновляться и мироточить. То один лик просветлеет, то другой обретет четкие черты, то облачение нальется цветом и на нем проступят узоры. Словом, непростая


Икона Царственных страстотерпцев

это была икона! И обновляться она стала не где-нибудь, а у нашего Васьки Голодаря!

И он тогда стал возить эту икону по православным храмам Зарубежной Церкви, сначала – Америки, а потом уже и Европы. Даже на Афон съездил.

Правда, там храмов зарубежников нет, но почитатели Царственных новомучеников и в лоне Русской Православной Церкви всегда были.

Наконец наступили новые времена и Вася приехал со своей чудесной иконой в Москву. Она все продолжала понемногу обновляться и мироточить, лики сияли нездешним светом, одежды сочились пурпуром и изумрудом, каждый завиток волос новомучеников был словно кропотливо выписан заново, а от иконы исходило нездешнее благоухание. Но и сам Вася как-то обновился.

Передо мной стоял уже немолодой, но все еще моложавый стройный человек с благородной проседью и осанкой. Ни в чертах его лица, ни в манере речи, ни в движениях не осталось прежней суеты и судорожности: все было плавно, осмысленно и достойно. Он принимал у себя на квартире всех, кто, прослышав о чудотворной иконе, хотел бы к ней приложиться и принести свои молитвы Царю-мученику и его семье. Приезжали к нему и священники, которые перед иконой служили панихиды — подчас за один день их было несколько: и священников, и панихид. И сам Василий в связи с этим был очень занят. А когда Царственных страстотерпцев канонизировала наша Церковь, он отдал икону в храм для всеобщего поклонения, а сам устроился служить в этом храме пономарем.

Злые языки говорили: дескать, как он тогда «врубился» в борьбу за воссоединение семей, так и теперь он полностью ушел в служение своей иконе. Подобным образом и иные коммунисты, продолжали эти злые языки, как уперто поклонялись Ленину, так теперь неистово крестят лоб.



Но на самом деле это вполне объяснимо. И апостол Павел поначалу со страстью гнал христиан, пока ему не явился по дороге в Дамаск Сам Господь. И тогда он с такой же страстью и самоотверженностью — вплоть до мученической крови — стал проповедовать Христа.

И преподобный Макарий Египетский пишет, что всякая дурная страсть должна быть преображена в высшее движение души и поставлена на службу Богу. Огненная ярость может обратиться в горение любви, сластолюбие — в чаяние небесных утешений, а зависть — в ревность о Боге.

И только холодный человек не может приспособить свое бесчувственное и тщеславное сердце ни для Божественного присутствия, ни для Божьих дел.



Художник Илья Глазунов и писатель Владимир Солоухин

«Досточка»



Когда-то, еще в 60-е годы, писатель Владимир Солоухин, который коллекционировал иконы, собирая их по деревням, подарил моему отцу одну такую, как он их называл, «досточку». Икона была в плачевном состоянии — во-первых, она была разломана на три доски, а во-вторых, вообще невозможно было понять, что именно на ней изображено. Икона эта, обернутая в ткань, много лет хранилась у моих родителей в надежном месте.

Но настал час, и мы с моим мужем достали ее, отнесли нашему знакомому реставратору Андрею Витте и через несколько месяцев получили ее во всей ее красоте. Это была «Всех скорбящих Радосте» — Матерь Божия с Младенцем в окруженье сонма Архангелов и святых: там были и апостолы Петр и Павел, и святители Василий, Иоанн и Григорий, и Никола Угодник, и святая мученица Татиана, и менее известные нам святые мужи и жены. И сама эта икона была какая-то особенная — казалось, достаточно просто постоять перед ней с беспомощным и сокрушенным

сердцем, как оно постепенно наполнялось покоем и радостью, словно насыщалось...

— Это необыкновенная икона,— сказал реставратор.— Я давно уже ее отреставрировал, а все не отдавал, потому что мне было жаль с ней расставаться. И потом — она ведь не такая старая, конца 19 века, а на ней видны следы давней реставрации. Это странно, если учесть, что в те годы такие иконы не реставрировались — дешевле было написать новую. Значит, она кому-то была особенно дорога. И потом — святые, собранные здесь, по всей видимости являются покровителями какой-то большой семьи. Ну, пусть будут теперь покровительствовать вашей...

Икона принадлежала моим родителям, но когда они переехали жить на дачу в Переделкино, в их комнатах поселился мой брат с семьей, и таким образом она осталась у брата. Доступ к ней для нас был практически перекрыт, а брат — не молился. И я очень просила Матерь Божию, чтобы она сделала так, чтобы икона ее снова оказалась у родителей и я могла бы, приезжая к ним, обратиться и к ней.

И вот звонит мне мама и говорит:

— Очень прошу — привези мне мою икону. Только срочно. Она мне очень нужна.

— Хорошо, завтра...

— Нет, именно сегодня! Сейчас!

Если не знать, что я слезно выпрашивала у Матери Божией доступ к Ее иконе, это показалось бы не то чтобы странным, а просто невероятным — такая настойчивость со стороны матери, которая тоже, честно говоря, воспринимала ее скорее как художественную вещь, а не как живой образ.

Я взяла у брата икону, завернула ее в чистый широкий рушник, подаренный нам украинским



священником, и, прижимая ее к груди, вышла на улицу ловить такси: машины тогда у меня не было, а везти икону в метро и в электричке, да еще в час пик, казалось едва ли не кощунством. К тому же она была и большая, и тяжелая.

Но только я вышла из подъезда — прямо по двору едет такси с зеленым огоньком. А под передним стеклом у него — «В парк», чуть ниже: «Таксопарк м. Рижская», то есть в одной остановке от моего дома, и далее: «Окончание работы — 17.00». А времени — уже шестой час.

Тем не менее водитель тут же остановился:

— Куда ехать?

— В Переделкино.

— Садись.

Мы и поехали. Икона у меня под рушником на коленях лежит. Едем мы, а он все причитает:

— Чего это я вас повез? Не понимаю! Словно кто-то мне подсказал: «Остановись!» А у меня ведь рабочий день закончился.

А мы еще и в пробку попали. Он опять:

— Ну чего я вас повез!

А еще и мост через МКАД ремонтировался, надо было и вовсе по однополосной дороге в объезд крюка давать. Еле плетемся. А то и вовсе — стоим. Он уже по рулю от отчаянья бьет:

— Ну почему я вас повез! В двух минутах от своего парка был. Когда я теперь домой-то доберусь?

— Ладно, — сказала я, — я вам сейчас объясню, почему вы остановились и взяли меня. Вот, — и я развернула рушник, показывая ему икону. — Это Матерь Божия вам такую мысль вложила, а я бы иначе эту икону не довезла.

Он промолчал. Потом сказал:

— А я ведь тоже с Церковью-то связан. Да! Я попал в армию, и послали меня на войну в Афганистан... А мать моя поехала к старцу Кириллу в Троице-Сергиеву лавру и стала просить его помолиться обо мне. И он ей сказал: «Не плачь, вернется твой сын живой и невредимый — ты только молись за него каждый день. И я помолюсь. А когда он вернется, пусть обязательно ко мне приедет».

Мать за меня и молилась. И я чувствовал, что меня охраняет какая-то сила — ведь всех в моей дивизии поубивало да покалечило, а я — один уцелел,

даже как-то неловко: ни царапинки на мне, все мимо прошло.

Вернулся я, а мать мне все про этого старца рассказала и велела обязательно приехать к нему — поблагодарить. Но вскоре она умерла, я как-то закрутился с делами, с работой, да и потом эта Троице-Сергиева лавра далеко — где мне его там искать? Так я до сих не доехал...

— А знаете еще почему Господь сделал так, что вы меня повезли? — спросила я, заворачивая икону в рушник, поскольку уже показалась родительская дача.— Вы меня повезли, потому что вот там, за поворотом дороги, идущей в гору, стоит Храм Преображения Господня. И отец Кирилл, до которого вы столько лет не могли доехать, сейчас там. Зайдете в церковный двор, налево в крестильне он принимает народ. Как раз до восьми вечера. У вас еще полчаса.

Он высадил меня и помчался по дороге, идущей вверх. И за ним — только пыль столбом.

Что с ним стало потом — Бог весть... Но, возможно, если он попал тогда к старцу Кириллу, то понял, Кому надо возносить благодарственные молитвы за свое чудесное спасение. И вовсе не исключено, что это именно тот иеромонах из далекого монастыря, о котором мне недавно рассказывали знакомые чернецы:

— Наш отец Н. вышел из самого пекла афганской войны, по чудесному смотрению Божиему не получив на ней ни единой царапины.

А я привезла икону маме, и она обрадовалась ей как живой. И потом уже, когда моего мужа рукоположили в священники, она подарила ее нам.

Цыганка



У моего друга умерла мать, и он попросил меня привезти на отпевание его сестру Анну, которая жила по соседству со мной.

Мы с моим мужем заехали за ней и все вместе отправились в печальный путь.

А с его сестрой я была знакома с детства — мы с ней были в пионерлагере и там очень дружили: вместе убегали и лазили по дачным садам, воруя незрелые яблоки.

Потом, когда она уже достигла девического возраста, я слышала про нее, что она влюбилась в знаменитого поэта, намного старше ее, который жил тут же, в нашем писательском городке, и всеми силами пыталась обратить на себя его внимание. Она подкарауливала его у ворот, когда он поздно вечером приезжал домой, дежурила у дверей, когда он поутру отправлялся в Москву, а один раз даже прокралась в его отсутствие к нему в дом и спряталась в шкафу. Он приходит домой, открывает шкаф, а там — она!

Но ей — увы! — так и не удалось покорить его сердце. Мало того, он при одном ее имени принимался

кричать и браниться — так она его тогда напугала. И она впала в страшную меланхолию. Подозревали даже, что она больна.

И вот едем мы в Москву, застреваем в пробках, боимся опоздать, и вдруг она говорит моему мужу:

— А я помню, отец Владимир, как вам нагадала цыганка, что вы будете священником!

— Что? — удивился мой муж, — какая цыганка? Ничего такого не помню!

Ну да, конечно, подумала я, он всегда, даже когда и в храм не ходил, хранил метафизическую чистоту. Ни пришельцами не интересовался, ни гаданиями, ни спиритизмом, даже когда кто-нибудь с увлечением рассказывал о том, что там наплели лукавые духи... И все же я что-то смутно начала припоминать...

— Вы мне рассказывали об этом, когда гадали мне по кофейной гуще, — скромно сказала Анна. — Все тогда сбылось!

И тут я словно въяве увидела все, что происходило тогда, много-много лет назад, когда мы еще и крещены-то не были...

Пришла к нам Анна — странная, туманная, вся в своей меланхолии, и разговаривала с нами она, словно сквозь свой туман, смотрела не сфокусированным взглядом, словно сквозь собеседника, и нам было ее очень жаль — мы уже были наслышаны от знаменитого поэта про шкаф. Я сварила кофе, и мой муж решил провести с ней психотерапевтический сеанс:

— Анна, а давай я тебе погадаю? По кофейной гуще.

Конечно, он и понятия не имел, как это делается. Он просто взял чашку, из которой она пила, и стал ей говорить, исходя из ситуации, то, что подсказывал ему здравый смысл:

— Анна, ты очень страдаешь и тратишь на это слишком много душевных сил, но для человека, о котором ты думаешь, это ничего не значит. Ты должна отдать эту любовь другим людям, которые нуждаются в ней — больным, одиноким, несчастным. Твоей любви и сострадания хватит на всех. Такие, как ты, становились сестрами милосердия, утешали безнадежно больных, которых бросили даже родные люди, поддерживали одиноких, воспитывали сирот...

Что-то такое ободряющее и душеполезное сказал ей тогда мой муж, чтобы отвлечь от бесполезного знаменитого поэта, на котором она болезненно зациклилась.

— Впрочем, — вдруг пошел он на попятную, — не слушай меня! Мне самому цыганка нагадала когда-то, что я стану священником!

— Тебе — священником? — засмеялась она.

Засмеялась и я. Засмеялся и мой муж. Настолько это было странно, невероятно, невозможно.

И теперь Анна, сама ставшая одной из сестер православного сестричества милосердия, напомнила нам об этом.

— Да-да, — сказал она, когда мы уже подъезжали к храму, где должно было состояться отпевание, — вы сами рассказывали мне про цыганку! Ну что — вспомнили? — И она, хлопнув дверью, вышла из машины.

«Да какая разница, — подумала я. — Говорила это ему цыганка или не говорила, а мой муж тогда все это придумал сам. Значит, какое-то тайное знание подсказало ему — невозможное, и он произнес: «Я стану священником!».

И ведь слово — сбылось! Действительно же — он им стал.


Отец Владимир Вигилянский

Трифон-мученик



О чудесной помощи Трифона-мученика я слышала много историй. Но кое-что могла бы рассказать о ней и сама. Икона с частичкой его чудотворных мощей была у нас в храме Знамения Божией Матери, у метро Рижская, куда мы ходили с детьми много лет, пока не переехали на другой конец Москвы, и перед которой неизменно молились.

Вообще мученик Трифон – греческий святой. Он прославился тем, что излечивал людей, изгонял бесов, совершал множество чудес и претерпел за свое исповедничество страшные мучения и смерть. В России же он стал особо почитаемым после того, как спас некоего Трифона, сокольничего царя Ивана Грозного. Сокольничий упустил любимого царского сокола и никак не мог его найти, за что ему грозил царский гнев и лютая смерть. И вот ему явился его святой – Трифон, на плече которого сидел тот самый царский сокол...

В акафисте мученику Трифону есть его слова о том, чтобы люди обращались к нему в своих

скорбях и болезнях, и он тут же придет на помощь. И действительно, он сразу откликается на человеческую мольбу.

Обычно ему молятся в случаях болезней, прося исцелений, часто просят его и том, чтобы он помог одинокому человеку найти себе добрую жену, а девице или одинокой женщине послал хорошего мужа. Но не уничижает он и тех, кто обращается к нему с земными проблемами.

Так, просят его о помощи в устроении житейских дел, в уничтожении вредных насекомых, истребляющих урожай, и, памятуя, как он нашел пропавшего сокола, о том, чтобы помог найти и вернуть пропажу.

Вот и я как-то раз заказала ему молебен с акафистом, чтобы он благословил меня... вступить в Союз писателей. Дело мое лежало уже в приемной комиссии, и у меня, по слухам, были там влиятельные недоброжелатели. А с другой стороны, по формальным признакам, меня должны были принять: все-таки, несмотря на мои 25 лет, книга стихов в престижном издательстве «Советский писатель», публикации в «Новом мире», в «Дне поэзии», отклики критиков, рецензии на мои стихи... Да я почти уверена была, что все будет хорошо. Но ведь помолиться никогда не мешает...

И вот молюсь я на этом молебне, как раз в день заседания приемной комиссии, прихожу домой, муж мой тортик уже купил — отмечать, друзья пришли, вроде бы мы уже и празднуем победу... И тут — звонок:

— Олеся, тебя провалили.

— Как — провалили?

— Ну, не приняли!

— Почему?

— Да не почему. Не приняли — и все! Сказали — писательская дочка...

Я оторопела. Честно говоря, для меня это был просто удар. Потому что вступить в те годы в Союз писателей означало примерно то же, что в Российской империи получить дворянство. Это был социальный статус. А кроме того — для моей полунищей семьи, где было уже двое детей, это давало возможность выбиться из затянувшейся нужды: и гонорары, и ставки за выступления у членов Союза писателей были вдвое выше, чем у простых смертных, которые что-то там пописывали. Можно было раз в год бесплатно поехать в дом творчества — хоть в Коктебель или в Ялту, хоть на Пицунду или в Дубулты, хоть в Малеевку или Переделкино, и прожить там 24 дня где за бесценок, а где и вовсе бесплатно. Можно было каждый год брать в писательской поликлинике бюллетень на три месяца и получать по нему немалые деньги. Можно было взять творческую командировку куда угодно — хоть в Грузию, хоть в Эстонию, хоть на Байкал и потом ни перед кем не отчитываться, что именно ты там писал и чем занимался...

Словом, этих благ было множество, и я уже мысленно готовилась было к их освоению: путевка, командировка, бюллетень, двойной гонорар... И тут — такой облом. Как-то даже на Трифона-мученика я не то чтобы обиду затаила, но выразила ему свое недоумение: как так? Дети малые, денег нет, одежда ветхая, обувка старая, вместо мебели — рухлядь...

И тут звонят мне из Бюро пропаганды художественной литературы и предлагают поехать с чтением стихов в городок Шебекино Белгородской

области. Я, конечно, согласилась: тут уж не до двойных ставок, хоть бы что-то заработать.

...Возвращаясь из этого Шебекино с букетом каал, я и попала чудесным образом к старцу Серафиму Тяпочкину. И уже после этого про Союз писателей не вспоминала, потому что жизнь моя и моей семьи пошла в совершенно иную сторону. Монастыри, монашеские скиты, святые источники, старцы, чудеса, ночные литургии, посты, да молитвы, да монахи, да юродивые с блаженными...

Я не раз думала о том, какое благодеяние совершил для меня мученик Трифон, отведя меня от сомнительного пути. Ведь если бы меня тогда приняли в Союз писателей, уж точно бы я в это Шебекино не поехала, к старцу бы не попала, не познакомилась бы ни со своим духовником, ни с духовным наставником, ни с чудотворцем убогим монахом Леонидом, словом – ни с кем из драгоценных людей, окружавших старца, с которыми так крепко связал нас Господь, а взяла бы трехмесячный бюллетень, а потом путевки в Коктебель на три срока, а потом творческую командировку в Грузию к моим друзьям, стала бы просить себе квартиру и вела бы себя так, как в принципе и должна вести себя молодая женщина, у которой двое детей и муж с репутацией подписанта и диссидента, то есть заботиться об их земном благополучии и процветании.

Так бы и ходила изредка в храм, причащая детей и продолжая думать, что-де церковные Таинства – это для простецов, а для таких просвещенных и творческих натур, вроде меня, есть таинства духовные: это таинства вдохновения, это внутренняя молельня. Вот. Нечто подобное я вычитала в свое время у русских религиозных философов – Бердяева,

Мережковского, Соловьева... Но кто знает, куда привела бы меня эта дорога.

Итак, Трифон-мученик меня в тот период жизни в Союз писателей не пустил и тем самым не дал воспользоваться его преимуществами. Но когда я убедилась, что это – ХОРОШО, я стала часто обращаться к нему в смутных ситуациях и всегда получала помощь. Несколько раз, в случаях крайних и драматических, я просила его отыскать пропавшую вещь, потеря которой несла немалую скорбь. Об одном из таких случаев и хочется теперь рассказать.

Мужа моего – отца Владимира должны были положить в больницу на очень серьезную и даже опасную для жизни операцию. В то утро я и повезла его в клинику, а по дороге высадила у института мою младшую дочь семнадцатилетнюю Анастасию, у которой был первый вступительный экзамен.

Пока мы сидели с отцом Владимиром в приемном покое больницы, ожидая, когда оформят документы на его госпитализацию, Настя позвонила мне и со слезами сообщила, что до экзамена ее не допускают, поскольку она забыла на даче свой экзаменационный лист. Это было как раз время перерыва в движении электричек, а добираться до Переделкино на перекладных – представлялось делом долгим и неверным. Поэтому я оставила мужа в больнице и помчалась на машине за экзаменационным листом сама.

Это был конец июля – самые пробки на выезде из Москвы. Машины еле тащились... Наконец я все-таки добралась до дома и ринулась в Настину комнатку, которую уместнее было бы назвать каморкой, настолько она была маленькая, низенькая, темненькая даже при свете яркого солнца, который

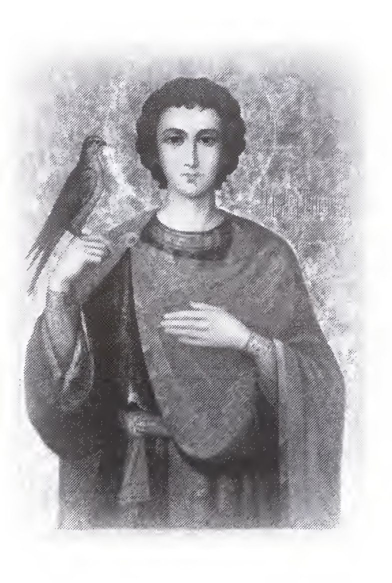


Архимандрит Кирилл (Павлов) и о. Владимир Вигилянский накануне операции

загораживали густые кроны деревьев. А тут на беду во всем поселке вырубили свет.

Распахнув дверь, я так и замерла на пороге: везде – на письменном столе, на кровати, на стуле и даже на полу – были навалены кипы книг, тетрадей, бумаг. Видно было, что здесь моей дочерью велась нешуточная ожесточенная битва за знания... Дрожащей рукой я принялась перебирать листки, поднося их к глазам и стараясь в сгустившихся сумерках каморки распознать столь необходимый документ.

Я перерыла все на столе, на стуле, на кровати и, наконец, на полу, но его – как не бывало! В бессилии я опустилась на порог, не понимая, что делать дальше. И тут увидела на полке над столом маленькую



иконку Трифона-мученика. Он стоял в красной мантии, в полный рост, а на правом его плече красовался пропавший было сокол Иоанна Васильевича...

И я взмолилась! Муж — в больнице, впереди страшная операция, дочь — перед экзаменационными дверями в ожидании забытого документа, я — в потемках, в ее разгромленной каморке, где уже все перебрано и пересмотрено, но все тщетно, тщетно!

И я в очередной раз потянулась к куче тетрадей, книг, брошюр, бумаг на столе — я только что ее просматривала, перелистывала, перекладывала, но все же... От моего прикосновения она покосилась и, потеряв равновесие, рухнула на пол в полнейшем беспорядке. Учебники, какие-то методические указания, расписание экзаменов, томики Пушкина, Лев Толстой... И вдруг от всего этого отделился один лист, спланировал и накрыл собой все остальное. На нем было так и написано: «Экзаменационный лист».

Схватив его, я прыгнула в машину и через полчаса отдала его своей скорбящей дочери-абитуриентке, которая тут же и отправилась на экзамен, а вскоре и поступила в институт.

Но бывало, что я обращалась к Трифону-мученику и в случаях не столь драматических: вроде бы потеря была не столь уж велика, чтобы тревожить из-за нее святого. И тем не менее...

Это было летом на даче в Переделкине. К нам с отцом Владимиром приехали наши дочери вместе со своими детьми, а также мой брат Митя с прекрасной собакой. Привели к нам и подружку нашей внучки Сони, двенадцатилетнюю Верочку — дочку нашей соседки. Верочкина мама очень ее оберегала от всех превратностей жизни и поэтому самолично доставила ее к нам, несмотря на то что жили они в каких-нибудь ста метрах от нас, и даже вручила ей мобильный телефон, чтобы она звонила «если что».

Дети вовсю резвились, бегая по лесу вокруг дачи, играли с собакой, носились за ней по крапиве, прятались от нее под кустами и вернулись в дом, только когда началась гроза и пошел дождь.

Тут-то Верочка и хватилась своего телефона, а его — и нет. Видимо, выронила она его, когда лазила по кустам да пряталась по оврагам. Ну что ж, только дождь поутих, и мы все — взрослые и дети, вооружившись собственными мобильниками, отправились врассыпную на поиски Верочкиного телефона, набирая поочередно из разных мест ее номер: авось, Верочкин откликнется, кто-то из нас услышит и пойдет на его звук.

Дождь уже перестал, выглянуло солнце, а Верочкин телефон все отзывался в наших мобильниках длинными заунывными гудками, которые так и не прорывались



Ника с собакой

ни сквозь крапиву, ни сквозь кусты. Молчала поляна, молчал овраг, молчал сарай, и ельник тоже молчал.

Верочка едва сдерживала слезы — видно было, что за потерю телефона ее будут ругать: мама у нее строгая, темпераментная, властная, а Верочка тихая, робкая. И семья у нее совсем не такая богатая, чтобы пропажа мобильника не составляла для нее проблемы.

Короче говоря, видя, что дело безнадежное, мы закончили поиски и вернулись в дом. Скорее всего телефон этот уже разрядился, промок под дождем и валялся теперь, немой, под упавшей веткой...

— А давайте помолимся Трифону-мученику, — на всякий случай предложила я. — Вдруг он найдет?

Мы встали перед иконкой святого, пропели ему тропарь и прочитали молитву, прибавив от себя, что очень надеемся на его помощь. И после этого снова принялись звонить, расходясь по участку. Но на этот раз стальной голос нам ответил, что абонент недоступен и находится вне зоны действия сети...

Вдруг отец Владимир уверенно и решительно пошел в сторону тех кустов, которые мы уже неоднократно обследовали, присел, протянул руку и извлек из густой травы Верочкин мобильник.

— Как? Что? Откуда ты узнал? — обступили его мы.

Он неопределенно пожал плечами:

— Просто пошел и поднял его с земли.

...С этих пор у нас уже и малые дети знают, кто готов поспешить к ним на помощь, чтобы вытереть их слезы и принести утешение, превышающее и вызвавшую эти слезы скорбь, и ценность самой найденной вещи.

Крест-накрест



Семинаристы, которые не собираются принять монашество, но желают стать священниками, должны до рукоположения вступить в брак. Но если у них нет для этого какой-нибудь подруги школьных лет или соседки по дому, где они жили до семинарии, то сделать им это очень трудно. Ведь семинарии обычно располагаются при монастырях и они постоянно живут за крепкими монастырскими стенами. Где найти им достойную спутницу жизни? Из кого выбирать?

Ну, хоть в последние годы в семинариях стали открывать регентские классы, где учатся девицы с голосом и слухом, а когда-то и этого не было. И вот семинаристы, которых отпускали из семинарии на каникулы или на выходные дни, печально ходили по улицам и глазели по сторонам, не пошлет ли им Господь их суженую. Нет, правда, не на танцах же ее искать? Не в кафе же «Метелица»?

А те молоденькие прихожанки, которые в лаврские храмы ходили, рождали в будущих иереях недостойное чувство соперничества. Я один раз была

свидетельницей такой драмы. Подходит семинарист к такой скромной девушке в платке и длинной юбке и спрашивает:

– Вы на соборование сегодня пойдете?

А она ему:

– Я пойду, только не с вами, а с Петром – он меня первый пригласил.

А тут уже и этот Петр торопится и так по-хозяйски эту девицу пальчиками за рукав:

– Пойдем, пойдем. Я тебе там на исповедь очередь занял...

Так и увлек за собой потенциальную матушку.

К тому же отощавшие, коротко стриженные и выбритые семинаристы в своих кургузых костюмчиках, которые им почему-то всегда маловаты: в плечах узковаты, в рукавах и брюках – коротковаты, выглядят просто как гадкие утята. Никакой девушке невдомек, что вот-вот из них получатся просто прекрасные такие лебеди: рукоположат их, облекут в подрясник, рясу, они обрастут густыми волосами, роскошными бородами, и станут они красавцы – один к одному.

Но пока они пробуют вот в таком своем непреображенном, прямо скажем, не авантажном и даже мизерабельном виде знакомиться чуть ли не на улице, смущаясь и заикаясь, шансы их невелики.

Вот и со мной, когда я ездила в Лавру, несколько раз в электричке пытались завести знакомство молодые люди с характерными стрижками и воротничками. А однажды, когда я задержалась после вечерней службы в храме Знамения Божией Матери на Рижской, чтобы приложиться к иконе Трифона-мученика, и уже отходила от нее, меня остановил молодой человек и прямо так в лоб и спросил:



— Простите, а вы бы не могли срочно выйти за меня замуж? А то меня на днях собираются рукополагать...

Видимо, пришел помолиться Трифону-мученику, который, как говорят, помогает найти невест и женихов, а тут я — молодая, с белыми косами, по виду — постница, крещусь, молюсь, после службы еще и иконы целую.

Смотрю я на него, а он просто умирает от робости — красный весь, чуть ли не слезы в глазах... Но, между прочим, очень милый, лицо такое одухотворенное, тонкое, хорошее. Вот, честное слово, нарвался бы он! Не была бы я уже замужем, да к тому же и матерью двоих детей, из одного только авантюризма и экстравагантности такого брачного предложения, быть может, тут же бы согласилась!

Короче говоря, женитьба для семинаристов была большой проблемой. Да и найдешь девушку,

а кто ее знает, что она такое. За время тех мимолетных встреч и не определишь – к тому же все они поначалу благочестивыми да смиренными представляются, зато, бывает, потом!..

Семинаристы и ездили с ними к старцам. Говорили, что был такой старец, который сразу видел, кто кому пара, кто кому нет. И вроде бы бывали у него такие случаи, когда приезжали к нему одновременно из разных концов страны сразу две пары женихов и невест. А он оглядывал их критически и отрицательно мотал головой: мол, не так, не так.

– А как, батюшка, как? – спрашивали они, замирая от тревоги и страха.

– Крест-накрест, – говорил он. – Так благословляется, а иначе – нет.

Это означало, что невеста одного должна была теперь выйти замуж за другого жениха, а невеста этого – за того, первого жениха.

Не знаю, может быть, кому-то это и принесло семейное счастье, но мне рассказывали историю, что один такой случай, когда молодые люди из послушания выполнили это «крест-накрест», кончился разводом, трагедией и надрывом.

А тут произошла скандальная история с одним молодым иереем, который, будучи еще семинаристом, получил от своего духовника, между прочим епископа, благословение на брак со своей невестой. Но как только она оказалась законной венчанной женой, тут же скромный платок, которым она покрывала голову, – в помойку, серую длинную юбку, в которой ходила к владыке, – нищим на паперть, а сама – в фитнес-клуб, маникюр сделала, химическую завивку, глазки накрасила, мини нацепила, кофточку с декольте – и на дискотеку.

— Ты что? — возопил молодой муж.— Ты же теперь — матушка!

— Ой,— отмахнулась она.— Все равно ты ничего не сделаешь — разводиться-то тебе по сану твоему нельзя. В монахи ты и сам не хочешь. Так что терпи и содержи меня теперь до конца дней своих. У вас же это так положено: ну, смирение там, терпение, скорби... А я свою юность морить среди богомольных бабок в этих серых тряпках не намерена. И так, пока тебя обхаживала, намучалась. Все поклоны да посты, посты да поклоны. Цвет лица у меня даже испортился. И вообще — мне певица Мадонна нравится, я на нее хочу быть похожей!

Ну и отправился отчаявшийся иерей к своему владыке-духовнику, который и благословил его на брак. От переполнявших его чувств ворвался к нему в кабинет и прямо с порога:

— Владыка! Вы меня благословили, я вам эту невесту приводил-показывал, вы одобрили, а она по ночным клубам теперь ходит, пирсинги себе прямо в носу сделала, татуировки... Что же вы, владыка, так поступили со мной? На поругание да посмеяние предали!

А владыка как увидел этот его боевитый настрой, так на всякий случай и зашел за стол, чтобы пространство между ними сохранялось и преграда стояла. Но молодой иерей от избытка горестного сердца сделал шаг по направлению к столу и стал было его огибать, приближаясь к владыке. А владыка-то и отходит, чтобы дистанцию сохранять, а то мало ли что? А иерей еще шаг, руками размахивает, жестикулируя, а владыка — снова прочь. Так вокруг стола и двигались.

— Эх, владыка, владыка, как же вы так могли! — укоризненно восклицал иерей.

Наконец архиерею надоело так пятиться, он остановился, вскинул голову, тряхнул волосами и как сказанет:

– Тут тебе не тоталитарная секта! Сам должен был думать! Сам! Никто не всучивал, никто не неволил!

На крик прибежал его келейник, который был в курсе событий, он телом закрыл своего владыку и завопил на несчастного иерея:

– Бачил что брал! Сам выбирал, сам замесил, сам заварил, теперь сам и ешь!

Бедный священник, едва сдерживая слезы, повернулся на каблуках и, не попросив благословения, ринулся вон.

– Сам, – повторял он, продолжая бежать по улице и ударяя себя в грудь, – сам, сам!

Подвески королевы



Когда меня, по святым молитвам мученика Трифона, в 82-м году не приняли в Союз писателей, мы с моим мужем и двумя маленькими детьми оказались на краю бедности: нам еле-еле хватало денег на еду. И тем не менее Господь щедрой рукой посылал и посылал нам все необходимое и даже более того — и одевал, и обувал, и угощал, и устраивал праздники.

Так, у меня была чудесная белая английская шубка, подаренная мне нашим другом — английским корреспондентом Тони Робинсоном, и превосходные черные кожаные сапоги до колен, которые по какой-то причине не подошли моей подруге, и она подарила их мне.

Сапоги, повторяю, были отменные, теплые, лишь один у них был недостаток: они были невероятно скользкими, такими скользкими, словно изготавливали их специально для клоунов: вот клоун встает было на арене, но ноги у него расползаются в разные стороны и он тут же падает: ха-ха-ха — как смешно! Так что сапоги эти требовали от владельца

особого искусства, я бы сказала, эквилибрирующей шагистики, иначе можно было, причудливо взмахнув ногами в воздухе, шлепнуться на льду или растянуться на снегу.

Но это к слову, а история моя не об этом.

Мой духовник был в те времена насельником Троице-Сергиевой лавры. Святейший Патриарх Пимен отдал ему на реставрацию старинный драгоценный крест, сокровище, и наказал никуда из мастерской этот крест не выносить.

Патриарх Пимен

Мой духовник крест отреставрировал, однако, будучи перфекционистом, был не вполне доволен результатом. Дело в том, что его некогда украшали драгоценные камни, многие из которых были утрачены. Но эта часть работы должна была быть сделана ювелиром. И вот тогда бы крест был восстановлен в своей первоначальной красоте. Патриарх Пимен сам бы порадовался.

Мой духовник на свой страх и риск на очень малый срок отдал крест знакомому ювелиру, весьма искусному мастеру и человеку надежному. Но таким образом наказ патриарха был нарушен и крест оказался в Москве.

И вдруг моему духовнику сообщают, что патриарх Пимен собирается служить литургию в Лавре и может потребовать свой крест, а то и зайти за ним в мастерскую.

Словом, вечером мне звонит авва и просит забрать у ювелира крест и наутро с первой же электричкой доставить ему, а не то его ожидает по меньшей мере бесчестье.

Я забрала крест и около трех ночи — к первой электричке в 3.40 — двинулась от своего дома у метро проспект Мира пешком к Ярославскому вокзалу.

В принципе, можно было срезать и пройти через парк, но я побоялась и, осторожно ступая в своих скользящих сапогах, балансируя руками, направилась вдоль Грохольского переулка. Было холодно, метельно, темно, скользко, безлюдно. Машин — и то не было. В продуктовой сумке из болоньи, завернутый в тряпицу, у меня лежал не имевший цены патриарший крест. На мне — белая английская шубка... Я шла и молилась.

Вдруг слева от меня притормозила машина и медленно поехала вровень со мной. Люди, сидевшие в ней, явно рассматривали меня, идущую отнюдь не твердым шагом, а вовсе даже виляющей и даже шатающейся походкой. Я постаралась ускорить темп, но тут же потеряла бдительность: сапоги заскользили, ноги стали расползаться, я едва не упала, пошатнувшись. Сделала шаг — зашаталась опять.

— Ты что — пьяная? — раздалось из машины. — Эй, проститутка!

Боковым зрением я увидела, что машина — милицейская, но это не принесло мне никакого облегчения. Я слышала о том, что милиция время от времени устраивает по ночам рейды неподалеку от трех вокзалов, вылавливая «ночных бабочек», и представила, как сейчас у меня станут спрашивать документы, выяснять личность, проверять на трезвость: кто такая? почему шатается по ночам, на ногах еле

стоит? Потащат в отделение, станут рыться в моей хозяйственной сумке, изымут крест, на электричку я опоздаю, мой духовник предстанет пред патриархом обманщиком, и обмерла от ужаса.

— Господи, помоги! — возопила я, приказывая себе двигаться ровно, ступать твердо, по сторонам не глядеть, на окрики не реагировать.

И Господь словно подхватил меня и понес, понес — я только мелко-мелко и часто-часто перебирала ногами, а какая-то сила все несла и несла меня без преткновения, пока машина медленно ехала бок о бок со мной и несколько пар глаз наблюдали, когда я еще пошатнусь.

Так я и добралась до вокзала, села в электричку и тут же забыла об этом своем сказочном перелете над снегом и льдом, об этом стремительном марш-броске, о сапогах-скороходах.

Но как только я ступила на загорский перрон, тут же поскользнулась, сделала еще шаг — и закачалась, пробуя держать равновесие. Кое-как, цепляясь обеими руками за перила, вскарабкалась я на мост через железнодорожные пути, таким же макаром преодолела его и, ступив на землю, поняла, что и вовсе не могу идти: сапоги мои вообще игнорируют всякие законы земного притяжения.

Людей по столь раннему времени почти не было, и улочка, на которую я свернула, показалась мне безлюдной, и тогда я двинулась практически... на карачках. Потом пошли в ход придорожные кусты и деревья, сучковатая палка, на которую можно было опереться, как на посох, и в конце концов я кое-как доползла.

Все это мне напомнило «Трех мушкетеров», подвески королевы, которые надо было во что бы

то ни стало привезти в срок, чтобы не уронить ее честь. На пути встречаются препятствия, враги, злодеи, но герой все равно обязан преодолеть все. Королева должна появиться на балу в брильянтовых подвесках.

Вот и мой духовник, как только патриарх Пимен после литургии потребовал назад свою святыню, протянул ему безупречно отреставрированный, украшенный драгоценными камнями старинный крест.

...А сапоги эти я с тех пор больше не надевала — ходить в них было невозможно. Я только часто вспоминала, как чудесная сила донесла меня в них в три часа ночи от моего дома до Ярославского вокзала, когда следили за мной из милицейской машины, высматривая, где бы сподручнее было меня поймать, да Господь не дал.



Объятье

Вообще-то мой муж, ныне отец Владимир Вигилянский, происходит из обширного священнического рода. Сама фамилия его имеет консисторское происхождение — такого рода благозвучными фамилиями награждали особо отличившихся в учении семинаристов, и они становились Благовещенскими, Вознесенскими, Богоявленскими, Преображенскими, Успенскими или Рождественскими. Вот и благочестивый предок моего мужа был поначалу просто Губин, а потом стал Вигилянским.

Всего существовало три ветви священников Вигилянских. Одна из них обнаружила себя в Санкт-Петербурге: известно, что отец Борис Вигилянский был духовником возлюбленной Лермонтова Сушковой, и он-то и отговорил ее от преступного замысла бежать с сумасбродным поэтом, как тот ей предлагал.

Другая ветвь тянулась по Владимирской епархии. Недавно настоятель храма Святой мученицы Татианы отец Максим Козлов, у которого под началом служит мой муж, показал ему фотографию



Протоиерей Максим Козлов (справа) и священник Владимир Вигилянский

своего то ли прадедушки, то ли прапрадедушки — протоиерея Козлова, около которого стоит и другой иерей Божий, по фамилии Вигилянский. И, оказывается, оба они служили некогда в одном храме в Муроме. Причем, как и ныне, Козлов был настоятелем, а Вигилянский — вторым священником.

Третья же ветвь — самая мощная — располагалась по Волге. Там были и митрофорные протоиереи, и мощный протодиакон, голос которого, возглашающий просительную ектенью, был даже записан на пластинку. И голос этот, и фотографии этих славных боголюбивых предков нам удалось услышать лишь краем уха и увидеть лишь краем глаза: вся эта роскошь хранилась у двоюродной сестры моего мужа, которая скоропостижно умерла, а имущество ее куда-то уплыло.

На отце моего мужа — Николае Дмитриевиче Вигилянском — этот славный род прервался, поскольку тот стал писателем и журналистом, потом сидел в лагере, вышел по Бериевской амнистии, был поражен в правах, поселился в провинции, где чем только не занимался — был даже учителем танцев...

Потом, уже после смерти Сталина, семья перебралась в Москву, сын Николая Дмитриевича поступил в Литературный институт и стал литературным критиком и журналистом. Казалось, что священническая династия завершилась.

Но, видимо, благочестивые предки Вигилянские молились о продолжении своего рода, и Господь остановил свой выбор на моем муже. «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал». И наша жизнь в какой-то момент вдруг резко изменила свое русло и бурно потекла туда, куда мы и не смели заглядывать.

И вот в конце концов 14 февраля 1995 года моего мужа рукоположили в диакона. Тут все было чудесно — и то, что хиротония была назначена на день святого мученика Трифона, которого мы очень почитали, и то, что она состоялась в храме Знамения Божией Матери около метро Рижская, который был «наш», куда мы много лет ходили с детьми, где знали все святыни, все иконы, всех священнослужителей, певчих и прихожан, и то, что эту хиротонию совершал сам Святейший Патриарх Алексий Второй.

Стоя на литургии, которая уже подходила к концу, я внезапно повернула голову, как это бывает, когда кто-то смотрит на вас сбоку и вы чувствуете этот взгляд. Я повернула голову — там был левый придел с чудотворной иконой Трифона-мученика, а далее,



у окна, — распятье из Гефсиманского скита, Голгофа...

Я всегда молилась перед этим распятием, когда бывала в этом храме... Я ставила перед ним свечи... Я прикладывалась к распятому Христу, целовала скорбящих возле Него Матерь Божию и святого Иоанна Предтечу...

Но сейчас, на литургии, внезапно повернув туда голову, я вдруг увидела нечто новое, что поразило меня, нечто невероятное, невиданное мною доселе, — на этот раз я увидела не прибитые ко кресту руки, не ладони с гвоздинными язвами, нет, я увидела только распахнутые навстречу мне объятья Христа, только ликующие, блаженные объятья...

Через некоторое время я написала стихотворение.

Сердце — предатель.
        Сердце — всадник и странник.
Сердце — охотник в засаде и зверь в загоне.

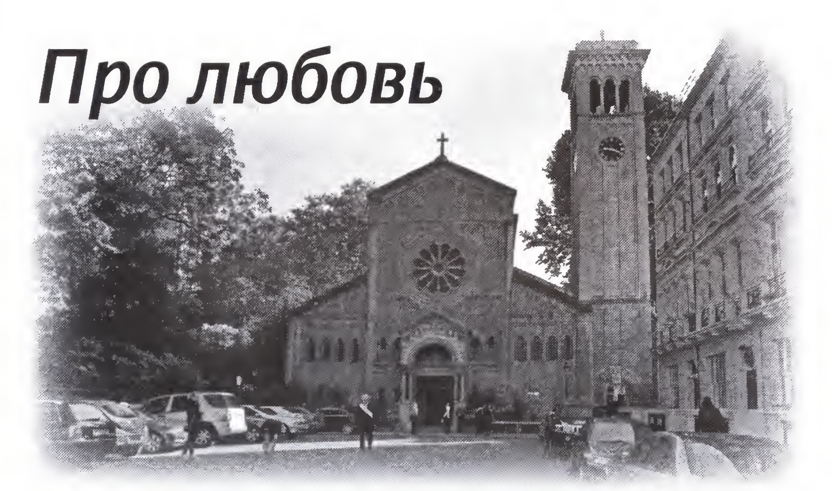
Сердце – старый дьячок,
бубнящий под нос помянник,
И – чародей на троне!

И ростовщик! Шулер! Рабовладелец!..
И фарисей. И смертник.
И смерд, бузящий в плацкарте.
Ну а паче – отшельник,
безмолвник и погорелец.
И второгодник на самой последней парте!..

Сквозь все его перебои и перестуки,
Сквозь кожаные его мешочки и платья
Только одно и поймешь: как ни раскинешь руки,
Получается крест...
И Распятый распахивает объятья!

...Вскоре и наш сын Николай был рукоположен в диакона. Так что священнический род, прервавшись было, вновь восстановился.

Про любовь



Когда мы с моим мужем, покрестившись, попали в пустыньку к архимандриту Серафиму (Тяпочкину), можно сказать, что мы получили там дары на всю оставшуюся жизнь. Прежде всего — это были люди, с которыми мы там познакомились: священники, священномонахи, простые чернецы, богомольцы-миряне, юродивые, блаженные — Святая Русь. Одним из таких драгоценных людей был лаврский иеродиакон, который за эти годы стал уже архиепископом.

Но тогда, по благословению старца, он стал нас духовно опекать и просвещать, ибо мы были людьми в церковном отношении весьма темными.

Итак, этот наш просветитель и друг, в те времена студент Московской духовной академии, лаврский иеродиакон, принес нам послушать кассеты с записью лекций митрополита Антония, которые он читал лаврским академистам и семинаристам. Это были лекции о Боге, о пастырстве и о вере.

И вот мы сели вокруг стола, на котором стоял магнитофон, и начали слушать. А потом, на следующий



Православный храм в Лондоне

день — стали приглашать друзей, родственников, просто знакомых, чтобы те послушали тоже. И это было ощущение некоего сокровища, которым надо поделиться с ближним, с дальним, со всеми... Когда никого не было — мы слушали сами. И то, о чем говорил владыка, и то, как именно он говорил, — этот его прекрасный голос, и его старомодный благородный выговор, и слог, и интонация — несли голодной душе неофитов, без преувеличения, «неизъяснимы наслажденья». Такой был лютый духовный голод.

А здесь, у владыки, присутствовал живой опыт личного свидетельства о Христе. Он говорил как знающий, как власть имеющий, как причастный тайнам Царства Небесного... Мы сразу полюбили его. И уже как любящие с особенным вниманием и трепетом вглядывались в его фотографию в Православном церковном календаре, с которой на нас

смотрел из-под белого клобука красивый человек с проницательными глазами и густой черной бородой. Мы пытались мысленно восстановить его облик и по его голосу. А голос его, ежедневно звучавший в нашей комнате, был мягким, но вместе с тем, повторяю, очень властным и вдохновенным, и его обладатель представлялся нам человеком весьма представительного вида, высокого роста и полным сил.

О встрече с владыкой мы даже и не смели мечтать — ведь тогда еще был «железный занавес», а владыка жил в Лондоне, и мы знали, что даже его приезды в Россию — проблематичны.

Как и наш друг-иеродиакон, наш духовник жил тогда в Лавре, и мы ездили к нему очень часто — иногда раз в неделю, иногда и чаще. Он назначал нам встречу возле проходной в монастырь, а потом проводил в какой-нибудь тихий закуток или же в храм, где в это время не было службы, и там мы исповедовались или просто беседовали.

Я в ту пору переводила стихи грузинских поэтов, вот и уехала в очередной раз в командировку в Грузию. А мой муж отправился в Лавру, чтобы чуть свет поисповедоваться у нашего духовника и причаститься. Они должны были встретиться, как обычно, у проходной.

Это было 10 февраля 1983 года. Мороз лютовал, и муж мой, как-то по-студенчески легкомысленно одетый в джинсы и куртку, пока добирался на электричке до Лавры, уже успел замерзнуть.

В назначенный час он встал около проходной, ожидая, что вот-вот появится наш духовник. Но прошло десять минут, пятнадцать, а он все не показывался. Тогда мой муж, совсем заиндевев,

стал просить монахов, входящих в монастырь, позвать ему нашего духовника, объясняя, что тот сам назначил ему это время. Но прошло еще пять минут, еще десять, а никто не появлялся. Мой муж, переминаясь с ноги на ногу и зябко ежась, почувствовал, как нечто вроде обиды кольнуло его в сердце, неприятное волнение колыхнулось в груди: может, наш духовник назначил час и сам забыл? Сидит в тепле и молится, воспаряя умом горé и не помня ни о чем земном? А вот-вот литургия начнется, как же ему причащаться без исповеди? Конечно, он успел бы еще поисповедоваться в надвратной церкви у другого священника, но вдруг — только он уйдет, как из проходной появится наш духовник в епитрахили, в поручах, с крестом и Евангелием в руках?

Поэтому он попытался отогнать все эти накинувшиеся на него разноречивые мысли как искусительные и стал еще сильнее переминаться с ноги на ногу, с тревогой отмечая то, что ступни его уже вроде как и не чувствуют себя самих, деревянные стали, непослушные.

Меж тем пробили часы на колокольне, началась литургия, а духовник все не шел. Не шел, а моему уже оцепеневшему от холода мужу казалось, что он вот-вот возникнет перед ним: ему было жалко, что он напрасно простоял здесь так долго, и ему хотелось, чтобы это напрасное ожидание было все-таки вознаграждено появлением духовника хотя бы за проявленную верность. Однако еще через некоторое время мой муж понял, что теперь ему и в надвратном храме исповедоваться уже поздно, и причастие, к которому он так старательно готовился, откладывается.

Он еще постоял под пыткой морозного ледяного ветра для укрепления чувства верности и в конце концов с сердцем, переполненным досадой, горечью и даже обидой, сдался, решив пойти немного погреться в храм Святой Троицы, к преподобному Сергию. А кроме того, он хотел помолиться, чтобы преподобный Сергий, и ныне и присно пребывающий игуменом своего монастыря, как-нибудь напомнил своему молитвенному насельнику кое о каких его земных договоренностях.

И вот пришел он в этот чудесный храм, приложился к мощам и, спустившись по ступеньке, так и остался стоять возле них. Людей было мало, священник тихим мерным голосом читал акафист преподобному, и несколько бабулек надтреснутыми голосами подтягивали: "радуйся... радуйся...". Мой муж приложился к раке и пристроился в углу, опершись на стасидий. В храме было тепло и чудесно...

Постепенно там стали появляться семинаристы, устремлявшиеся приложиться к преподобному перед началом занятий, потом сразу начался приток народа, который, впрочем, скоро и иссяк – по-видимому, кончилась литургия и блаженные причастники пришли поклониться игумену-чудотворцу.

Итак, храм постепенно почти совсем опустел – день был будний, погода – неблагоприятной для паломника, и, пригревшись, мой муж в полутьме, освещаемой огоньками разноцветных лампадок, слился со словами акафиста.

Вдруг на пороге храма появился невысокий – даже маленький, как показалось моему высокому мужу, монах-старичок с седой бородой. Держался он очень прямо и сразу прошел к раке с мощами.



Священник, чуть задерживая чтение, поднялся на солею, открыл ключиком раку с мощами и у старичка-монаха, не имевшего на себе никаких знаков своего сана, попросил благословения. Увидев, что священник просит у этого старчика благословение, бабульки вытянулись в очередь и тоже стали протягивать ему свои крестообразно сложенные руки.

Мой муж, наблюдавший это из своего угла, подумал, что все-таки такое испрашивание благословения неизвестно у кого напоминает ему некий магический обряд: и ты не ведаешь, кто тебя благословляет, и он не знает, что у тебя на душе... Короче говоря, он решил даже и не приближаться к этому седому старичку в скуфье.

Меж тем тот уже направился к выходу, прошел мимо моего мужа и даже глянул в его сторону: он был единственным, оставшимся без благословения, но мой муж опустил глаза. И вдруг он уловил, как одна из бабулек, отвечая на вопрос другой, прошелестела что-то такое: "из Англии..."

Тут мой муж встрепенулся — из Англии? Что, может ли такое быть, чтобы здесь и сейчас оказался владыка Антоний? Он об этом ничего не слышал, да к тому же этот маленький седой старичок с прямой спиной вовсе и не похож на того осанистого моложавого владыку из календаря... Тем не менее он понял, что если это и в самом деле владыка Антоний, его любимый владыка, он никогда себе не простит, что был рядом с ним и не попросил у него благословения. Поэтому он ринулся следом за ним.

Владыка уже был в дверях, и мой муж от волнения с некой неожиданной для него самого дерзостью крикнул ему:

— Подождите!

Старчик в скуфье остановился и повернулся, с удивлением глядя на этого странного молодого человека.

Тут мой муж снова засомневался — такой маленький, седенький, а где же его властность? Где сила? Где энергия? И наконец — где панагия? Лишь какой-то особенный блеск в глазах этого все еще неизвестного монаха мог свидетельствовать в пользу того, что это все же сам митрополит Антоний...

Запнувшись, он вдруг спросил обескураженно и еще более дерзко:

— Как вас зовут?

— Антоний, — спокойно ответил старчик. — А вас?

— Владимир, — ответил мой муж и тут же склонился, прося благословения.

Но владыка Антоний даже и не посмотрел на его протянутые руки. Он поднял свои, взял этого дерзкого, и растерянного, и смущенного, и пылающего от стыда молодого человека за щеки или даже за уши, притянул его лицо книзу так, чтобы до него достать, и трижды его расцеловал.

И тут мой муж — надо сказать, что он человек совсем не сентиментальный и отнюдь не склонный к внешнему выражению даже сильных чувств, а тем паче — посредством слез, ощутил такое радостное волнение, что у него на глаза навернулись слезы, и он в волнении пролепетал:

— Владыка, мы вас так любим, вы так много сделали для моей семьи и лично для меня, мы слушаем ваши лекции, записанные на магнитофон, как это важно для нас, какое счастье, владыка!

— Владимир, будем друг за друга молиться! — просияв лицом, сказал владыка. — Будем теперь молиться друг за друга всегда!

— А мы когда-нибудь еще увидимся?

— Обязательно увидимся! — пообещал владыка.

— И сможем поговорить?

— Обязательно сможем!

Мой муж вышел на улицу и, не чувствуя холода, пошел к проходной. Душа его ликовала. Вот, думал он, как бывает, претерпит человек какую-нибудь скорбь, а Господь его так утешит, что сама эта скорбь вменится ни во что...

И он, теперь уже желая поделиться своей радостью с нашим духовником, который тоже очень почитал владыку Антония, попросил какого-то

монаха, собирающегося нырнуть в проходную, позвать нашего батюшку.

– Так он болен. Лежит в постели, температура у него под сорок. Грипп, наверное. Как его позовешь?

Вечером (разница с Москвой два часа) у меня в Тбилиси раздался звонок.

– Знаешь, кого я сегодня видел в Лавре и кто меня благословил? – воодушевленно спросил мой муж.

– Знаю, ты видел нашего духовника.

– Нет, он очень болен – помолись... А кого я очень, очень хотел увидеть, но даже и не смел мечтать...

– Владыку Антония? – спросила я, чувствуя, что у меня перехватывает от счастья горло.

– Да! Завтра он служит всенощную на Трех святителей, послезавтра литургию, и я опять его увижу!

Я заплакала. Это было настоящее чудо, милость Божия! Почему-то тогда казалось, что Господь укрепляет нас таким образом перед грядущими гонениями: был, напомню, 1983 год, самое начало. И все духовные радости воспринимались и преумножались ввиду этих будущих бедствий.

Даже в 1986-м году, как бы сейчас это ни казалось странным, монахи, в том числе и лаврские, готовились к большим скорбям – тогда то ли в «Комсомолке», то ли в «Известиях» на первой полосе вышел махровый атеистический фельетон, и черноризцы – и молодые, и зрелые, и пожилые – готовились, в случае чего, уходить в леса, заучивали наизусть Евангелие и богослужебные тексты, а иные – из старых лагерников – так даже начали сушить сухари.

Приехав в Лавру, можно было увидеть старенького согбенного иеродиакона Филадельфа, который, опершись на руку молодого иеромонаха Порфирия, шел из монастыря в храм:

— Как поживаете, отец Филадельф?

— Сухари сушим. Газету-то читала? Опять начинается...

Или старый лагерник, архимандрит Зосима, которому энкавэдешники выбили глаз и на много лет заключили в лагерь на Соловках, теперь, когда я подходила к нему под благословение, грустно качал головой:

— Да-да, недобрые времена грядут... Статью-то видела?

Это про него рассказывали, что когда он попал с гриппом в монастырский лазарет и у него брала кровь молоденькая медичка, она тяжело вздыхала:

— Что это кровь-то у вас совсем не течет, дедушка?

— Так большевички всю выпили, деточка, большевички! — отвечал он.

Но вернусь к моему рассказу. Действительно, мой муж пошел тогда и на всенощную, и на литургию, и подходил к владыке на елеопомазании, и причащался у него, и целовал крест. И владыка каждый раз ему, называя по имени: «Владимир», что-то говорил — два-три слова. Но вот именно что поговорить с ним, спросить и услышать ответ, тогда не удалось.

И вот наступают новые времена, 1988 год. Митрополит Антоний приезжает в Москву и приглашает нас к себе в гостиницу «Украина».

Ликуя и робея мы вошли в его номер. И хотя я видела его впервые, у меня было такое ощущение,

что я так давно знаю этого человека, и так давно его люблю, и он настолько мне близок и родственен, что я поразилась точности метафоры, когда говорят: «Этот человек мне по душе».

Вот и разговор у нас поначалу пошел такой оживленный, прерывистый, радостный — как бы даже и ни о чем: так бывает, когда люди давно не виделись и им доставляет удовольствие само присутствие друг друга, само ощущение общения.

Наконец я приступила к владыке со своими проблемами: ни много ни мало — Православие и творчество. Ну, Бердяев писал, что смирение и творчество, как гений и злодейство,— две вещи несовместные. Да и меня в творчестве с духовной точки зрения настораживало то, что сам этот процесс (хорошо, назовем все своими именами: вдохновение) полностью поглощает человека: когда я пишу стихи, я практически перестаю замечать мир. Я, в буквальном смысле, «не наблюдаю часов». Но как же тогда быть с добродетелью трезвения? Стояния на страже своих страстей?

Мало того, я чувствую в себе энергию и силы, не объяснимые моим собственным физическим естеством — в этом состоянии я могу работать ночи напролет. Но как же быть с различением духов, как понять, не лукавый ли меня подбадривает?

А кроме того — бывает, я пишу то, чему и сама порой удивляюсь, ибо я как бы этого и не ведала до того, как назвала, и лишь назвав узнала. Словно творящая душа видит большее, чем мое дневное житейское «я»... Но все же — может, это и не «творящая душа», а «навет вражий»? Может, вообще я в какой-нибудь прелести, не приведи Бог? И, может, пока как поэт я блаженствую, как христианка я погибаю?

Все это я и поведала владыке Антонию. И еще прибавила, как порой пытаюсь бороться с этой самозваной творческой энергией: р-раз – и силюсь прервать ее волевым жестом. Как стремлюсь подключить свое православное сознание, как зову его в цензоры, как стремлюсь «закрестить» все темные углы и подвалы души, как подчас выворачиваю стихотворение к концу так, чтобы оно увенчивалось чем-нибудь благочестивым и проверенным, духовно надежным: либо евангельской аллюзией, либо скрытой цитатой из святых отцов, либо просто нравоучением. Но стихотворение от этих вмешательств перекашивается, заваливается, как человек, которому связали ноги, теряет жизнь...

И тут владыка остановил меня и сказал строго, почти грозно:

– Не смейте этого делать! Вы же все портите! Это я говорю не вообще, а лично вам. Вспомните, в Евангелии есть притча о злаках и плевелах. Человек посеял на поле доброе семя, но пришел враг и насадил между пшеницей плевелы. Когда же рабы предложили господину выдергать плевелы, что он ответил им? Он ответил им: «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы».

Вот и вы в тот момент, когда начинаете искусственно ломать то, что пишете, дивясь и блаженствуя, и на этом месте водружать нечто общезначимое и общеизвестное, портите свою пшеницу, свое, быть может, доброе семя. Оставляйте все как есть, пусть даже с плевелами, и уже не ваше дело судить это.

Так сказал мне митрополит Антоний, чтобы я поняла: там, где есть дух Православия, всегда дышит свобода. Но там, где свобода, всегда есть риск.



А отец Владимир, который тогда еще не был отцом Владимиром, помимо прочего спросил у владыки, как ему быть: его попросили в Издательском отделе Патриархии составить житие для канонизации Димитрия Донского. Но он был смущен некоторыми фактами его биографии, несовместимыми, как ему казалось, со святостью, и потому отказался. А теперь благоверный князь

канонизирован, и что же теперь делать с этими сомнениями?

И владыка ответил со властью:

— Так вы с ним самим молитвенно и объяснитесь. Он же святой!

...И вот мы так замечательно сидим, и спрашиваем, и слушаем, и дивимся, как вдруг раздается телефонный звонок. Владыка берет трубку, лицо его превращается в улыбку, и он произносит радостно и даже как-то ласково:

— Дорогой владыченька, ну, заходи, заходи!

Потом обращается к нам:

— Вы не возражаете, если сейчас к нам придет владыка, с которым мы очень близки? Знаете, к нему по-разному здесь относятся, но я его очень люблю. Он очень духовный человек — архиепископ Иоанн Снычев (в то время Иоанн Снычев был архиепископом Куйбышевским).

— Да как же мы можем возражать! — изумленно отвечаем мы, тем паче — это имя мало что нам говорит.

Буквально через три минуты раздается стук в дверь и входит архиепископ. Они расцеловываются, дают взаимное благословение, и очевидно, что между ними самые теплые, самые трогательные братские отношения, какие бывают лишь между двумя очень близкими людьми. Они похлопывают друг друга по плечам, называют «владыченька» и «владычка», «ты» и «ты», улыбаются, перешучиваются. Становится весело, жарко, тесно. Мы у гостя просим архиерейского благословения, хозяин этой гостиничной кельи нас представляет, про меня говорит: «поэт».

И тут владыка Иоанн замечает на столике стопку журналов с моими стихами, которые я принесла

показать митрополиту Антонию, и со словами: «А что тут у тебя? ну-ка почитаем» берет один из раскрытых журналов и начинает декламировать, посмеиваясь и несколько запинаясь.

В этот момент я ловлю растерянный взгляд владыки Антония и понимаю, что он испугался, как бы его дружественный гость не стал иронизировать над моими опусами и своей иронией меня бы нечаянно не обидел.

В принципе, что ж, я была бы и не против такого прочтения, тем более что это было стихотворение «Переписка Грозного с Курбским» — диалогичное, напористое, характерное, «юродивое», что ли. Каждая строфа начиналась либо: «Пишет Курбский Грозному» и двоеточие, либо: «Пишет Грозный Курбскому» — и опять двоеточие. А за двоеточием — бесконечная брань, вечный спор западников и почвенников, либералов и государственников.

Но владыка Антоний этого не знал и ринулся на мою защиту.

После секундного замешательства он принялся отнимать журнал:

— Это не тебе, это мне принесли, ты все равно ничего в этом не понимаешь!

А архиепископ Иоанн стал, в свою очередь, уворачиваться и прятать журнал за спину:

— Нет, нет, дай-ка мы сейчас почитаем, что они тут насочиняли, писаки!

Так они поначалу стояли, размахивая руками, и перетягивали журнал друг у друга. Наконец победил владыка Иоанн: он выхватил несчастное издание из рук митрополита Антония и побежал от своего друга вокруг маленького журнального столика, стоявшего возле дивана, пытаясь что-то прочесть

на ходу, несмотря на то что был преследуем буквально по пятам. И когда они сделали уже несколько кругов, смеясь и задыхаясь, владыка Антоний вдруг вскочил на диван и, оказавшись над самой головой своего гостя, который на мгновение упустил его из вида, торжествующе отобрал у него журнал, да еще легонько хлопнул его этим журнальчиком по голове.

Владыки смеялись, запыхавшись, а мы с мужем хохотали почти до слез — это было так весело, так чудесно, исполнено такой радости и такой любви, какая бывает лишь между близкими друзьями, братьями. Да ведь они и были и друзья, и братья...

И вот уже потом, через несколько лет, я узнала, что этих замечательных архипастырей Церкви принято среди недобросовестных партийно-групповых людей противопоставлять друг другу — мол, владыка Иоанн — духовный лидер «патриотов», а владыка Антоний — духовный лидер «либералов» (хотя какой он либерал? — монархист, традиционалист, антикатолик, антиэкуменист).

Я даже сталкивалась с неформальными светскими и “православными” тестами, когда опрашиваемых пытаются сортировать вопросами: «А как вы относитесь к владыке Иоанну? А как вы относитесь к владыке Антонию?» И если ответишь: «К Владыке Иоанну я отношусь с большим почтением», то тебя тут же запишут в черносотенцы, а если признаешься: «Владыку Антония я бесконечно люблю», тебя тут же определят чуть ли не в масоны.

Увы! — привычка мыслить партийными категориями превратила этих двух славных и светлых архиереев в некие плоские знаковые фигуры, в жупел, которым стращают противников, в козырь, которым бьют оппонентов.

На самом деле они, конечно же, стоят неизмеримо выше этих человеческих, слишком человеческих счетов, разделений и группировок. Выше Курбского и выше Грозного, которые все продолжают браниться.

То мое стихотворение, которое тщетно пытался прочитать владыка Иоанн, кончалось так:

...И такая брань сквозь столетья мчится,
откликается в русской душе, двоится, –
наваждения ее смятенны:
полоумный деспот засел в ней зримо,
перебежчик, опричник, шпион из Рима,
да младенцы плачут, что убиенны.

Разливаются реки, не сдерживаемые берегами,
и гудит земля, и горит земля под ногами.
Полнолунье. Солнечное затменье...
Но встает из крика, стона и всхлипа
чудотворный образ мученика Филиппа,
и Корнилий грядет из тленья!

Где-то там, возле преславного митрополита Филиппа и смиренного игумена Корнилия, во всяком случае именно в их ряду, в окружении и контексте того, что там, там, а не здесь, подобает нам вглядываться в дивные образы архипастырей, рядом с которыми сподобил нас Господь и жить, и творить, и каяться, и веселиться, и горевать, и праздновать, и петь едиными устами и единым сердцем и «Символ веры», и «аллилуйя».

...Когда умер владыка Антоний, мы с моим мужем получили утешение – нам досталась удивительная фотография. На ней – два молодых светлолицых


Епископы Алексий (Ридигер) и Антоний (Блюм)

прекрасных епископа. Глядя на них, оживает сердце, светлеют глаза, ликует душа. Это – епископ Алексий, будущий патриарх, и епископ Антоний, будущий митрополит. Два русских архиерея – Ридигер и Блюм. Каждый – «во плоти Ангел, небесный человек». Мы смотрим на них, но и они не отводя взора смотрят на нас.

В конце концов начинаешь понимать, что главное сокровище земной жизни – это люди, которых ты здесь повстречал, узнал, обрел, полюбил... И этого уже никто не отнимет у нас!

«Не знаете, чего просите»

Моя подруга Надюшка страстно мечтала выйти замуж. Была она, что называется, разведенка, одинокая мать с ребенком, за тридцать лет, и с этим были проблемы.

Узнав, что есть такой чудный святой — Трифон-мученик, которому молятся, прося его именно о замужестве, она стала ходить в храм Знамения Божией Матери, где была его чудотворная икона, и заказывать ему молебны.

И вот как-то раз в храме сразу после молебна подходит к ней какой-то мужик и спрашивает:

— Ты тоже о браке просила?

Она с удивлением воззрилась на него и пробормотала что-то невнятное.

— Ну вот, — радостно продолжал он, — я тоже — о браке. Так давай с тобой и поженимся — видно, Бог нас друг другу послал!.

Надюшка оглядела его и высокомерно подняла плечо: мужик был простецкого вида, с виду этакий работяга, совсем не комильфо. А Надюшка ведь — с запросами: и чтобы муж ее был интеллектуальный,

и чтобы состоятельный, и чтобы из определенного круга... Она и сама – привлекательная, элегантная, с высшим образованием...

– Ой, нет, что вы! – отшатнулась она от неожиданного жениха.

– Почему? – искренно удивился он. – Я тебя тут не первый день вижу. Сама же просила – пошли мне мужа! Ну вот.

И он приосанился.

– Нет, – запричитала Надюшка, – о вас я совсем не просила!

Два дня она пребывала в душевном столбняке – ее душила обида: как, она просила, а ей – такой неподходящий товар!

Потом кто-то ее научил: если просишь, проси конкретнее. То-то и то-то.

И она стала просить уже, чтобы не просто выйти замуж, а чтобы муж ее был: умный, богатый, лучше всего – иностранец, причем желательно из стран Западной Европы или американец (но не чернокожий).

И вскоре именно такой человек (умный, богатый, иностранный и не чернокожий) возник в ее окружении. И все получилось точно так, как она просила: он сделал ей предложение, она вышла замуж и уехала с ним в Америку.

Но – увы! – это не принесло ей радости. Во-первых, ее бывший муж, отец ее ребенка, категорически отказался отпускать его из России и подписывать разрешение на его отъезд. Поэтому пришлось оставить этого ребенка с бабушкой. Это была плата за то, что новый супруг был иностранец.

Во-вторых, оказалось, что самой Надюшке в Америке абсолютно нечего делать, – не деньги же ей



зарабатывать при богатом муже! И она пошла учиться в какой-то университет, который и окончила с дипломом по русскому разговорному языку.

А в-третьих, американец решил с ней развестись, но сделал это хитро и по-тихому, чтобы ничего ей не досталось из его богатств: он нашел такую страну (типа Гонолулу или Гвинеи), где по закону можно получить развод не платя жене отступных. И его адвокат просто предъявил Надюшке уведомление о разводе. И все. Это была плата за то, что муж ее был умен.

И Надюшка вернулась домой. Теперь она снова соединилась со своим ребенком, а на стене у нее висит диплом, выданный за отличное знание русского разговорного языка. Но разговаривает она на нем каким-то надтреснутым голосом, модуляции которого должны свидетельствовать о пережитом страдании.



Конечно, тут как на это посмотреть. Можно сказать о том, что есть такой мазохистский кайф: брать от жизни все, даже больше, чем можешь, и при этом желать казаться обездоленной... Но лично мне эта история вспомнилась, когда я прочитала у преподобного Нила Сорского:

«Молись, говоря: “да будет воля Твоя во Мне”. Молясь, просил я часто себе того, что мне казалось хорошо, и упорствовал в прошении, неразумно принуждая Божию волю и не предоставляя Богу устроить лучше, чем Сам Он признает полезным. Но, получив просимое, впоследствии крайне скорбел, зачем просил я, чтобы исполнилась лучше моя воля, потому что дело оказывалось для меня не таким, как думал я».

И что же? Если посмотреть беспристрастно на некоторые свои разочарования и провалы, нельзя не признать, что многие из них были выпрошены, вырваны у жизни едва ль не силком, вслепую...

Исполнение желаний



Как-то раз превосходным сентябрьским деньком шли мы по Невскому и весело болтали – поэт Олег Чухонцев, критик Сергей Чупринин и я. Приехали мы в Питер в командировку, остановились в прекрасной гостинице, времени до вечера, когда у нас была назначена литературная встреча, оставалось вдоволь, и вот мы просто вольно гуляли и наслаждались...

– А ведь, в сущности, мечты сбылись,– сказал вдруг Чухонцев.– Я вот всегда мечтал, чтобы мне не хлопотать, не ходить по редакциям, а сидеть дома. И чтобы мне сами оттуда звонили и просили дать им стихи. Так и произошло. Теперь звонят, просят – стихов на всех даже и не хватает...

В юности, до самого слома советской власти, его практически не печатали, цензурировали и каждую публикацию, которой приходилось дожидаться годами и получать в купированном виде, он добывал сердечной мукой.

– А вы, Сергей Иванович, о чем мечтали вы? – спросил Чухонцев Чупринина.

— Я? — замялся тот и, несколько смущаясь, произнес: — Я ведь начинал в Ростове. Так вот — хотелось мне очень быть главным редактором... толстого литературного журнала.

— Ох, так вы точно в цель и попали! — засмеялся Чухонцев. — Сколько лет вы уже главный редактор «Знамени»? Двадцать?

— А ты? О чем мечтала ты? — спросили они у меня.

— Я?

С Невы подул прохладный ветер, надувая полы моего тонкого плаща. Золотые лучи стекали с купола Казанского собора и заливали лицо. Тут же стоял краснолицый и чуть поддатый Петр Первый с какой-то важной дамой в завитом парике и кринолине — с ними можно было сфотографироваться на память. Рядом оказалась карета с кучером — не желаете ли прокатиться? Весь Невский нес в себе тысячи возможностей и поводов для игры.

— Ну да, да, ты! О чем мечтала ты? — снова спросили они. — Чего ты хотела?

Я вспомнила, как много лет назад — двадцать? двадцать пять? — тот же вопрос задавал мне мой духовник:

— А чего вы хотите? Вы сами-то знаете?

И тогда я ему ответила, зажмурившись от дерзости, от неисполнимости моих желаний:

— Я бы хотела жить среди сосен, где-нибудь в Переделкине, писать стихи и слушать классическую музыку!

— Да это вы прямо здесь, на земле, хотите в раю оказаться! — засмеялся он. И в глазах его проплыли облака сомнения: он знал — здесь, на земле, человеку надлежит изведать многие скорби... Какая уж классическая музыка среди сосен!



– Ну хотя бы скажи – твои-то желания – сбылись? – теперь настаивали мои спутники.

– Ну да, да!

Мне почему-то стыдно было им признаться про сосны, классику и Переделкино.

А меж тем – совсем недавно мой муж купил такую волшебную компьютерную установку, на которой можно слушать весь мировой репертуар. И вот – Моцарт, Бах, Шуберт, Гендель, Вивальди заливают округу, то соперничая с птичьим пеньем, то входя в унисон с ветром, раскачивающим старые скрипучие сосны, и вольная душа подпевает им...

И тем не менее я ко всем «исполненным желаниям» отношусь с некоторой опаской. Все-таки просить надо с рассуждением и осторожностью, ибо не знаешь, что за крест выпрашиваешь себе... А ведь, как утверждали святые отцы, выпрошенный крест – самый тяжелый.



Например, моя мама всегда мечтала, чтобы ей не приходилось мыть посуду и убирать...

А моя подруга актриса и певица Люля мечтала эмигрировать («только бы вырваться из этой проклятой страны!»).

А мой приятель Леня Золотаревский мечтал стать баснословно богатым.

А красавица Ирэн мечтала научиться водить машину и купить себе что-то вроде «альфа-ромео».

И вот у моей мамы произошел инсульт, и она последние десять лет жизни не мыла посуду и не убирала дом, а просто лежала в постели.

А Люля уехала в Израиль и там поселилась в кибуце и — актриса, певица, балерина — ходила каждый день, ради пропитания, на очистку леса собирать там какие-то ветки, а вся ее заграничная артистическая карьера свелась к простой самодеятельности:

по праздникам она пела в застольях и по-актерски выразительно рассказывала анекдоты.

А Леня Золотаревский сказочно разбогател, но у него украли ребенка и требовали за него выкуп. И когда он выкупил сына, тот сильно заикался, а сам Леня вскоре умер от лейкемии. Врачи говорили: это все – от перенесенного стресса.

А красавица Ирэн научилась водить машину, но поскольку у нее не было денег, она продала свою трехкомнатную квартиру в новом доме, на эти деньги купила «альфа-ромео» и сняла двухкомнатную квартиру в центре. А потом вдруг хозяева квартиры немыслимо взвинтили цены, Ирэн разнервничалась и разбила машину и в результате вынуждена была переселиться к бывшему мужу. Он жил с молодой женой и двумя маленькими сыновьями-погодками. И Ирэн полгода прожила у них в кладовке, а потом куда-то исчезла.

Честно говоря, и я подчас думаю: «Слава Тебе, Боже, что Ты не исполнил некоторых моих безумных желаний!»

Владыка Антоний Сурожский не без иронии вспоминал, как в детстве, увидев у своего дядюшки вставную челюсть, которую тот на ночь клал в стакан с водой, страстно желал иметь такую же.

А я в детстве, увидев в гостях у своей бабушки старую лагерницу, отсидевшую в сталинские времена по политической статье, залихватски курившую «Беломор» и приятным баском весьма артистично рассказывавшую о своих злоключениях, страстно захотела тоже вот так – пострадать, безвинно отсидеть срок, быть взвешенной на Божьих весах и оказаться в этой жизни – весомой.

В отрочестве же – я, наслушавшись рассказов подруги моей матери режиссера Инны Туманян

о том, как ей приходится «отбивать» свой фильм, положенный Госкино на полку, возмечтала тоже быть режиссером и тоже вот так — бороться. У Инны Суреновны была мальчиковая стрижка, и я в девятом классе остриглась под мальчика. Инна Суреновна говорила роскошным для женщины низким голосом, и я стала басить. И когда я на первом курсе Литинститута на основах киноискусства, которые вел у нас знаменитый Л. Трауберг («Юность Максима»), написала в качестве курсовой режиссерскую разработку «Незнакомки», а он попросил меня остаться после занятий, поскольку нашел мою работу выдающейся, я ничуть не удивилась, а сочла это закономерностью судьбы.

Все ушли, и мы с ним остались в пустой аудитории.

— У вас есть талант, — сказал мэтр.

Я кивнула ему польщенно, но со скромным достоинством.

— У вас — подлинно режиссерское видение. Вы сами хоть это понимаете?

Я смущенно хмыкнула и почесала от волнения нос.

— Талант нельзя зарывать! — он даже чуть притопнул ножкой, словно подозревая, что у меня уже припрятана та лопата и вырыта та самая ямка, куда я вот-вот...

— Это моя мечта, — чистосердечно призналась я. — Я мечтаю быть кинорежиссером! Поступить во ВГИК...

— Так я же там преподаю! Я вам окажу содействие... А пока вы будете заниматься со мной, — он решительно взял меня за руку, — индивидуально.

И он многозначительно взглянул мне в глаза.

Тут я немного удивилась этой игре его глаз. Ведь маэстро был уже стар, очень стар, даже дряхл... Столь стар, что, честно говоря, когда он поднимался в аудиторию на второй этаж, из него мало-помалу сыпался песок. Он весь — осыпался! Но именно поэтому он оказывался — вне подозрений в нескромности...

— Но,— продолжал он, выпуская мою руку,— об этом никто не должен знать! Ни одна живая душа! Как говорится, ешь пирог с грибами, держи язык за зубами.

И он снова многозначительно взглянул на меня снизу вверх, ибо еще и росточком был мал — едва доставал мне до подбородка.

— Сейчас мы с вами отсюда выйдем,— сказал он, протягивая листок с номером своего телефона,— но вы делайте вид, что вообще со мной не знакомы. Сначала я. А потом — через три минуты — вы. Ну, вы поняли? Тсс!

Я отсчитала ровно три минуты после того, как он покинул аудиторию, и заторопилась домой. Но не успела я дойти до ворот, как нагнала его: он еле-еле ковылял. К тому же было скользко и его ноги то и дело разъезжались в разные стороны. Вдруг он покачнулся и замахал руками, пытаясь удержать равновесие.

— Вам помочь? — участливо спросила я, подскакивая к нему. Так пионеры-тимуровцы спрашивали старушек, которые собирались перейти через улицу.

И он именно так понял мою интонацию, правильно понял. Глянул на меня с обидой, с гневом, решительно рванулся вперед и, поскользнувшись, упал...

Больше он меня никуда не приглашал – ни во ВГИК, ни на индивидуальные занятия, ни вообще – в мир кино.

И оборвалась, не успев начаться, моя кинематографическая карьера...

Ну и еще... Была у мамы подруга – прекрасная безумка Люси, светская дама, жена старого писателя. Она носила баснословные туалеты, широкополые шляпы, длинные шарфы, пила шампанское и могла приехать к моей маме в любое время – хоть в три часа ночи с ворохом неких невероятных историй, восклицая с порога: «Как? Вы уже спите? Да как же можно спать?» Словом, это была очень вдохновенная и экстравагантная дама, к тому же прекрасная собой. Она то и дело «бросала вызов этому миру» и находилась с ним в весьма непростых, страстных и напряженных отношениях. Именно поэтому она любила говорить: «Дети? Помилуйте, я в неволе не размножаюсь!» И, признаться, мне это тогда очень нравилось. Я тоже собиралась «в неволе не размножаться» и «бросать вызов этому миру». Было время, когда я просто мечтала быть такой, как Люси!

Однако судьба моя сложилась иначе и повела по другой дороге. Вскоре я вышла замуж, и за два года у меня родилось двое детей. Люси посматривала на меня со снисходительным высокомерием и потеряла ко мне всякий интерес. Так прекрасная птица летит себе по небу, ничего не желая знать о всяких суетящихся у своей норы запасливых хомячках с барсучками...

Потом прошли годы, она все время кидала этому миру вызов и в конце концов осталась совсем одна. Недавно мне рассказали мои знакомые, что

частенько видели ее, старенькую, пьяненькую и обносившуюся, в гастрономе возле их дома. А потом — пришла весть, что Люси умерла. Заснула, бедная, на лавочке в конце октября и замерзла.

Ну и много, много еще у меня было всяких образцов для подражания, желаний, мечтаний... Слава Богу, не все услышал Господь, не на все откликнулся.

Воистину, как это сказано в Великом каноне святого Андрея Критского: «Столп умудрила еси создати, о душе, и утверждение водрузити твоими похотьми, аще не бы Зиждитель удержал советы твоя, и низвергл на землю ухищрения твоя»*.

...Слава этому Удерживающему нас над бездной, слава этому Низвергателю лукавых наших ухищрений!

Об этом и возвещает мне музыка, устремляющаяся выше крыши моего дома, выше верхушек сосен.

* «Ты бы, душа, умудрилась водрузить целый столп из своих страстей и похотей, если бы Творец не остановил твои замыслы и не разрушил твои начинания».

С избытком, или Ничего лишнего



Моя крестная мать Татьяна, жена моего друга, детского писателя Геннадия Снегирева, была удивительно щедра. И ведь нельзя сказать, что они были люди состоятельные. У писателей ведь известно как — то густо, то пусто. Но Татьяна, независимо ни от того, ни от другого, всегда старалась своим гостям что-то подарить, чтобы ушли они не с пустыми руками. Кто уходил от нее с пакетом кураги, кто с книгами Снегирева, кто — с шоколадкой, а кто, как отец Георгий, грузинский архимандрит, и со шкурой рыси! «Давать ведь лучше, чем брать!» — любил повторять Геннадий Яковлевич.

Немудрено, что порой, и даже весьма часто, запасы этого дома полностью оскудевали и Татьяна не раз просила у нас деньги в долг, чтобы дожить до следующего гонорара. Так мы и жили, благо что в одном доме, — то Снегиревы займут у нас денег, то мы у них. И Татьяна очень часто мечтательно вздыхала:

— Послал бы нам Господь денег, мы бы с Генькой в паломничество отправились на Святую Землю или дом возле монастыря купили!

А Снегирев строго говорил ей на это:

— Бог тебе не завхоз! «Подай ей то, подай это!» И не бухгалтер! — назидательно добавлял он. — И вообще — дай тебе миллион в пустыне, так ты и там ухитришься его тут же потратить.

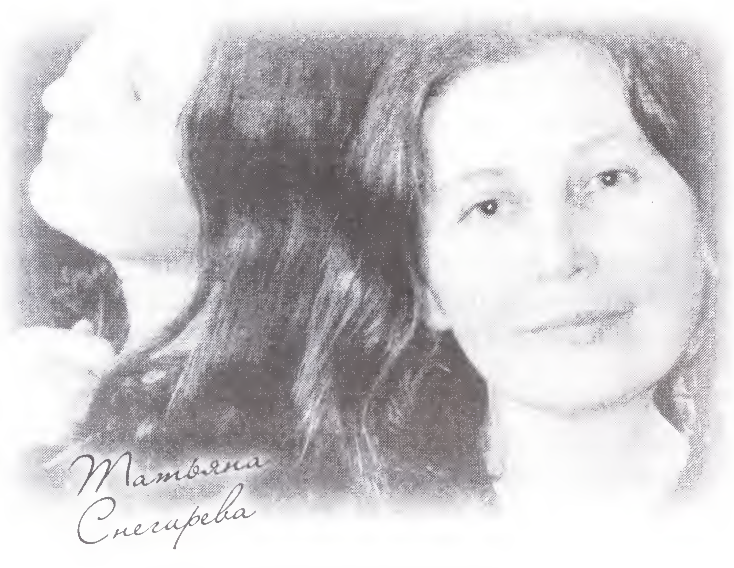
Тогда Татьяна стала формулировать свою просьбу в более духовной постановке:

— Господи, испытай меня деньгами!

Ну, это и услышал наш друг — лаврский иеромонах, который потом стал епископом, отец Д.

— Деньгами распоряжается Сам Господь, — сказал он. — Каждому посылает столько, сколько тому положено по его духовному устроению.

Но Татьяна полагала, что как раз по ее духовному устроению ей окажется под силу перенести именно такое испытание: сколько бы денег она раздала больным и нищим, скольких бы накормила, сколько бы



пожертвовала на храмы Божьи! И себе бы с Генкой чуть-чуть оставила — на благие дела.

А то был у них дом в глухомани, так его постоянно разворовывали: печку разбили, плитку стащили, кастрюли с посудой расхитили, несмотря на то что Татьяна запирала дом на замок. А потом украли даже и входную дверь вместе с этим замком. В общем, погиб дом. И теперь она хотела купить жилье в каком-нибудь обитаемом месте, лучше всего — в маленьком городке, возле монастыря.

Но как только она заводила эти разговоры, Снегирев ее вновь обрывал:

— Бог тебе не завхоз!

Как-то раз сидел у них в гостях известный московский регент Сергей — смею добавить, один из лучших регентов, он и говорит на это:

— А это как посмотреть, Геннадий Яковлевич. Ежели с той точки зрения, что Господь дает нам все для нас потребное, то в метафизическом смысле так это и есть! Во всяком случае у меня есть свидетельство того, как Господь послал мне в жестокую минуту жизни пятьдесят рублей, и эти деньги спасли меня, перевернув всю мою жизнь. Хотите историю?

— Хотим, расскажи! — заинтересовались все.

— Извольте. Был я ну просто какая-то шпана подзаборная, так опустился: пил с дружками, гулял. Както раз спьяну мы даже уголок Дурова ограбили. Забрались туда и украли...

— Морскую свинку? — попытался сострить кто-то из нас.

— Да нет, радиолу свистнули, толкнули, все это пропили... А у меня, между прочим, была уже жена и двое маленьких детей. И вот жена мне говорит:

«Сил моих больше нет тебя терпеть, глаза бы мои тебя не видели! Тут дети голодные, их кормить надо, а ты пьешь с утра до ночи. Уходи и без денег домой не возвращайся!» Выгнала меня.

Я долго бродил по улицам, потому что идти мне было некуда, денег взять неоткуда, и я просто метался, как сухой лист по ветру. Вдруг вижу: старушка старенькая, с палочкой, еле-еле ноги передвигает, пробует перейти улицу, а машины идут нескончаемым потоком и никак ей это не удается. Подошел я к ней: «Давай, бабусь, помогу тебе». «Помоги, милок, — говорит, — а то я в храм никак не могу попасть». Перевел я ее, поставил возле самого храма, она и благодарит: «Спаси тебя Господи, дай Бог тебе здоровья, а что это ты такой грустный? Никак скорбь у тебя какая?» «Да уж, — отвечаю, — жена выгнала, сказала, без денег не приходи, а у меня и работы нет, и попросить не у кого». «Да, — вздохнула старушка, — это уж и вправду скорбь. А зовут-то тебя как?» Я назвался. Она и закивала обрадовано: «Так ты к Сергию преподобному сейчас прямо и отправляйся в Лавру. Обратись к нему — он и поможет!»

Простился я с бабулькой, ну, думаю, может, действительно поехать мне к преподобному Сергию, раз уж больше не к кому. Дошел до вокзала — ба, а у меня и денег-то на билет нет! Что ж, решил поехать зайцем. Приезжаю, а на станции выясняется, что до Лавры надо еще пешком переть и переть. Тут меня такое сомнение взяло — чего я бабку эту послушал! Куда забрался! Сам уже не рад.

Но в Лавру все-таки пошел — раз уж приехал, чего ж обратно поворачивать? Узнал, где лежат мощи, встал у них, да так и простоял, мысленно взывая к преподобному.


Преподобный Сергий

Пора было, однако, собираться домой: храм запирали, люди расходились, и я отправился восвояси. Добрался кое-как до дома, думаю — а ну как жена меня выгонит? Денег-то я так и не принес! Да и на что, спрашивается, рассчитывал, когда в Лавру ехал? Подхожу к своему подъезду и вдруг вижу — возле него расхаживает мой старинный друг, которого я не видел уже давно.

— Ты чего здесь?

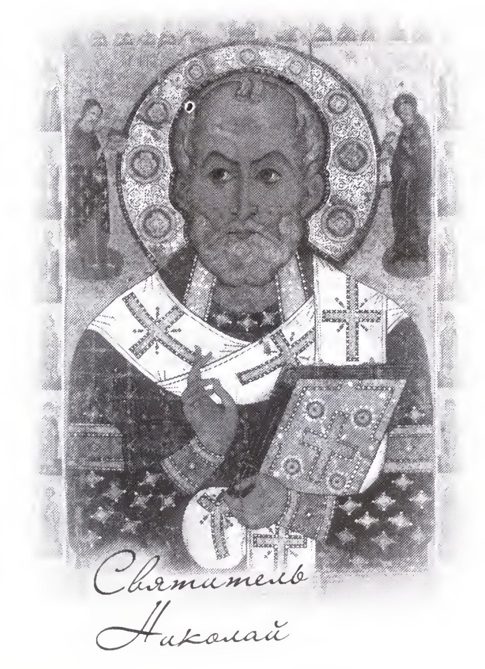
— Да вот пришел к тебе, а меня жена твоя выгнала. Я тебя у подъезда и поджидаю. Я тебе деньги принес. Вот. Пятьдесят рублей. Я у тебя когда-то занимал, да все не мог отдать, а теперь вот — разбогател. Держи.

И протягивает он мне пятьдесят рублей. А я и не помню, чтобы он когда-нибудь у меня их одалживал!

Взял я эти деньги, принес жене, помирился с ней. А на следующий день меня позвали петь в маленьком церковном хоре. И так моя

жизнь стала выправляться и выправляться... И все это благодаря помощи преподобного Сергия! Пятьдесят рублей!

— Ну что ж,— сказала я.— У меня тоже была история именно про пятьдесят рублей. Только в ней участвовал не преподобный Сергий, а Николай Угодник.



— Не сомневаюсь,— сказал регент.— Я ведь Сергей, а ты — Николаева. Так рассказывай.

— Нам с детьми очень хотелось поехать к нашему духовнику в Печоры. Было уже лето, а дети все сидели в душной Москве, надо было их отсюда увозить, но вот беда — на это совершенно не было денег. А главное — ничто не сулило их появления в обозримое время. Поэтому было невозможно даже у кого-то их занимать.

А ходили мы тогда в храм Знамения Божией Матери, где было много чудотворных икон. И одна из них — святителя Николая Чудотворца — находилась на паперти. Про ее чудотворную силу говорили мне два священника, которые служили в этом храме, — отец Владимир Рожков и отец Владимир Ригин: пойди, вон там у нас икона Николы Угодника, он тебе поможет. Так и бывало. Помогал мне уже Никола в нелегкий час.

Вот и теперь я отправилась к нему. Встала перед ним, зажгла свечку и все ему рассказала: так и так, дети маленькие томятся в городе, духовник нас зовет, душа рвется туда, а денег нет... Помоги, пожалуйста!

И так на сердце стало легко, словно я с родным любимым человеком поговорила, а уж он-то обязательно поможет!

Пришла я домой, и тут появляется Игорь Исаков, добрый друг, с которым мы не виделись едва ли не несколько лет. Стоит, улыбается.

— Вот, — говорит он. — Я вам старый долг принес.

И кладет на стол пятьдесят рублей.

— Да ты что, Игорь, когда это ты у нас деньги занимал?

— Года два назад, а может, и три — я уж не помню.

— И я не помню... Может, это у кого-то другого?

— Точно у вас!

— Что, пятьдесят рублей?

— Пятьдесят! Я, когда деньги у тебя брал, сказал, не помню к чему, что учился в математическом классе, где у нас были все умные еврейские мальчики и только два русских, и те — Абрамов и Исаков. Ты еще смеялась...

С большим недоверием я взяла эти деньги и тут же отправилась с ними на вокзал. Там я купила четыре купейных билета (один взрослый и три детских) на таллинский поезд до Печор и обратно — купейных не было — четыре плацкартных на псковский поезд до Москвы. Заплатила заранее (тогда так можно было) за постели. Кассирша посчитала-посчитала и произнесла:

— С вас за все про все пятьдесят рублей.

Копейка в копейку! Один к одному!

Крестный ход на Успение Божией Матери в Печорах

— Ну вот, Генька, — вздохнула Татьяна, — а ты говорил, что Бог — не бухгалтер! Как дебет с кредитом тут сошелся! Все у него подсчитано, отмеряно, взвешено, даже волосы на голове все сочтены! Ничего лишнего!

«И с избытком», — подумала я, вспомнив Печоры, какие это были прекрасные дни.

Иди и смотри



В середине января, году этак в 91-м, позвонил мне поэт Юрий Кублановский и прямо-таки накинулся на меня:

– Ты вот здесь сидишь у себя в Москве, а там отец Сергий Вишневский в своей глухой деревне от голода и холода погибает...

– Подожди, отец Сергий – это же настоятель храма Знамения Божией Матери на Рижской, почему он в деревне и почему голодает?

– Э, да ты ничего не знаешь! Он попросил, чтобы его отправили восстанавливать храм, где он еще в детстве пономарил. А храм этот – в глуши, в дремучем лесу, и жителей там зимой на всю округу никого. Ни тебе магазинов, ничего! Надо его спасать!

– Так а где он? Где эта самая глушь?

– В общем, так. Тебе надо доехать до Рыбинска, моего родного города, там тебя встретит друг моего детства Боря. Он неверующий, к тому же собирается вот-вот эмигрировать в Израиль, но он тебе поможет отыскать отца Сергия. Так что бери продукты и поезжай.

А я-то как раз собиралась в Печоры, к моему духовнику! Ну ладно, раз отец Сергий там погибает в снегах, надо его поддержать. Набрала я всяких круп, макарон, муки, сахара, подсолнечного масла, соли, спичек — все такое жизненно необходимое — и отравилась прямиком в Рыбинск.

А надо сказать, что погода в Москве была, несмотря на святки, очень хлипкая: все таяло, текло, капало, и поэтому я, соответственно этой погоде, поехала в курточке на рыбьем меху, в тонких чулочках и легком шарфике.

Но уже наутро в Рыбинске вместе с Борей, который стоял уже одной ногой в цветущем Израиле, встречал меня наш прославленный Мороз-воевода. За то время, пока я спала на вагонной полке, гремучие льды сковали воды, задубевшие снега стянули землю, и пар так и валил изо рта, когда я на перроне знакомилась с Борей, а он наспех перечислял мне все предстоящие повороты дороги, все пункты, все пересадки.

Сначала мы должны были доехать на рейсовом автобусе до Мышкина. Там пересесть на другой автобус до какого-то поворота. После этого пройти по шоссе, голосуя попуткам. На попутке добраться до села. А уж от села — пехом по бездорожью через лес — несколько километров. И — откроется прекрасный вид: храм отца Сергия на крутом бережке речки, блестящей подо льдом!

Прежде всего я передала Боре часть пакетов с провиантом, и он, пошатнувшись, мужественно принял их из моих рук. Субтильную его фигуру несколько перекосило, но он выровнял равновесие, и мы потащились к автобусной остановке.

Это был старенький, дребезжащий автобус, надрывавшийся на скорости в каких-то пятьдесят

километров и трясшийся так, словно он вот-вот развалится на ходу, и мы с нашими макаронами и гречками окажемся в каком-нибудь заваленном снегом кювете. Но это были пустяки по сравнению с холодом, который пожирал на лету теплую струйку воздуха, вылетавшую из автобусной печки, и брал в плен неподвижных пассажиров, сковывая их по рукам и ногам своей цепью.

Уже здесь я поняла, что вместо радостного путешествия по снежку, вместо русской сказки с праздничным инеем на деревьях, вместо горячей встречи с добрым и любимым батюшкой Сергием мне предстоят: ледяная мука, ощущение холодного колючего позвоночника, промерзшего до костного мозга, и обморожение конечностей, кое-как прикрытых тканевыми перчаточками и легкими ботиночками... Да и спутник мой был экипирован не намного лучше — он весь как-то съежился, скукожился, словно хотел забиться в щелку и в ней хранить оставшееся тепло. Я вдруг пожалела, что не захватила для отца Сергия пару бутылочек доброго коньяка — вот бы мы сейчас с Борей немножко взбодрились бы да согрелись!

Меж тем мы уже доехали до Мышкина, где нам предстояло пересесть на другой автобус, но для начала мы решили отогреться и вошли в маленькую забегаловку при автобусной станции. Там стояло нечто вроде буржуйки, и мы, разложив вокруг себя пакеты, устроились за столиком. Боря выглядел как-то скверно — губы у него посинели, глаза закатывались, надо было его срочно подкормить, но в забегаловке ничего не было, кроме грязно-коричневых пирожков с повидлом, и мы взяли себе по два стакана горячего чая, который здесь подавали исключительно в баночках из-под майонеза.



Наконец, худо-бедно согревшись, по нескольку раз замотав шарф, я – вокруг головы, а Боря – вокруг шеи, обвесившись пакетами, мы зашкандыбали на автобус местного значения. Как только мы в него влезли, мы поняли, что ему никогда не угнаться за тем, рыбинским автобусом, который мы так ругали в сердцах и который хотя бы пытался овевать нас теплой воздушной струйкой. Но как только мы оба выразили свое недовольство, как водитель, едва-едва выехав за пределы обжитого Мышкина, где было все, даже кафе с горячей буржуйкой и чаем, и оказавшись среди необозримых многоярусных лесов, вдруг остановился.

– Стоп машина! – сказал он. – Вылезай!

– Как – вылезай? Что – вылезай? – заволновался народ.

– Вылезай, говорю, – повторил он, размахивая оторвавшейся ручкой коробки передач. – Поезд дальше не пойдет.

Так мы и вывалились на шоссе. Боря раскрутил шарф и повязал его поверх лыжной шапочки, что придало ему сходство с французами, в свое время бесславно бежавшими из Москвы. Глаза его, в которых, кажется, отобразилась вся скорбь иудейского народа, были устремлены куда-то в пространство — наверное, там ему мерещилась благословенная Земля Обетованная, где плескалось теплое Чермное море, потопившее гонителя-фараона, а с ним коней и всадников его...

— Ну что, Боря, надо идти! — сказала я.

Мы прошли несколько десятков метров по пустынному шоссе, миновали гребень и стали медленно спускаться с горки. И тут я вдруг увидела, что вокруг никого нет. Скрылся из глаз сломанный автобус, куда-то исчезли пассажиры, поначалу тоже пустившиеся в путь... Мы были с Борей одни-одинешеньки на всем заснеженном пространстве.

— Сейчас помолимся Николаю Угоднику, — сказала я, — и какая-нибудь машина нас да подберет. Я всегда так делаю.

— Я неверующий, — слабым голосом откликнулся Боря. — Агностик я. Боюсь, не подействует.

— Как это не подействует! — заиндевелыми губами прошелестела я. — А ну-ка!

И принялась читать надтреснутым голосом «Правило веры и образ кротости»... Удивительно, но голос стал крепнуть и мне как будто стало теплее. — «Воздержания учителя», — гаркнула я.

— Меня уже и Юрий Михайлович Кублановский наставлял в вере, а я вот — никак! — признался Боря. — Не верю, и все!

— «Яви тя стаду твоему яже вещей истина», — продолжала я.

– Он уж стыдил меня! Говорит: иди и смотри! Сюда, с вами, послал к отцу Сергию.

– «Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая», – произнесла я.

– Вот я иду и смотрю. Иду и смотрю, – как-то обреченно проговорил Боря.

– «Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим», – наконец закончила я.

– Так и сказал мне Юрий Михайлович: иди и смотри...

И тут из-за пригорка показалась машина. Я встала на дороге и перегородила ей путь. Это был старенький газик с брезентовым верхом. Шофер недовольно открыл дверцу:

– Куда?

– Всему будем рады, – ответила я.

Так мы добрались до села, откуда нам предстоял долгий путь через лес. Однако мы уже так окоченели, что сразу пускаться в дорогу было полнейшим безумием – мы не прошли бы и ста метров, замерзли бы, как ямщик в степи глухой. Поэтому мы постучались в первый же дом:

– Пустите путников погреться, – еле-еле проговорила я.

Тогда еще пускали. И мы расположились у натопленной печки. Час сидели так, два... Но надо было идти, чтобы до темноты добраться к отцу Сергию...

И снова – взвалили на себя пакеты, несколько облегченные тем, что пару килограммов гречки и пшенки мы отгрузили в дар хозяевам за их гостеприимство, и побрели дальше, паломники.

По счастью, все же какая-то дорога в лесу была. Конечно, легковой машине тут было не проехать,

но, может, трактор какой тут проходил. Гусеничная колея... По ней мы и пошли.

Меж тем Мороз-воевода разыгрался уже не на шутку — все было уже приготовлено им к празднованию Крещения: везде были развешаны светящиеся снеговые гирлянды, сверкающие опушки елок... Так зримо было его присутствие здесь! Да и сам он, казалось, вот-вот появится из лесной чащи: «Тепло ль тебе, девица? Тепло ль тебе, милая?» А я ему отвечу: «Тепло, дедушка! Тепло, сладенький!», сяду под куст на пакет, сожмусь калачиком да так и усну.

— Боря, а чего ты в Израиль собрался, раз Юрий Михайлович тебя в православной вере наставляет? — вдруг спросила я.

Он еле ковылял вслед за мной.

— У меня жена русская. Это она в Израиле жить хочет. А сам-то я не хочу...

— Боря, а ты обратись к Богу, чтобы Он тебе открылся. И попроси Его, чтобы Он указал тебе путь твой.

— Нет, — еле слышно пролепетал он. — Не подействует. Я — неверующий. Агностик. Юрий Михайлович Кублановский сказал мне: иди и смотри. А обращаться, просить — этого он мне не говорил. Я иду и смотрю.

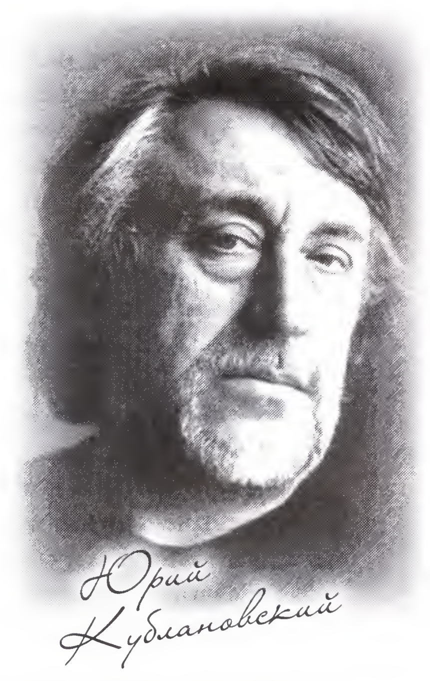
Но если он кое-как еще шел, то уж то, что не смотрел, — это точно. Он просто автоматически открывал невидящие глаза, беспомощно моргал ими. Казалось, сама Снежная Королева уже вставила в его зрачки слепые ледяные линзы.

— В этом лесу, я слышал, до сих пор волки не перевелись, — наконец сказал он. — Голодные...

— Давай я тебе тропарь Рождества прочитаю. Тебе хоть рассказывал Кублановский о Рожде-

стве? — неожиданно для себя самой съязвила я.

— Сам читал,— еле слышно откликнулся Боря.



Меж тем начало смеркаться, поднялся ветер, взвихрилась поземка, и, казалось, все вокруг стало выть — то ли вьюга, то ли и вправду — волк. Я уже не чувствовала своего тела — настолько оно промерзло, заиндевело, остекленело, и ноги казались ломкими и хрупкими: упадешь — и вся сломаешься.

Я вспомнила историю, как один московский человек всего-навсего повез на машине жену в аэропорт. Дело было зимним вечером, и он поехал в легких ботинках, потому что в машине хорошо работала печка. И вот проводил он жену и отправился в обратный путь. И вдруг на дороге у него закипел мотор. Он вылез из машины, взял из багажника бутыль для воды и отправился «на огоньки» — ему казалось, это был населенный пункт. А тем временем мороз, что называется, крепчал, а огоньки подманивали своей кажущейся близостью... В общем, пока ходил, пока стучал в двери, пока объяснял, пока возвращался и заливал воду, отморозил ногу. Да так, что необходима была ампутация. Эту историю рассказывал мне доктор Кротовский, который

и консультировал беднягу. Она являла собой пример, как порой из маленького облачка возникает смертоносная буря. Как из невинного эпизода вырастает трагедия. А у меня, между прочим, бывало, что от малейшего сквознячка бронхит начинался, воспаление легких... Мне стало страшно. Я начала было молиться...

Но, читая про себя тропарь Рожества, я сразу же запнулась на словах «свет разума», повторяя их несколько раз. И он, этот свет, стал как будто излучать тепло.

— Все! — сказал Боря. И сел на пакет.— Не могу больше.

— Давай разведем костер? — предложила я.— Может, нас тут кто-то заметит и подберет. Ну, эти — с трактором.

И я уселась на пакет рядом с ним.

— Долго еще идти? — спросила я.

Боря мотнул головой:

— А я знаю?

— Так ты что — никогда здесь не бывал?

— Нет.

— И мы все это время шли наугад?

— Мне сказали — от села через шоссе в лес.

Волки завыли громче. Стало совсем темно. Сейчас мы замерзнем, и Боря окажется у теплого моря, на Святой Земле. А я отправлюсь домой...

И тут, сквозь деревья, мне вдруг померещился словно бы какой-то огонек. Я закрыла глаза, открыла: он не пропадал, все горел и горел...

— Свет! — воскликнула я.— Там люди!

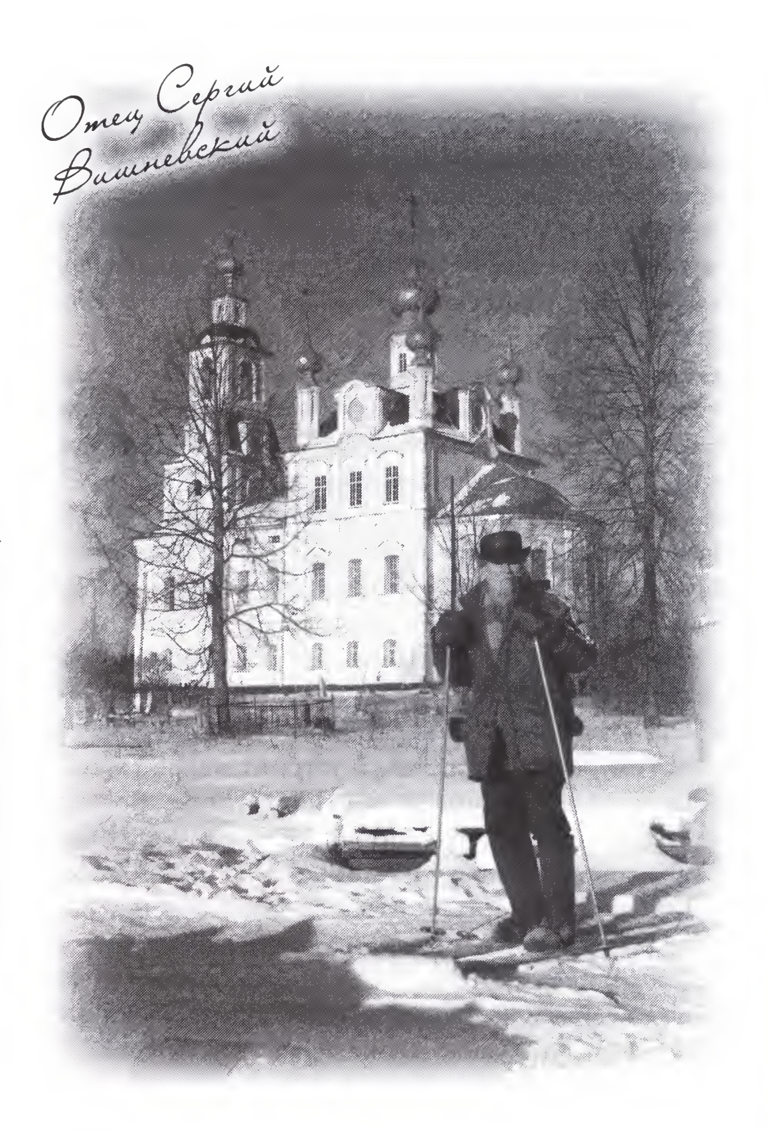
— Мираж,— безнадежно пролепетал мой спутник. Ему уже никуда не хотелось идти...

Тем не менее мы поволоклись туда.

Деревья расступились, и перед нами возник огромный храм. Сбоку от него жались друг к другу маленькие домики, в одном из которых горел огонь. Нам открыл дверь отец Сергий.

...Ну, во-первых, он был не один, а с доброй матушкой Александрой. Во-вторых, он вовсе не голодал и не погибал от холода, потому что Господь его напитал уже и без нас: все эти пшенки-гречки-макароны и растительные масла у него имелись с запасом, равно как и рисы с солью и спичками. В-третьих, у них с матушкой было тепло и празднично: шумела горящая печка, горела наряженная елка, пахло свежими пирогами. В-четвертых, мы с Борей доставили им немало хлопот. Нас тут же отправили на раскаленную печь отогреваться, потом стали отпаивать чаем с малиной, кормить пирогами, потчевать и лелеять. В-пятых, отец Сергий долго не мог понять, кто такой Боря, кем он мне приходится и чего это он вдруг к нему приехал. Он все рассказывал ему, какое он назавтра устроит в своем храме ночное богослужение в честь праздника Богоявления, и выражал готовность доверить Боре быть у него пономарем.

На следующее утро отец Сергий, укутав меня в какую-то тужурку, повел нас показывать окрестности – речку, из которой он собственноручно доставал ведрами воду, дерево, на котором много лет назад была найдена чудотворная икона Божией Матери, и сам храм – двухэтажный, зимний и летний, с двумя алтарями. Летний был совершенно разрушен и испоганен безбожниками, а нижний отец Сергий мало-помалу осваивал. При всей его неухоженности чувствовалось, что там веет Дух Святой, там совершается Божественная литургия.



Потом мы с матушкой почитали молитвы к причастию, каноны, а уже ближе к ночи отец Сергий отправился готовиться к службе, разочарованный, что и в этот великий праздник останется без пономаря,

поскольку Боря уже признался ему, что он пока что только «идет и смотрит», по совету Юрия Михайловича Кублановского.

Мне, помимо тужурки, отец Сергий благословил взять в храм еще и парочку одеял, поскольку морозец сделался весьма жгучий, настоящий наш крещенский мороз, и храм был весьма просторный, а железная печурка, которая что-то вокруг себя слабо обогревала, оказывалась весьма тесной. Так мы с матушкой и встали у этой печурки посреди храма в своих одеялах. Богослужение началось. И тут выяснилось, что мы с матушкой и за чтецов, и за певчих, а она еще и за алтарницу. К концу всенощной мы с ней изрядно осипли, а я так вовсю дрожала, как осиновый лист, несмотря на тужурку, печурку и одеяла. Отец Сергий, который вышел меня поисповедовать, заметил это и накинул на меня еще и свою зимнюю рясу.

– Ну а уж литургию, – сказал он, – пусть Ангелы нам пропоют.

И он просто включил в алтаре магнитофон с пением церковного хора.

Но Ангелы там тоже пели...

Когда отец Сергий меня причащал, у меня язык прилип от мороза к лжице...

Потом было освящение воды... Призывание Святого Духа. «Дух в виде голубине». «Приидите, приимите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явльшегося Христа».

Освятив воды, отец Сергий вынес нам с матушкой крест и велел идти в дом и лезть на печь, пока он будет убирать в алтаре.

Дома нас встретил пышущий теплом и заспанный Боря.

— Все проспал! — сказала я ему.

На следующее утро мы с ним отправились в обратный путь. Я рассказала отцу Сергию, каких страхов мы натерпелись среди ледяных пустынь и как близко подступило к нам отчаянье. Но он только махнул рукой:

— Сейчас вы очень быстро доберетесь до Рыбинска. Ни замерзнуть, ни устать, ни испугаться не успеете.

И он осенил меня широким крестным знамением.

— Ну а ты,— сказал он Боре,— приходи опять и смотри!

Было светло, солнечно, тихо и морозно. Снег переливался на солнце так, что на него больно было поднимать глаза. Почти налегке, с пирогами от отца Сергия, мы добрались до следов трактора, изрядно заметенных снегом, и пошли по ним...

Но только — как мы пошли! Ах, как мы пошли! Словно кто-то подхватил нас под мышки и мы, взлетая над землей, огромными, семимильными шагами стали легко и стремительно приближаться к шоссе. Даже агностик Боря признал, что происходит нечто чудесное..

— Боря, ты чувствуешь, что нас словно кто-то несет? Что мы — летим?

Он изумленно глядел вокруг.

— Сапоги-скороходы! — вспомнил он сказку.

И посмотрел большими детскими глазами. В них словно растаяли былые льдинки и теперь радостно плескались веселые золотые рыбки.

Только мы добрались до шоссе и выбрались из кювета, как возле нас остановился «Запорожец».

— Куда едем, молодые люди?

— А вы?

— В Рыбинск.

И вот мы едем в этом уютненьком тепленьком «Запорожце», никуда не спешим, а словно вкушаем окрестные виды — мощные еловые леса, могучие сосновые боры. И солнце! И все в первозданном снегу! В чистоте! В благорастворенных воздухах! Освященных водах! «Господня земля, и исполнение ея»!

...На следующий день я была уже в Москве.

— Ну что — подкормила нашего дорогого отца Сергия? Поддержала его? — спросил мой муж.

— Нет, — ответила я. — У него там все есть! Это он меня подкормил-поддержал. А я просто пришла и посмотрела.



Вернуть мужа



От моей подруги Аси ушел муж. И произошло это при весьма драматических жизненных обстоятельствах — незадолго до этого они с двумя детьми-подростками переехали в Москву, поскольку в их родном городе с началом перестройки началась безработица, да и их одаренным детям было бы лучше учиться в столичном вузе.

Снимали они квартирку в хрущобе на окраине Москвы, муж пытался открыть здесь какой-нибудь бизнес, но у него это плохо получалось, и вопрос стоял теперь только о том, чтобы хотя бы заработать на жизнь. А тут еще выяснилось, что у него появилась любовница. Нельзя сказать, что богатая, но — москвичка. С квартирой. С хорошей профессией и работой. Состоятельная. И главное — молодая!

Отчаянью моей подруги не было предела. Оно переполняло ее и, казалось, изливалось через край, грозя затопить собой все и всех вокруг, в первую очередь, конечно, тех, кто оказывался рядом. Я физически ощущала, что, пребывая возле нее, попадаю

в какое-то угнетающее тяжелое силовое поле. Надо было что-то делать...

— Мне кажется, тебе надо побороться! — говорила я.— Ну, представь, что ты — дева-воительница, идешь на битву с драконом, который заколдовал и взял в плен твоего... Ивана-дурака.

— Но как бороться? Как? — спрашивала она, вытирая слезу.— Мне хочется только одного — взять палку и несколько раз дать хорошенько по голове этой молодке! Мы ведь так хорошо жили, так любили друг друга, у нас такие прекрасные дети, и тут — она... Вертихвостка!

Итак, далее побиения соперницы фантазия Аси не шла — менялись только орудия: палки, камни, а то и просто кулаки.

— Плохой план. Никуда не годится,— категорически возражала я.— Во-первых, ты же и окажешься виноватой. Ты — сумасшедшая хулиганка, а она — жертва. А потом — если ты на нее нападешь, еще неизвестно, кто кого: она вон какая накачанная, небось в боулинге каждый вечер кегли сбивает, в фитнесе качается, бицепсы у нее, икры, силы, рост, да и возраст... А ну как она выхватит у тебя эту палку да еще и саму тебя отдубасит?

— Так как же тогда бороться-то? — испуганно всхлипывала Ася.— Я и так борюсь... благородством.

— Это хорошо. Но еще лучше — повоевать с ней на духовном поле. Помолиться Господу, Матери Божьей, святым, пожаловаться: так и так, помогите! Но и за нее надо помолиться — ведь она какой грех совершает!

— Нет,— решительно мотнула головой Ася.— Я, конечно, помолюсь и попрошу помощи Божьей, но за эту прелюбодейку я молиться никогда не стану!

Пусть ее Бог накажет! А ты сама знаешь ли какую-нибудь историю о том, как муж бросил жену с детьми ради разлучницы, а потом по молитвам жены Господь его обратно вернул?

— Да, конечно, знаю. Именно такую историю.

— Так расскажи!

— Были у меня одноклассники — Петя и Маша. Еще до школы ходили они в одну группу детского сада, и Маша, по ее признанию, уже тогда, сидя рядом с Петей на горшках, полюбила его и решила стать его женой. Но в школе ей как-то не очень удавалось привлечь его внимание, и никакого романа у них не было. А вот после выпускного вечера поехали они с бывшим классом к кому-то на дачу, там заночевали, и Маша, что называется, понесла во чреве, о чем вскоре и сообщила юному будущему отцу.

Петя был в отчаянье, но, как честный человек, обещал на ней жениться. Он родителям своим так и сказал:

— У меня будет ребенок. Как честный человек, я обязан жениться.

Родители его, честно говоря, были в ужасе. Семнадцатилетний Петя — музыкант, только-только поступил в консерваторию — куда ему жениться? И Машу, конечно, они тут же сильно невзлюбили. Но — что делать? Сыграли свадьбу, Маша родила, и... ребеночек их умер прямо там, в роддоме.

И вот все вернулось на круги своя: Петя живет с родителями, Маша — со своей бабушкой, у каждого своя жизнь. Разве что Маша иногда в гости к молодому мужу ходит и пироги печет.

Так проходит год, проходит другой. У Пети всякие друзья, подружки, своя компания: артисты, музыканты, не чета этой бедной Маше. А Маша все же

иногда захаживает. И печет пироги. И вот в какой-то момент родители уезжают в отпуск, Петя тоже должен отбыть на гастроли. А в доме — кот и множество растений. И просят они Машу как своего человека время от времени в их отсутствие приходить к ним кормить кота и поливать цветы. И Маша ходит. И в какой-то вечер она попадает на вернувшегося из поездки Петю, они вместе пьют чай, разговаривают о том о сем. Ну, в общем, она после этого снова понесла. А что? Между прочим, она — законная жена!

И рождает она через девять месяцев дочку, хотя они с Петей по-прежнему продолжают жить в разных местах. Теперь она приходит к нему в дом уже с дочкой, печет пироги и уходит к себе...

А тут Петя так влюбляется в свою однокурсницу, так влюбляется! Она — такая красавица! Тоже — музыкантша, скрипачка. И он просто светится от счастья. И музыкантша эта от него почти уже и не вылезает. А тут — на пороге Маша с дочкой. Да еще какой-то дурак ей посоветовал обрить дочку наголо — де, так волосы лучше растут. И дочка это ее — худенькая такая, бледненькая, жалкая, испуганная и к тому же лысая! И Петя их — выгнал! Сказал: больше без звонка не приходите.

Тут-то я их увидела, поскольку жили мы с Петей в одном подъезде. Стоят, птицы Божьи, одежонка старенькая, у обеих кожа да кости, в глазах слезы, губы дрожат. И повела их к себе. Посидели мы с Машей, поговорили, она мне все о себе рассказала, а я — о себе: вот, покрестилась недавно, детей покрестила... Маша и говорит:

— Помоги и нам покреститься! Мы тоже христиане.


Новокрещенные у храма Покрова Богородицы

Отвезла я их в храм, где служил отец Валериан Кречетов, и он их покрестил. И вот поразительно — была Маша до крещения что общипанная курочка, вся какая-то сутулая, неловкая, а из купели вышла — красавицей: в глазах небесный отсвет, чистота! Такого явного преображения человека я никогда больше не видела, хотя присутствовала при крещении многих людей.

И стала Маша со своей дочкой часто ко мне приходить... И вот как-то раз врывается она ко мне, лица на ней нет, рыдает. Что такое? Оказывается, встретила она у подъезда ту музыкантшу Петину — в руке скрипочка, глядит победительницей, вся в белом, дышит радостью, успехом, свободой, любовью. А Маша — жена какая-никакая, с ребенком малым,

тревожным, стоит перед ней в штопаных чулочках, в старой выцветшей юбчонке. А та ей:

— Если вы к нам, то мы уходим!

Маша только и сказала:

— Мы не к вам!

И у самых моих дверей разрыдалась.

И вот тогда стали мы с ней молиться. К Трифону-мученику ходили, плакали обе. К святителю Николаю. А уж у Матери Божьей пред несколькими Ее чудотворными иконами слезы проливали.

Прошло какое-то время. По всей видимости, скрипачка Пете дала отставку — я вдруг перестала ее встречать в нашем подъезде. Отца Пети увезли на скорой помощи. Мать свалилась с инсультом. Петя метался между больницей и домашней лежачей больной. И тут во дворе увидел Машу со своей дочкой...

Маша переселилась к Пете, чтобы ухаживать за его матерью. Выписали из больницы отца — осталась готовить им еду. А тут — приходит Пете повестка явиться в военкомат: Петю, музыканта, с его драгоценными пальцами, грозят забрать в армию!

Ну и что делать? Маша через девять месяцев благополучно родила ему второго ребенка. А с двумя детьми Пете никакой военкомат не страшен. И пока Петя в больничке скрывался от армии, Маша так прижилась в его доме, что вслед за вторым родила и третьего.

Они живут в браке уже лет тридцать пять. Дети выросли, и у них — свои дети. И теперь даже странно представить, что когда-то в этой семье был такой разброд, такое шатание...

— Да-а! — сказала Ася.— Теперь я понимаю, как мне надо бороться!

И она взяла у меня перечень тех чудотворных икон, через которые Маше пришла помощь Божья, и стала совершать молитвенные подвиги, умоляя вернуть ей мужа. Я верила, что Господь ей поможет.

Но тут она познакомилась с «интересным мужчиной», который ей понравился и который стал за ней ухаживать, и они даже провели у него ночь... А после этого разошлись с неприязнью. И муж так и не вернулся к ней.

— Видишь, — недавно сказала мне Ася, — Господь помог твоей Маше, послав ей испытание, в котором она смогла проявить себя как настоящая жена. Поэтому она победила. А я споткнулась на первом же искушении, поэтому и осталась одна. После этого я и не могла больше просить Бога: «Верни мне мужа!», раз я сама показала, что не очень-то он мне и нужен, что есть варианты, что может быть и кто-то другой!

Она именно так это поняла.

Зеница ока



Еще со времен советской власти в сознании наших граждан укоренилось странное предубеждение против священников. Я не раз слышала от весьма даже просвещенных людей, что у «попов» «под рясой погоны» и что они только спят и видят, как бы выдать компетентным органам тайну исповеди: этот-де исповедник маловерен, нарушает пост, молится с прохладцей, раздражается, ссорится с ближними, тщеславится, празднословит... А те – воспользуются такой полезной информацией и...

Были у меня такие случаи, когда я даже верующих людей, остро нуждавшихся в помощи священника, не могла убедить обратиться к тем пастырям добрым, которых хорошо знала.

Я помню, когда в середине 80-х в Киеве посадили за решетку моего бывшего сокурсника по Литинституту Павла Проценко и в Москву приехала его жена, чтобы похлопотать о его освобождении, я никак не могла уговорить ее пойти к священнику. Удивительно, ведь сам Павел был верующим уже тогда, когда я и крещена-то еще не была. И посадили его за то, что

он собирал материалы для канонизации новомучеников, пострадавших от кровавых гонений советских безбожников. И жена эта вроде бы была человеком церковным... Но на каждое мое предложение пойти к такому-то, вполне достойному доверия священнику или к такому-то, отсидевшему за веру в сталинских лагерях старцу она решительно мотала головой:

— Этот? Так он давно продался органам! А на этом и клейма негде ставить...

Странно, но куда больше надежд она возлагала на советских писателей и просила собрать подписи под коллективным письмом в защиту Павла. Это письмо подписали Евтушенко, Битов, Аверинцев, еще кто-то, и действительно его вскоре освободили.

Подобное отношение к иереям Божьим было и у только что вернувшейся из ссылки Зои Крахмальниковой. Она допытывалась у меня, к кому из священников она могла бы пойти за советом, и я назвала ей весьма многих, которые ежедневно молились на Божественной литургии за «плененную Зою» во время ее заключения, как это было, например, в Троице-Сергиевой лавре, когда диакон возглашал на солее ее имя.

Но кого бы я ни называла, все оказывались в ее глазах «агентами», «сексотами» и «гебистами». Отвергнув кандидатуру святого человека, старца, архимандрита Кирилла Павлова («Олеся, он же духовник Лавры, неужели вы думаете, это просто так?»), она остановила свой выбор на отце Иоанне Крестьянкине («Сидел? Хорошо. Служит в провинции? Хорошо») и написала ему письмо с просьбой приехать к нему на разговор.

Я отвезла это письмо о. Иоанну, и ему не надо было объяснять, кто такая Зоя Крахмальникова.

— Зоинька! Зоинька мне письмо написала, ну я тоже ей напишу! А вот ей еще и святыньки, и гостинчики!

И он стал кружить по своей келье, подбирая посылочку «для любимой Зоиньки». Набрал целый пакет иконочек, книжечек, духовных наставлений святых отцов, бутылочек со святым маслицем и святой водичкой, свечечек, написал ей письмецо «с благословениями». С тем я и уехала.

Но «Зоинька», когда я передала ей эти подарки, была разочарована. Оказывается, отец Иоанн не советовал ей приезжать к нему в Печоры. Почему? Бог весть. Видимо, у него были на то какие-то духовные резоны.

Но Зоя Александровна поняла это однозначно: старец просто боится ее принимать... Да, это было ее очередное, если не последнее, разочарование в «церковниках»! Ведь до этого она уже разочаровалась в самом владыке Антонии, митрополите Сурожском.

Мы с моим мужем были ошеломлены этим признанием, ведь мы очень любили и почитали владыку.

— Но чем же он вас так разочаровал?

Оказалось, что родные и близкие Зои Александровны попросили его написать письмо протеста против ее ареста, а он сказал, что письма такого он писать не будет, но что он будет молиться за нее у Престола. И именно это и послужило поводом к разочарованию в нем как в пастыре, как в архиерее! Зоя Александровна сочла, что он «испугался» и потому предложил ей меньшее вместо большего.

Зная о силе молитвы владыки, мы с мужем не могли удержаться от того, чтобы не воскликнуть наперебой:

— «Кесарю — кесарево, а Богу богово»! Так, может, и перестройка-то началась, чтобы вас выпустили, Зоя Александровна! По молитвам владыки!

Но — увы! — она не понимала наших доводов. Весь парадокс — и это ее беда — был в том, что, действительно пострадав за Слово Божие, которое она распространяла в безбожной стране, с риском для жизни выпуская подпольный журнал «Надежда», она при этом так и не успела стать церковным человеком. Пройдя мученический и исповеднический путь, она была, в лучшем случае, «новоначальной». До своего ареста она, по всей видимости, не успела вкусить та́инственной жизни Церкви, ощутить ее именно как мистическое Тело Христово. А после своего освобождения на пути к этому встали эти советско-диссидентские предрассудки: «у всех-де попов под рясой погоны».

Только этим я пробую объяснить ее дальнейшую судьбу, когда она, поначалу гневно обличая Церковь со страниц либеральных газет, а затем и вовсе отвернувшись от нее, ушла в секту.

Булат Шалвовович Окуджава так даже боялся ее, когда она принималась его агрессивно обличать и поучать. Он даже показывал мне, как он, тщедушный, при этом вжимался в кресло, а она стояла перед ним, размахивая руками и обличая, как разъяренная фурия. И, между прочим, когда мы с ним говорили о православии и о Церкви, он, нервно морщась и упоминая Крахмальникову, говорил о церковной агрессивности, напористости, «стилистической советскости», в отличие, например, от изысканности и интеллектуальной тонкости монахинь-эмигранток и аристократок — тут он вспоминал свое посещение монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины, принадлежавшего Зарубежной



(несоветской) Церкви. Я даже предлагала ему, раз так, покреститься в Зарубежной Церкви…

Короче говоря, мнение «внешней» публики о священниках порой очень нелестно и уничижительно.

Но я, будучи лично знакомой с несколькими десятками священников — и московских, и провинциальных, и монастырских, и городских, и сельских, хочу сказать, что это очень несправедливо.

Да, и у меня были такие примеры, когда поведение иерея Божьего оказывалось недостойным его сана. Но либо это были отдельные случаи — «срывы», не характерные даже для этого человека, либо сама Церковь исторгала его из своего лона.

А кроме того — одно дело священник как грешный человек («кто без греха, пусть первый бросит в него камень»), а другое дело — священник как тайносовершитель. И бывало, что и человек вроде бы, по своему, примитивный, плоский, но вот надевает он епитрахиль и поручи, выходит, скажем, на исповедь совершать Таинство и преображается, становясь тайнозрителем и духовидцем. Сила Божья осеняет его, пророчества льются из его уст...

К сожалению, не обо всех таких, лично известных мне откровениях можно здесь рассказать. Но вот только два случая...

Поехала я как-то раз к моему духовнику в Печоры. Я знала, что он должен был исповедовать на ранней литургии возле мощей святого мученика Корнилия. Я пришла загодя и оказалась у аналоя первой. Исповедь еще не началась. И вдруг, к моему вящему недоумению, прямо к этому аналою выходит, держа в руках крест и Евангелие, совсем другой священник и начинает читать молитвы к исповеди. А моего духовника нет как нет. А я собираюсь причаститься. И стою я, повторяю, первая около священника, с которым я хорошо знакома и у которого исповедоваться мне совсем не хочется. Но повернуться и уйти тоже как-то нехорошо, ибо получится

слишком демонстративно. И я продолжаю стоять в великом сомнении и колебании.

С одной стороны, этот священник иногда вел со мной литературные разговоры да и сам пописывал стихи. И этим он меня раздражал и даже искушал своей безнадежной литературной глухотой и, прости Господи, унылой бездарностью. Ну и что он может сказать на исповеди? Какой дать духовный совет? А с другой стороны, думала я, он же все-таки священник и будет разрешать меня от грехов со словами «силой Его, Мне данной»...

В общем, решила я смириться и ему поисповедоваться.

Подходит он ко мне после службы и вдруг начинает мне говорить... о вранье. Да! С одной стороны, и говорит он о нем как-то «теоретически», а с другой — это тот грех, который как бы и не очень меня терзал...

Если и вру, то по-мелкому, бескорыстно и не принципиально, а так — чтобы кому-то что-то долго не объяснять и не морочить голову... Ну и еще, как я считала, это не самый мой большой грех. Но он прочитал мне целую проповедь. Воодушевляясь и повинуясь внутреннему прозрению, он дал такое объяснение этому греху, что буквально перевернул мое представление о себе и о мире.

— Ужас этого греха состоит в том, что он обесценивает слово. Слово перестает что-либо значить, теряет свою бытийственность и делается пустым. Кроме того, по закону психологической проекции, человек, который врет сам, перестает верить словам других людей. Перестает верить вообще. Не веря слову, он не верит и Слову. Читает Евангелие и не верит Христу. И это самое страшное. Потому что

«и бесы веруют, и трепещут», а лжец наказуется пустотой. Вокруг него — сплошные обманки, за которыми ничего нет. Он при жизни оказывается в аду.

Это многое мне объяснило о современном мире, который весь живет мнимостями, кажимостями, притворством, лицемерием, самозванством, меняет маски, ладит обманки, пытается мимикрировать, выдает qui pro quo и от собственного вранья носит в себе свое наказание: не верит ни себе, ни другим, ни Слову Божьему.

А стихи этого священника, который на всю жизнь поразил меня своим наставлением, так и остались... ужасными. Он буквально на следующий день, встретив меня в монастыре, протянул мне большую клеенчатую тетрадь:

— Вот, почитайте на досуге!

Там каждое стихотворение было к тому же художественно оформлено: на соседней странице возле него была приклеена открытка советских времен с изображением определенного времени года. Так, если стихотворение было об осени, то на открытке была «золотая осень», а если о весне, то на открытке таяли снега и сидели грачи...

А вот и еще случай, который явно свидетельствует о том, что священника во время Таинства наставляет Господь.

У меня была сокурсница по институту, которая совсем в молодом возрасте, только-только родив ребенка, заболела ужасной болезнью: у нее был рак мозга. Ее уложили в клинику Бурденко, обрили наголо и сделали трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль. После операции ее перекосило и рот оказался где-то около уха. Муж ушел к другой, и она осталась одна-одинешенька с крошечной дочкой на руках.

Женщина она была уникальная, потому что не только не отчаялась, но, напротив, стала уверять всех, кто ей пытался сочувствовать и помогать, что у нее «все лучше всех»: она сидит с дочкой дома, шьет знакомым за небольшие деньги платья-юбки-блузки, у нее — идеальная чистота, домашние пирожки, рот возвращается на свое место, она уже понемногу выходит из дома, ну и так далее...

Честно говоря, я думала, что она — святая: такого ласкового терпения, доброты, щедрости, отзывчивости, а главное — благодарности Богу за все, что посылает судьба, я не встречала нигде, кроме как в житиях. Единственное, чего ей не хватало, — она была некрещеной. Но и это было исправлено. В один прекрасный день мы с моим мужем отвезли ее с дочкой к отцу Валериану Кречетову в село Отрадное, где он и совершил над ними Таинство крещения.

После этого, однако, беды ее не закончились — снова в мозгу появилась опухоль, ее опять прооперировали, но у нее по-прежнему все было «лучше всех»: дочка такая умненькая, красивая, растет, как цвет полевой, друзья прекрасные, заказы на платья с юбками умножаются. Плохо было только то, что она с момента крещения не причащалась. Я несколько раз заговаривала с ней об этом, предлагая привезти священника, но она отказывалась.

— Нет, Лесечка, я не готова. И потом — что он мне может сказать? Надо ему много чего объяснять... Нет, нет, я не хочу.

Прошло, наверное, лет десять. За это время ей опять делали трепанацию, но она снова с ясностью во взоре и твердостью в душе восставала — не гнулась и не ломалась, как это произошло бы, может, со всем и каждым.

Наконец то ли я все-таки ее убедила поисповедоваться и причаститься, то ли она сама созрела для этого. А более всего вероятно, что это Господь ее вразумил. Она даже захотела сама приехать в храм и побыть на службе — я должна была только ее привезти и увезти. А кроме того, она попросила меня выбрать для нее какого-нибудь хорошего священника, чтобы он помог ей открыть какие-то новые источники жизни. Я должна была предварительно прийти к нему и рассказать о ее жизни, о ее ситуациях, чтобы он, когда она будет ему исповедоваться, понимал контекст.

Я так и сделала. Пришла в нашу церковь Знамения Божией Матери, попросила прекрасного и рассудительного священника отца Владимира поисповедовать за всю жизнь такую-то рабу Божью, живущую в таких-то обстоятельствах, учитывая, что она исповедуется впервые.

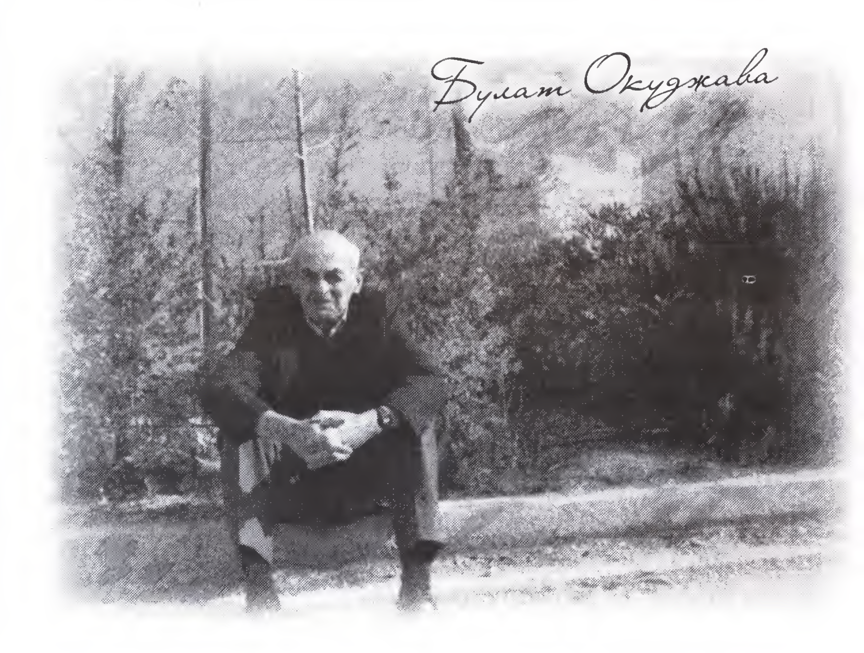
Отец Владимир посмотрел в свое расписание и назначил день.

Я рассказала ей, что договорилась с замечательным, мудрым священником, который вникнет в ее жизнь и поможет ей...

— А ты все ему обо мне рассказала? Ты предупредила его? — волновалась она.

За несколько дней она принялась готовиться, говела, читала правила к причастию. С утра пораньше я заехала за ней, и мы отправились в храм. Встали у аналоя, ожидая. И вдруг...

Выходит совсем другой. Нет, он тоже хороший. Простой такой, что называется, «деревенский поп»: глазки маленькие, нос смешной картошкой, пузо толстое. Дикция ужасная — половина молитв непонятна. Косноязычный — как проповедь начнет говорить, то обязательно в такие забредет



синтаксические дебри, что хоть записывай за ним! Но — милостивый, чистый человек. Такое душевное тепло от него исходит, что наши писательские дамы из близлежащего писательского дома — и какие дамы: жена Булата Окуджавы, жена Олега Васильевича Волкова (автора знаменитого романа «Погружение во тьму») только к нему, простецу, на исповедь и ходили, несмотря на то что в ту пору были в храме священники и куда более интеллигентные, и благообразные, и образованные, с блестящей речью, с манерами...

Итак, выходит отец этот и начинает бубнить, глотая слоги, молитвы к исповеди.

— Ты точно все ему про меня рассказала? — спросила еще раз моя подруга.

— Точно-точно, — отмахнулась я, судорожно соображая, что же делать: то ли идти искать отца

Владимира, то ли признаться ей, что это — ДРУГОЙ, и убедить ее все же идти к нему, ведь — мало ли — может, мы в следующий раз не скоро сюда доберемся: жила она все-таки на противоположном конце Москвы, то ли ничего ей не говорить, и будь что будет.

Вдруг отец этот, закончив читать молитвы, против обыкновения, стал говорить проповедь. Я слушала его вполуха, поскольку изнутри меня распирало страшное беспокойство за новоиспеченную исповедницу — до меня долетало что-то такое невразумительно-гугнивое этого доброго милого батюшки-простеца. Но вот он закончил, и моя подруга шагнула к аналою. Я отошла, чтобы ее не смущать, опасаясь, что сейчас она раскроет мой обман: ведь этому священнику ничего было о ней неизвестно.

Наконец она вернулась ко мне, потрясенная...

— Ты слышала, что он говорил на проповеди? Ведь он лично ко мне обращался! Словно он знал заранее все мои вопросы, с которыми я к нему пришла. Это ты ему рассказала, да? Но он еще говорил мне такие вещи, о которых ты не знаешь, это он прозрел, да? Это он духом понял?

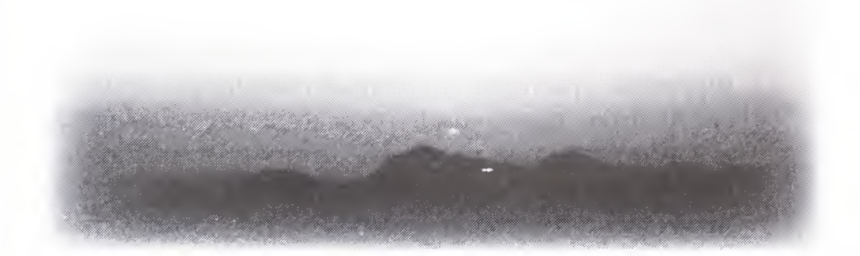
— Конечно,— с облегчением вздохнула я.— Конечно, духом!

Пока мы ехали домой, ликующая моя причастница не могла затворить свои уста от избытка сердца.

— Он просто прозорливый, твой священник! Он кто? Старец? Чудотворец? Как он все, все, до самого донышка разглядел во мне!

...Вот такие чудеса случаются со священниками нашей Церкви. Недаром Господь говорит им: «Касающиеся вас, касаются зеницы Моего ока».

Экстремал



Вообще я очень монахолюбива. Даже эстетически мне очень по сердцу и монашеский облик, и образ жизни, и притчевое мышление, и стиль речи, постоянно отсылающей к первоисточникам — к Священному Писанию и святым отцам и в то же время живой — с метафорами, оксюморонами, то с элементами юродства, то с метафизическим подтекстом.

А уж в монашеском обществе, в которое меня порой допускали, я и совсем расцветала душой. Но и монахи иногда дарили мне свое доверие и рассказывали удивительные истории из своей жизни, в которых, конечно же, действующим Лицом был Промысл Божий.

Вот, например, как Господь привел к монашеству Лешу по прозвищу Майонез, который впоследствии стал смиренным иеромонахом Флавием.

Лешу звали «Майонезом» по очень простой причине: у него была своя маленькая фирма по производству майонеза. И конторой, и цехом служила его собственная двухкомнатная квартирка, где он этот

майонез и делал с единственным наемным рабочим, который приходился ему родным племянником. Сам Леша – владелец фирмы – закупал все нужное, в том числе и тару, а потом развозил готовый продукт по торговым точкам. Было это все в начале девяностых.

И вот один раз едет он по шоссе в своем затоваренном «каблучке», который возьми да сломайся. А мороз был лютый – градусов под тридцать, и то, что каблучок вообще в тот день завелся, само по себе было и сюрпризом, и тайной. Стоит Леша на морозе, капот открыт, зуб на зуб не попадает, голосует ежась, никто не останавливается – кому охота, а он чувствует – еще чуть-чуть, и он замерзнет на оживленной трассе, как ямщик в степи.

А надо сказать, что Леша вообще-то был экстремал по натуре, то есть все время пускался в походы не ниже четвертой степени сложности – то на Эльбрус да на пик Коммунизма взбирался, то на катамаране с такими же, как он, экстремалами по горным рекам сплавлялся, то с парашютом прыгал. Ну и стал он, задубев на этом морозе, подумывать в том направлении, что, дескать, вот он и получил нежданно-негаданно свой сверхурочный экстрим. Сейчас, как генерал Карбышев, заледенеет и останется памятником на шоссе. Похихикал он внутренне – для поднятия духа, а на душе уже тошно как-то. Ног не чувствует, руки, уши ломит, в глазах песок. Ах, подумал, чем так без толку на ветру стоять, залезу-ка в кабину, свернусь калачиком и посплю, а там как Бог даст. Ну а помру – значит, судьба.

И в этот самый миг, как только он про Бога вспомнил, останавливается возле него красный «Жигуль», из него выходит священник, лицом ангел, и прямо

к нему. Забрал его к себе в машину, включил на полную мощность печку, отвез к себе в Троице-Сергиеву лавру, уложил в лазарет, отпоил чаем с малиной. Там Лешу всего спиртом растерли, а машину его кто-то из лаврских механиков отбуксировал в гараж.

Так вот, пока то да се, пока Леша там этот чай пил с малиной, коньячком целебным лечился, он, монах этот спасительный, привел его в чувство. И в конце концов Леша попросил его покрестить.

С тех пор он все к отцу этому духовному в монастырь ездил — и на исповедь, и за духовным советом. А потом как-то жизнь его закрутила-замотала, проверки к нему в майонезную квартиру с санэпидемстанции нагрянули, стали взятку вымогать, рэкетиры наехали, то да се. Пока он вновь свой бизнес налаживал, кредит в банке брал-отдавал, расширялся, он совсем от Церкви отошел — только на Пасху да на Рождество приходил. Потому что как у него свободное время — он в горы, или на байдарке по Белому морю, или на катамаране по алтайским горным рекам. Даже на Килиманджаро ухитрился слазить.

А потом — чувствует — стал ему Бог противиться. Прыгнул он с парашютом — ногу сломал в двух местах, открытый перелом. Только нога зажила — решил он еще разок на пик Коммунизма взобраться. А на последней горной стоянке перед подъемом лошадь ему копытом на руку наступила и раздробила несколько пальцев. Но там были медики — они ему пальцы тут же и привязали к дощечкам, забинтовали. Казалось бы: Леша Майонез, отправляйся-ка ты домой! Но он уперся: дескать, а я все равно вершину эту и с перебитыми пальцами покорю!

Снаряжение у него как надо, на ногах — кошки, на спине — рюкзак с провиантом, выступил он поутру

с соратниками, и пошли они горным карманом наверх. Идут-идут, лезут-лезут — сутки прочь, карабкаются — вторые на исходе, дело к ночи, вдруг — виденье что ли какое: девушка мимо них по камушкам скачет в красных шортах. Ну, Леша и прибавил шагу за ней, а она — скок-скок-поскок и скрылась. Он смотрит, а на большом валуне — незабудки, букетик. Что за притча такая? Подивился.

Наконец остановились они на ночлег — вдруг парень к ним в палатку лезет: джинсы на нем, курточка легкая болонья и пластмассовые кроссовки:

— Ребята, мы там в расселине запасы провианта нашли — не ваши? А то у нас все кончилось.

Кто такие? И тут эта девушка — одета тоже не по погоде и обстоятельствам, а так, словно она на пикничок за город выбралась. Леша с товарищами — люди крутого замеса, суровой складки, бывалые экстремалы — как-то даже оскорбились. Говорят им:

— Что это вы вот так, без провизии, в пластмассовой обувке?

А они:

— А нам что, мы хотели только на пике Коммунизма ребенка зачать, а там через перевал и вниз — в Краснодарском крае, прямо за перевалом, мы машину бросили.

Такое презрение к сложностям Лешу как-то даже оскорбило. Все-таки места эти опасные, нечего всякому легкомысленному пешеходу соваться. До сих пор ходит легенда о семнадцатилетней девушке, которая погибла во время схода лавин...

А прямо над лежбищем наших экстремалов возвышался огромный ледник, и если приглядеться, там что-то черненькое было вморожено, а если



еще попристальнее посмотреть – можно было уже и с определенностью разглядеть, что это человеческая – женская, даже девичья нога. И очень даже может быть, что это нога именно той самой пропавшей в лавине семнадцатилетней девушки...

Но этим, легкомысленным, не суждено было никого зачать, потому что ночью начался камнепад, и тогда все побежали к расселине у ледника и там залегли. Ну – кому-то рикошетом по башке долбануло, кому-то руку покорежило, но все обошлось. Через сутки подобрал их спасательный вертолет и они благополучно приземлились около той роковой лошади, которая раздробила Леше пальцы.

А вот немцам-туристам повезло куда меньше. Эти немцы-туристы ведь тоже тогда, одновременно с отечественными экстремалами, лазали на пик Победы, так все под снежной лавиной остались.

После этого отправился Леша к духовному отцу в Лавру.

— Ох,— сказал тот,— слава Богу, что обошлось, но вот как ты думаешь, для чего тебя, Леша Майонез, Господь спас? Он тебя спас — для Себя. Не насладился Он еще тобой, не нарадовался тебе. Давай-ка, начинай новую жизнь, причастись здесь у нас, а потом потихоньку и перебирайся сюда. Семьи у тебя нет, а майонез — он и в монастыре нужен.

Леша согласился. Денька три там прожил, а потом уехал, пообещав вернуться через месяц-другой: дела, мол, закончит и будет весь — монастырский, Божий. А сам — пропал на семь месяцев. И в храм не ходил, и дела не закончил, а на лето уехал на Плещеево озеро — там его товарищ себе фазенду обустроил и купил парусник. Леша ему поначалу говорил:

— Не могу я к тебе, брат, я в монастырь обещал!

А он ему:

— Какой еще монастырь? Там, знаешь, какой храм на самом этом Плещееве озере? Ого-го! Что там твой монастырь! Там такие святые места! Ходи на богомолье хоть каждый день, а между богослужениями мы с тобой будем под парусом плавать.

И что? Поехал Леша Майонез, конечно, к нему, а духовному отцу даже весточки не послал. Ну, думает,— действительно, буду на богослуженья ходить, причащаться — чего ж еще?

Но вот подходит воскресенье, а приятель Леше — смотри, какую мне вчера снасть принесли, попробуем с утра? Тот и думает — вот схожу с утра в храм, а там и порыбачим.

А приятель ему наутро:

— Да куда ты пойдешь: храм этот — не ближний свет, часа два ходу по берегу, а сейчас уже времени — охо-хо, вовсю твоя служба идет, раньше надо

просыпаться, как раз после окончания службы и приплетешься. Ладно уж, давай в храм в следующий раз, а сейчас – садимся на парусник и созерцаем красоту Творца через Его творенье.

Так и сделали. Подняли парус, бриз такой приятный веет, солнышко блещет, леса вокруг диковинные плывут себе мимо, благодать. И тут вдруг небо потемнело, лес задрожал, пошла волна, подул ветер, стал срывать парус. Приятели его приспустили. Пока возились, откуда ни возьмись налетел страшный смерч, схватил парусник, со страшной силой поднял его в воздух метров на тридцать да как грохнет об озеро.

Товарищ Лешин сразу неизвестно куда пропал, а его самого смерч не пожелал отпустить. Напротив, – схватил как-то поперек туловища, обмотал вокруг веревку от паруса и, отодрав от корабля, понес над водой, потащил по земле, цепляя ветки, кусты, и нес, и нес, пока не кинул прямо возле большого деревянного Креста неподалеку от храма.



А на Кресте том – дощечка с надписью, что он был воздвигнут на этом месте Петром Великим в честь его чудесного избавления от бури на Плещеевом озере, по которому он безмятежно плавал на своем ботике. Петр-то спасся, а Леша – весь

переломанный, перебитый, перекрученный, с разорванными внутренними органами валялся, завернутый, как в саван, в парус у подножия Креста...

Полгода его реанимировали, зашивали, забивали в него штыри, учили есть, говорить, ходить, и в конце концов он подал о себе весточку духовному отцу. Тот приехал к Леше в Боткинскую, и он рассказал, как смерч его властно притащил к храму и кинул на крест. Потому что он, лежа на больничной койке, больше ни о чем и не думал в эти полгода, как только об этом. Понял он, что числился у Господа на счету среди самых тупых, и потому только таким вот простым и грубым — однозначным — образом Он и мог его вразумить.

– Постригите меня! Хочу быть монахом. На смертном одре.

Но священномонах сказал:

– Леша, дружище! Какой там смертный одр! Бог тебя для жизни спас, а не для смерти. А если ты так уж любишь экстрим, тебе, действительно, самое место в монастыре — там так все круто, такие подъемы, спуски, паденья, взлеты, ущелья, смерчи, камнепады, лавины, сумеречные виденья девушки в красных шортах, васильков на скале и вмороженной в ледник детской ножки! Там такие ситуации враг рода человеческого монахам устраивает, что какой там парусник, пик Коммунизма или парашют!

Так, со смехом, обнял духовный отец Лешу, причастил, благословил, подарил четки. А через два месяца он уже жил в монастыре и благословлял Бога.

Эксперимент



А вот какая история произошла с кандидатом биологии, ныне иеромонахом Иаковом, грузином.

Родился он в Тбилиси, а учился в Москве, в Университете. Там и диссертацию защищал. В детстве его, конечно, как и всякого грузина, крестили, и Пасху он праздновал радостно и широко, но в храм не ходил, а к Богу относился хоть и уважительно, но отстраненно. Он же по профессии естественник, биолог. А в этой среде культ науки, разума, эксперимента.

Ну и как-то сказал он своему другу, тоже естественнику, когда у них зашла речь о Боге:

– Мы же с тобой одного замеса – чему доверяем? Опыту. Вот если кто-то поставит такой эксперимент, из которого бы следовал вывод о существовании Творца и Промыслителя, я не то что уверую – я в монахи уйду.

Стал этот друг его стыдить – мол, все доказательства бытия Божьего соразмерны лишь мелкому и ограниченному человеческому разуму,



поэтому — что ж Бога так унижать какими-то доказательствами?

А наш грузин ему:

— Все равно, я верую в естественные законы природы и, пока чуда сверхъестественного не увижу, не поверю. И точка.

Года два прошло — не меньше. Летит наш герой на международную конференцию в Тбилиси. Дело было зимой, темнеет рано, а тут вдруг в самолете вырубился свет. И все в кромешной тьме — слышно только, как самолет хрипит-надрывается. А рядом с нашим героем шутник какой-то сидит, анекдоты травит.

Один анекдот был такой: «Плывет корабль, полный всякого люда — и члены правительства, и богачи, и артисты, и футболисты, и инженеры — каждой твари по паре. И вдруг налетает буря, и корабль идет ко дну. И вот все они предстают пред Всевышним

и дружно к нему вопиют: “Как же так, вон как нас было много – и утонули все без разбора!” А Он им отвечает: “Как это – без разбора? Знаете, сколько времени Я именно вас на этом корабле собирал?”»

И тут вдруг что-то крякнуло, раздался страшный хруст, словно самолет начал разламываться на куски, все завопили, и это последнее, что запомнил наш естественник-маловер: у него все внутри словно оборвалось...

Очнулся он в самолетном кресле в глубоком снегу. Вокруг горы. Кавказ в вышине. Первый вопрос был: а где же сам самолет? Какой-то страшный сон. Все тело болит. Он попробовал встать – никак. Потом с трудом понял, что это ремень его держит. Он его отстегнул и хотел было подняться, как вдруг увидел вот что: оказалось, что сидит он в этом кресле на уступе скалы – площадка всего три на три – и идти ему, собственно, некуда.

Во внутреннем кармане пиджака он обнаружил свой доклад, который начал было просматривать в самолете, пока там не погас свет. Достал зажигалку и стал поджигать листы в надежде на то, что вдруг этот огонь заметит какой-нибудь шальной вертолет и его спасет... Но бумага сгорала мгновенно, руки так окоченели, что не чувствовали ожогов. Хорошо еще, что в самолете было холодно и он вовремя достал из портфеля плед, который ему дала с собой в дорогу его грузинская бабушка, и завернулся в него. Так теперь в нем и сидел. А она на этот случай и дала: генацвале, в полете на высоте – вечная мерзлота, а ты в плед закутаешься, подремлешь – как хорошо!

Так жег он, жег свой доклад по листочку и даже не задумывался – что дальше-то делать? И тут

только его осенило, что самолет-то его — упал! Упал... С двадцатитысячной высоты! Упал и разбился вдребезги — ни следа от него. Все погибли. А он — жив. Сидит вот в кресле на горном утесе, закутанный в бабушкин плед, и зажигалкой делает: щелк-щелк.

А следующая мысль: но так ведь не бывает! Так просто не может быть, по естественным законам. А если не может быть, то, скорее всего, он тоже разбился вместе со всеми, а это уже после смерти он так сидит, одинокий, в этом странном невероятном месте, в этих пустынных снегах, куда не ступала еще со дня сотворения мира нога человеческая?! Уж не в аду ли он? Да, даже так подумал.

И тут он понял: и в этом случае, и в том — то есть абсолютно в любом — все это противно природе, вопреки всей биологической науке. И если он разбился насмерть и при этом уже опять живой, и если самолет погиб, а он выжил,— это значит только то, что Бог есть... А если он выжил, то это Бог его спас. А если Бог его спас, то не просто так, а для чего-то. А если для чего-то, то его непременно сейчас найдут, пока он еще окончательно не замерз. А если его найдут, то он сразу же уйдет в монахи и будет служить исключительно Богу, как обещал.

И тут он закричал со своего уступа: «Господи, спаси меня еще раз! Я знаю, что Ты есть! Спаси меня, чтобы я мог Тебе послужить!»

Так он сидел и кричал и, наконец, поджег последний лист, потом вытащил из-под себя плед, хотел поджечь и его, пытался даже, но тут же понял, что гореть он не будет, а будет лишь медленно тлеть. И вдруг из-за скалы показался вертолет, и он



принялся этим пледом махать что было сил. Он махал и кричал: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!», пока его не заметили. Вот так.

А потом он приехал в далекий монастырь и стал иеромонахом Иаковом. Каждый день он возносит сугубую молитву за тех, кто погиб тогда в самолете, — особенно же за шутника, рассказавшего свой последний анекдот. При некотором его цинизме именно в той трагической ситуации, в спокойные времена он вполне может быть прочитан как притча.



Баш на баш

Совсем иным был путь к монашеству нынешнего архимандрита Гедеона.

Был он из семьи партийцев, да и сам пошел по комсомольской линии и довольно успешно стал карабкаться по номенклатурной лестнице – вверх, вверх и еще раз вверх. Годам к тридцати был он уже большим начальником, инструктором в большом областном центре. И все при нем – и положительная внешность, и спортивные успехи, и общественная активность. Идеологическая чистота и партийная его репутация были настолько безукоризненны, что он успел уже по комсомольско-молодежным делам объездить всю, даже и капиталистическую, Европу и с блеском поступил в Высшую партийную школу в самой Москве.

И вот когда ему надо было уже отправляться из своего областного центра на учебу в Москву, под утро явилось ему странное видение. Будто лежит он у себя в кровати, а к нему подходит Сама Матерь Божия и говорит:

– Путь твой лежит – в монашество. И поэтому завтра поезжай не в Москву, а к местному

владыке и проси его тебя покрестить и постричь в монахи.

Как-то так сказала ему Матерь Божия в тонком сне и исчезла.

Он так и сел и до самого раннего утра дивился этим неслыханным доселе словесам. Почему сразу — в монахи? Можно ведь и так потихоньку в храм заглядывать, попа попросить покрестить на дому. Можно ж — тайком! Он про такие случаи среди обкомовцев знал... Можно ж — тайным христианином быть. Говоришь что-нибудь про коммунизм, а сам пальцы — указательный и средний крестиком сложишь, и, мол, в обратном смысле это все! Аллилуйя!

А с другой стороны — это ж не просто так: это ж Сама Матерь Божия ему сказала!

Вскочил он с кровати, натянул рубашку, брюки и ринулся к местному архиерею в резиденцию.

Стучит в ворота, стучит, наконец вышел заспанный послушник, увидел его, узнал в нем ответственного работника, глаза выпучил.

А тот все стучит:

— Пусти меня к владыке! — кричит. Взволнованный, красный.

А послушник спросонья решил, что тот вот так — без предупрежденья — рвется к владыке в неурочный час, чтобы его... арестовать, и не только не отпер дверь, но и сам на нее изнутри налег:

— Владыка, — кричит. — Бегите! Тут вас арестовывать приехали!

Спустился к ним владыка, велел дверь отворить. Уединились они с ответственным работником, и наконец архиерей ему и говорит:

— Сам я тебя крестить не буду — человек ты заметный в городе, скандала не оберешься. Но есть у меня

один тихий приход, где служат монахи — практически это монастырек, скит. Мы тебя отвезем туда, окрестим, а там ты сам решишь, что тебе делать.

Так и произошло. Провел он целый день в архиерейских покоях, скрываясь в келье. А под покровом ночи владыка отвез его в этот скит и передал с рук на руки двум священномонахам. Они его и покрестили, да так он там и остался.

Но только его в тот же день, когда он у владыки прятался, хватились: куда пропал наш ответственный работник? И из города исчез, и в Москву не прибыл. С ног сбились, разыскивая его. Потом прошел какой-то темный слух, что монахи его выкрали и держат в архиерейском подвале. Так ведь милиция приходила к владыке его искать!

А тот уже вовсю в черном подряснике средь лесов на клиросе «Святый Боже» читает, четки тянет, поклоны кладет... Там его и постригли с именем Гедеон. И тогда уже он сам решил легализоваться и объявился властям. Ну и путем взаимных уступок они и договорились, что партийцы оставят его в покое и закроют глаза на его славное партийное прошлое, а он обещал предать забвению все, что ему было известно о жизни номенклатуры. Потому что он очень уж много знал такого, чего человеку вне «системы» знать не положено. Вот так: баш на баш получилось.

Я с ним познакомилась, когда приехала в тот монастырек, где его сначала спрятали, а потом и постригли. Поздно вечером мы вышли с моим мужем подышать свежим воздухом, и вдруг мимо нас спортивной трусцой пробежали две фигуры в подрясниках. Послушники, подумали мы, поспешили по монастырским нуждам — один спортивный,



а другой – не очень, потому что очень уж кругленький. Прошлись немного, а те уже обратно бегут. Один – легко и ловко, а другой – еле-еле, с одышкой. Остановились мы под сосной, смотрим – опять бегут: один – как молодой олень, а другой – как тюлень: шлеп-шлеп, язык на плече.

«Что за диво?» – подумали мы и пошли в монастырскую гостиницу – спать. Наутро спросили знакомого иеромонаха:

– Кто это у вас тут по монастырю бегает по ночам?

– А, – понимающе кивнул он, – ну раз вы сами видели, вам скажу. Это наш новый насельник Гедеон взялся за нашего настоятеля, а то больно уж он полноват. Поит его травками и гоняет бегать вдоль монастырских стен, когда все спят.

И действительно – недавно я увидела этого настоятеля. Его было не узнать. Стройный, подтянутый, весь устремленный ввысь. На славу потрудился тогда отец Гедеон.

Соблазн



Сидели как-то у нас дома с монахами за чаепитием и говорили о том о сем. Зашла речь и об искушениях.

– Все-таки машина для мужчины – всегда соблазн, – сказал кто-то из них.

– Это точно, – подхватила я. – Я знаю историю, как один мужик из семьи ушел ради того, чтобы не расставаться с машиной.

– Да ну, расскажи!

– Была у меня приятельница, которой очень нравился чужой муж. Она с ним вместе работала, и начались у них любовные отношения, к которым он относился как к легкой интрижке. Собирался он уже ее сворачивать, пока жена не узнала, да тут попал в аварию – самому-то ничего, а машина восстановлению не подлежит. И он ужасно расстроился – тот, кто привык много лет сидеть за рулем, может понять человека, который вдруг вынужден повсюду передвигаться общественным транспортом. И в такой трудный для него момент эта его подруга покупает новый автомобиль и дает своему возлюбленному

на него генеральную доверенность: на, милый, пользуйся! А как он может им пользоваться, если он как раз собирался порвать с его хозяйкой? Пришлось ему отношения и продолжить.

И вдруг узнает об этом его жена. «Как же так! — кричит.— Как ты мог? Выбирай — или я, или она». «Конечно ты,— подумал он.— Жена есть жена!» Но как представил, что придется ему эту машину возвращать и пересаживаться на троллейбус, тут в нем что-то и заклинило. А жена разведала, что с разлучницей он так и не расстался, и подала на развод.

— Знаю я примерно такую же историю. Только там это произошло с монахами,— сказал один из чернецов.— Для монаха ведь машина — это соблазн в кубе. Это нечто большее, чем просто вещь. Поучительная история. Рассказать?

Все закивали:

— Давай, давай, не тяни.

— Ну, в общем так. В 80-е годы у монахов Свято-Троицкой лавры образовался блат в тогдашнем местном ГАИ. Уверовал большой милицейский начальник и предложил братии то, в чем он мог ей помочь: научиться водить автомобиль и получить права. И многие тогда их получили. В том числе и наш друг отец Антоний. Права-то он получил, а вот машины у него не было и не предвиделось. Откуда? Монахи живут в лавре на всем готовом и казенном, а деньги им выдают лишь на лечение. Но когда у человека есть водительские права, естественно ему хочется уж и поводить. Как говорится, кто чем увлекается, тот тем и искушается. А уж кто чем искушается, тот тем и уязвляется. Так что история сия именно об этом.

Был у лаврского иеромонаха Антония друг еще со времен семинарии — отец Никифор. Сидели они

с ним за одной партой и были и духовными, и постригальными братьями. Приняли монашество в один и тот же день, одного постригли с именем Антоний, другого – с именем Никифор. Одного рукоположили в священники в сентябре, другого – в октябре. Один получил права в марте, другой – в апреле. Но отца Антония в лавре оставили, а отца Никифора определили на сельский приход во Владимирской епархии.

Ну так что ж – разве расстояние монашеской дружбе помеха? Вот и у них связь сохранялась прочная: и у старца-духовника Сисоя, бывало, встречались, и друг к другу приезжали, и паломничали по святым местам вместе.

А была у отца Никифора еще и духовная подруга, или сестра – Васса Фроловна – тоже чадо того же духовника-старца Сисоя. А с другой стороны, – как бы и не вполне она подруга, потому что отец Никифор был еще совсем молодой, а эта Васса Фроловна уже бабушка: у нее дочка, внучка, ну, старуха – не старуха, а пожилая. Мамка такая. И жила она с этой дочкой и внучкой в Москве в собственной квартире, которую им когда-то старец Сисой вымолил.

Отец Никифор, как приедет в Москву, у них останавливался. И она тоже к нему на приход наезжала – то одна, то с семьей в летние месяцы. Привозила ему туда и колбасу тресковую дефицитную, постную, и сыр, и пастилу. Приедет – уберется у него, приготовит, порегентует на клиросе, попоет – там, в деревенской глуши, и петь-то было некому. А она певчая в московском храме, так что и службу знала, и читать умела, так что была она ему в помощь, и выделил он ей даже комнатку в своем священническом домике.



А потом Васса эта купила машину на свое имя. Но водить ее, как ни пыталась, так не могла научиться. Сядет за руль и сразу в сиденье вжимается, вцепляется в руль и, что хуже всего, — зажмуривается и повизгивает от ужаса. Ну и отдала она ее в пользование по доверенности отцу Никифору, и стал он туда-сюда на этой машине гонять: в Москву — на приход — в лавру — в Москву — на приход.

А что? Приход у него — пять старух, и те лишь по воскресеньям да по праздникам, а всю неделю — сиди себе в одиночестве в глуши деревенской, жди-дожидайся, когда какая бабуля почиет в Бозе.

Нет, хорошо, конечно, — почище любого скита, если вкус иметь к отшельнической жизни и непрестанной молитве. Но отец Никифор тогда еще до этого не дозрел — он сам был из многодетной семьи, постриженник большого общежительного

монастыря со множеством братии, с задушевными монашескими духовными беседами после ужина, и как-то ему там, в этом захудалом селе, стало тоскливо.

К тому же и домик его церковный был прескверный — и покатый весь какой-то, и щелястый. Посидел он там, посидел, полистал «Лествицу», и такая тоска стала на него нападать, что хоть плачь от уныния, хоть пей до самозабвения, хоть прочь беги без оглядки на огоньки сияющие. Искушение! Вот и стал он бегать — выйдет, сядет в машину и через два-три часа — пожалуйста, он уже в Москве у Вассы Фроловны в носках по ковру расхаживает. Ну и жили они как бы одной духовной семьей — он ей деньги давал на покупки хозяйственные, огурцы они вместе солили, картошку сажали, варенье на зиму заготавливали и даже яблочный сидр делали.

А зайдет к ним кто в церковный домик летним временем, а там эта Васса босоногая бегает в ситцевом халатике, хлопочет, банки закручивает: «Ой,— смутится,— что это я как глупенькая...»,— стесняется, показывая на голые свои ноги,— так ведь это и смущало многих, и разные вызывало толки. Особенно когда выходят они вместе из церковного домика к машине — в Москву ли ехать, на речку ли, так отец Никифор сперва откроет ключиком дверь Вассину, а как воссядет она там, как на троне торжественном, захлопывает с осторожностью.

Стала эта Васса Фроловна отца Никифора потихонечку подзуживать да подначивать — почему это, мол, старостиха от молебнов дает ему полкопеечки, почему за требы платит малую толику, а за отпевания подает, как милостыню?

А он от нее отшучивается, отмахивается: сама посуди, не монах ли я, обет давал нестяжательности. Другое дело было бы, кабы семейный: не для себя бы просил прибавки... И так далее.

А Васса эта как разгневается — как так, не семейный ты? А дочка моя со внучкой — что, не семья тебе? И в доме у нас живешь, и на «Жигулях» катаешься, а все чужие тебе!

Ну, отец Никифор тоже, конечно, не маленький. Видит — крепко завяз он с этой машиной. И ведь отдал бы ее с превеликой радостью, потому что огромный через нее соблазн и великое искушение. Но вот прилепился он уже к ней — машинке этой малиновой, к рулю крепкому и послушному, словно к какому другу собинному. Полюбил лететь на ней незнамо куда по шоссейкам радостным, настигая любую цель, переключая скорости. Полюбил поддавать газку, дальним светом перемигиваться со встречными, по-хозяйски ее обмывать в прудке придорожном. И ведь денег нет, чтобы эту машинку у Вассы Фроловны попросту выкупить!

Но Васса Фроловна все это уже про себя просчитала-скумекала, приговаривает: «Самое главное — это иметь при себе своего батюшку».

А была у этой Вассы Фроловны еще и сестра родная — тайная монахиня с именем Фотиния, постригли ее по благословению старца Сисоя. И еще одна была сестра, но та вышла замуж за немца преуспевающего и укатила себе в Германию.

А Фотиния, которая монахиня в тайном постриге, — та была помоложе Вассы Фроловны, повиднее, да и пела получше, регентовала в большом московском храме и выходила на середину храма читать Апостол. И стала эта Фотиния к отцу Антонию

в лавру наезжать. А что? — тайная монахиня, еще и духовное чадо старца Сисоя, еще и родная сестра прихожанки, сомолитвенницы и помощницы его ближайшего друга. А к тому же Фотиния эта тоже некогда по молитвам старца в Москву из провинции перебралась и даже получила квартирку: за бабулькой ухаживала, та преставилась, а Фотиния там крепко обосновалась и даже приют давала старцу Сисою, когда он приезжал в Москву.

Там он и чад своих принимал, да и сам отец Антоний у него в этой квартирке Фотиньиной бывал не раз и не два. А потом так и повелось: приезжает отец Антоний в Москву по нуждам ли монастыря или сам по себе в отпуск — Фотиния с радостью его к себе приглашает, комнату выделяет: это, говорит, отец Антоний, твоя келейка, никого в нее больше не пущу, вот тебе от квартиры ключ. Туда, бывало, и отец Никифор с Вассой Фроловной в гости приезжали, и отец Антоний с Фотиньей к отцу Никифору на приход ездили на машине Вассы Фроловны. Словом, с одной стороны — монашеское братство, дело чистое, а с другой — мало-помалу образовалась, странно сказать, такая как бы семейственность.

А тут еще и сестрица из Германии привезла наконец сестрам денежки, поддержала их материально. И Фотинья Фроловна возьми да купи на них «Жигули» самые крутые по тем временам, чуть ли не «мокрый асфальт», и завела сладкую песню:

— Отец Антоний, я машину водить не умею, и боюсь я, и не женское это дело, поэтому вот вам доверенность, садитесь-ка вы за руль и по полной программе пользуйтесь.

И что? Взял отец Антоний эту машину окаянную, все предчувствовал, а взял. Больно хотелось ему

прокатиться по родным просторам, к старцу Сисою зарулить, к собратьям в другие монастыри съездить. Нравился ему запах этот бензиновый, шелест шин по асфальту, ветерок в окошко.

Вышла у них с отцом Никифором даже некоторая симметрия: тот монах, и этот монах, тот на машине, и этот на машине, тот с сестрой, и этот с сестрой, у одного — певчая, а у другого — регентша. И только стал он на этом соблазне на колесах разъезжать туда-сюда, тут его Господь и посетил — экземой на ноге отметил. Едет он по дороге, а все тело зудит и чешется, аж глаза на лоб. И у отца Никифора тоже желудочно-кишечные немощи начались, а у сестер, оказывается, — и мигрень, и поджелудочная...

И вот Фотиния Фроловна сообщает им как-то за чаепитием, да еще в приподнятом и торжественном тоне, что сейчас-де открыли новый, очень эффективный способ лечения всех болезней методом физического очищения. Наш организм, оказывается, отравлен ядами-химикатами, и они действуют на ткани весьма разрушительно, и поэтому для общего оздоровления необходимо вывести из организма все химически вредоносное. У них многие певчие уже на себе этот метод испробовали, и это им помогло, и сил прибавило, и тонус повысило, и кровь очистило, и теперь даже чтецы, дьякона и батюшки готовы предаться таковому лечению.

— Так что за лечение? — спросил отец Никифор.

— На ночь, накануне лечения, после очистительной клизмы выпить четыре стакана теплой кипяченой воды. Наутро — все повторить. Весь день ничего не есть. На следующее утро выпить столовую ложку оливкового масла и подкрепиться стаканом сока — картофельного, морковного или свекольного.

Капустного тоже можно. Можно, пожалуйста, и сок лопуха, если время года подходящее. Можно щавеля. А можно и сельдерея. И так каждый день. А потом можно смело переходить на яблочное пюре. Экзему, говорят, как рукой снимает!

И что — отец Антоний с отцом Никифором, люди чистые, открытые, ей поверили. На следующий день собрали в лавре вокруг себя близких по духу монахов, страдающих всякими недугами — а монахи всегда чем-нибудь больны, так им Господь помогает смиряться и бороться с плотскими искушениями, — и поведали им о чудодейственном, хотя и многотрудном методе. Всех привлекла великопостная направленность лечения: полнейшее сыроядение.

Постановили пригласить Фотинию Фроловну в монастырь, а гостиничник даже выделил ей комнатку, и все уже именовали ее не иначе как опытным и тонким врачом, называли «доктор», а кто-то так даже и «профессор»...

Через несколько дней Фотиния Фроловна прибыла в монастырь вместе со своими грелками, клизмами, соковыжималками и долго инструктировала монахов. Оливковое масло, а также необходимые овощи выделил монастырь. В течение нескольких месяцев продолжался этот очистительный бум, напоминавший какую-то эпидемию, охватывавшую все новых и новых пациентов. Монахи ходили со странным стеклянным блеском в глазах, с лицами, как бы вовсе отрешенными от действительности, и полушепотом делились своими ощущениями с собратьями. Фотиния Фроловна считалась теперь непререкаемым авторитетом, с ней, бывало, и заискивали, а в голосе ее появились командирские нотки.

А вот Вассе Фроловне в этом раскладе не нашлось места. Тогда она забрала из монастыря отца Никифора, который специально перебрался сюда на время отпуска, чтобы предать организм полному очищению, и велела ему забыть об этом шарлатанском методе своей сестрицы.

— Поищем другой способ, — сказала она. И точно — скоро нашла.

Спустилась она в погреб священнического домика, где хранились у нее соленья и варенья, и вдруг провалилась под ней земля и она оказалась в подземной дыре. Стала с перепугу ощупывать вокруг себя почву и наткнулась рукой на сундучок. Вытащили они с отцом Никифором сундучок наверх, а он оказался полон доверху каких-то старых, а может, и старинных монет. Васса Фроловна даже на зуб их пробовала — что за металл, но так и не поняла. Хотели они клад государству отдать, да Васса Фроловна приложила монету к больной голове, потому что ее мучила мигрень, а голова возьми и пройди. И так они теперь ежевечерне садились с отцом Никифором и лечились монетами — хорошо и на веки их положить, и на лоб, и к пояснице привязать — все помогает.

Рассказал об этом отец Никифор отцу Антонию да и предложил тоже монетами воспользоваться — к экземе их пластырем прилепить. Но тут отец Антоний вдруг опомнился, Понял он, что все это самое что ни есть искушение. Классическое искушение! Как описано в патериках. Свернул он эту монастырскую больничку, Фотинью Фроловну домой отправил, как она ни сопротивлялась, как ни настраивала против него других монахов, желавших продолжать очищение. Понял — пора

Рака с мощами преподобного Сергия

как-то вырываться из плена этих сестриц. Помолился он у мощей преподобного Сергия, сел на машину и приехал к Фотинии Фроловне:

– Спаси вас Господи, матушка Фотиния, много доставили вы мне радости и облегчения этим автомобилем, благодарю вас и за приют в вашем доме, но пора мне и честь знать. Вот, возвращаю вам ключи, документы, доверенность.

Она удивилась, браниться начала, а потом чуть не заплакала. А он все это на тумбочку в прихожей положил, и бежать на вокзал. Ну, думает, слава Богу, легко отделался.

Оказалось, не тут-то было. Не так-то просто вовсе от соблазна уйти.

Спустя некоторое время приходит к нему прихожанин, который несколько лет уже у него исповедовался, и говорит:

– Отец Антоний, я тут дачку в наследство от родителей получил – домик финский в Семхозе. А у меня самого там дача, так что этот домик мне ни к чему – позвольте я его вам пожертвую. Примите в дар. От чистого сердца. Только там никаких удобств – уборная во дворе, зато участок большой, в деревьях весь.

И дарственную написал, все оформил.

А отец Антоний давно уже о таком уединенном домике помышлял, чтобы можно было укрыться от человеческих глаз, поотшельничать, в полном покое помолиться Господу и подумать о жизни, о смерти, обо всем...

Поехал он туда – славный домик, в двух шагах от лавры, сделал там даже кое-какой ремонт, а туалет так и оставил во дворе – чем проще, тем лучше... Братия туда стала наезжать – отдохнуть, помолиться. В общем, все про эту фазенду отца Антония прознали.

А он возьми и посели туда свою прихожанку, которую как раз из дома пьяный муж выгнал, она с маленьким сынком по вокзалам мыкалась. Жила она там месяц, жила другой, третий. Кое-кто из братии возроптал: такое было место хорошее для уединения, для молитв, а ты бабенку с ребенком туда сунул! Негде теперь дух перевести.

И вот как-то ночью вышла эта жиличка во двор — ну мало ли зачем — может, луной полюбоваться, может, в туалет, и видит: подъезжают к ее домику «Жигули» «мокрый асфальт», вылезает из него женщина в темной косынке да в длинной юбке, отпирает багажник, достает оттуда канистру с бензином и начинает поливать деревянную стену. А потом как чиркнет спичкой по коробку. Дом сразу и загорелся, а женщина прыг в машину и укатила, а прихожанка выскочила из своего убежища, ворвалась в горящий дом, вытащила сыночка, и на их глазах все через двадцать минут сгорело дотла.

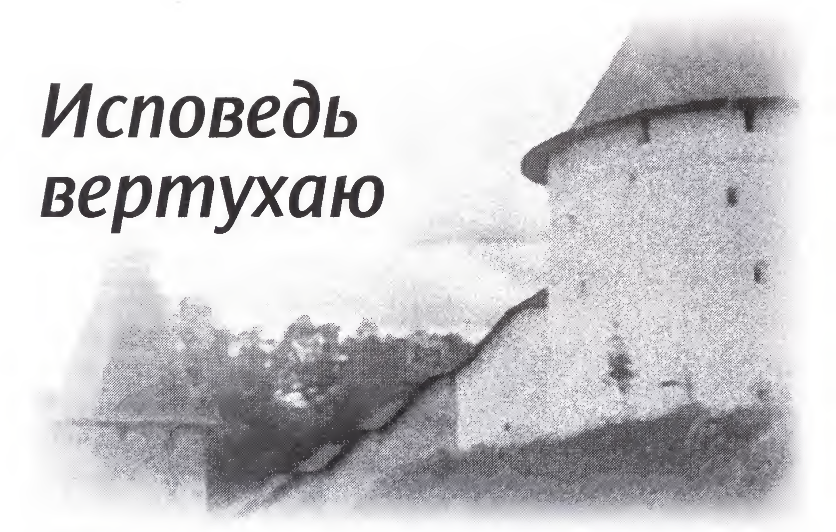
Вот после этого экзема на ноге отца Антония в псориаз переросла, потому как узнал он по описанию эту свою поджигательницу.

— Ну, и чем кончилось? Отстала от него после такого-то эта Фотинья Фроловна, спаси ее Господи? — спросил кто-то из монахов.

— Да, кончилось хорошо! Как надо все кончилось. Приобрел отец Антоний кое-какой духовный опыт и с этих пор стал избегать всякого владения, уклоняться от любой собственности, движимой и недвижимой. Потому что с ней, с этой собственностью, у монаха получается, как в предложении «мать держит дочь». Непонятно, кто держит кого. Поначалу подумаешь одно, а потом выходит, что и наоборот: то ли мышь грызет дичь, то ли дичь грызет мышь. То ли жизнь несет смерть, то ли смерть несет жизнь.

...Такую поучительную историю слышала я както раз от одного из дружественных монахов.

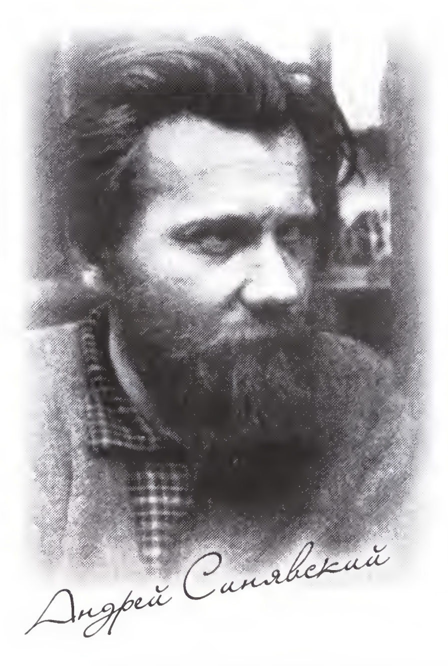
Исповедь вертухаю



Поехали мы как-то раз в паломничество с Андреем Донатовичем Синявским и Марьей Васильевной Розановой: сначала в Печоры, где красуется знаменитый Псково-Печерский Успенский мужской монастырь, а потом уж и на малую родину Марьи Васильевны, в ее родной город. А там как раз у нас с моим мужем был дружественный епархиальный архиерей. Он поместил нас с Синявскими в гостиницу, а вечером пригласил в свои архиерейские покои на трапезу.

Это был чудеснейший вечер, Андрей Донатович и владыка сразу сошлись в разговоре, а прочие только внимали, не забывая, впрочем, и преизобильно угощаться, запивая угощение и соком, и превосходным красным вином.

– А вот у меня есть вопрос. Что вы скажете на это, владыка, – что-то вдруг вспомнил Андрей Донатович. – Когда я сидел в лагере, там было много религиозников, то есть тех, кто сидел по «религиозным» статьям. Они молились, постились, пели псалмы, читали Евангелие… И на одного уголовника



это подействовало — он вдруг уверовал. Да как! Весь устремился к Богу! Пожелал открыться и покаяться. Сидел он по статье за грабеж, а на самом деле он убил человека. Но это преступление не было раскрыто, и убийца не был найден.

И вот он пошел и все рассказал со слезами раскаянья вертухаю. Ну, подняли бумаги, достали то дело, потом суд, и дали ему вышку. Так мой вопрос — ну, так сказать, к Самому Господу Богу: как же так, в промыслительном плане, человек покаялся, а его за это расстреляли? Смущает это меня. Что вы скажете?

Владыка подумал, возвел глаза вверх и стал отвечать тихим таким голосом, как бы рассуждая сам с собой:

— Был у меня знакомый один — иеромонах. Служил он на сельском приходе, а когда служб не было, ездил на машине в Москву. И привязался к нему гаишник, который всегда стоял на повороте от того села, где этот иеромонах служил, прямо на шоссе, ведущем в город.

Как ни поедет иеромонах после воскресной литургии в Москву, так его этот гаишник и останавливает, придирается. Ну, ему священник даст денежку, тот

и отпускает с миром. Но потом старец ему сказал, что это нехорошо – так вот развращать милицию взятками. И он решил гаишнику денег больше не давать.

Поехал он, как обычно, после воскресной литургии в Москву. Так хорошо послужил, помолился, причастился, сам и «потребил» все из Чаши, поскольку служил без дьякона. Глотнул на дорожку чайку, и вперед.

А тут гаишник его останавливает, палочкой своей машет. Иеромонах открыл окно и выглянул. А милиционер ждет, что вот сейчас ему в руку бумажку вложат хрустящую. Но тот держит себе руль, в окно машины выглядывает и не проявляет ровно никакой активности.

Тогда гаишник занервничал:

– Это... Нарушаем...

– Что? Где? – удивился иеромонах.



М.В. Розанова и отец Владимир Вигилянский

— А почему колеса, как у «Татры»? — придумал наконец гаишник. — Штраф.

— Хорошо, — согласился иеромонах. — Только вы, когда штраф будете выписывать, напишите там: за то, что колеса, как у «Татры»...

— Зачем это? — подозрительно спросил тот.

— А я в лавре буду и самому вашему главному гаишнику (тут он назвал фамилию), который мне права выдавал, покажу.

— Да ладно, — смутился милиционер. — Езжай так.

Отпустить-то он его отпустил, но зло на него затаил. Узнал он, что попы эти, когда народ причащают, всегда вино пьют. И подкараулил священника в следующий раз.

Иеромонах наш остановился, открыл окно:

— Что теперь?

— Пили сегодня? — радостно спросил гаишник. — Вино употребляли?

— Нет, не пил. Но потреблять — да, потреблял.

— Ага, — злорадно воскликнул мучитель. — Ну, так давай сюда права.

Отобрал у него права на целый год и даже составил акт, чтобы все было чин по чину. И не пожалуешься.

Приехал иеромонах своим ходом в лавру, скорбный. Встретил меня, рассказал всю историю и приступил с расспросами:

— Владыка, в чем я был неправ? Сказано же в заповедях — не лжесвидетельствуй! Не солги! Я всю правду и сказал! Выходит, за правду я пострадал?

А я ему говорю:

— Эх, обвел тебя вокруг пальца твой искуситель-гаишник. Все-таки надо бы рассуждение иметь, кому исповедуешься. Разве кто-нибудь тебя учил, что



Архимандрит Кирилл (Павлов), иеродиакон Димитрий, будущий архиепископ Витебский и Оршанский (слева); игумен Лаврентий (справа)

надо исповедоваться именно гаишнику? А кроме того – разве ты выпивал? Разве ты потреблял – алкоголь? Кровь же Христову! Вот так же, мне думается, произошло и с вашим раскаявшимся разбойником,– вздохнул владыка, поглядев на Синявского, и произнес с чувством: – Что ж он вертухаю-то стал исповедоваться? Так что в промыслительном плане он не того для исповеди избрал: ни вертухаю, ни гаишнику, ни искусителю, ни врагу рода человеческого,– сказано ведь: исповедайтеся Господеви, яко благ, яко ввек милость Его!



Икона святой мученицы
Татианы

Волна за волной



Году в 88-м, когда Церкви начали понемногу возвращать храмы, знакомый архиерей, для которого мой муж собирал материалы по истории Владимирской епархии, предложил ему принять диаконский сан и отправиться служить в Муром, где открыли единственный в этом городе православный храм.

Если бы это было предложено ему четырьмя годами раньше или шестью годами позже, он бы тут же согласился. Но в ту пору у нас были такие сложные семейные обстоятельства, что переезжать всей семьей, с детьми-школьниками, не представлялось возможным. И он отказался.

И вот, когда в 95-м году он все-таки был рукоположен в диакона, а затем и в иерея и стал служить в храме Святой мученицы Татианы, ему приходит письмо из Мурома. В конверт вложена фотография храма. А на обороте надпись: «Этот храм был последним, который закрыли в Муроме в 1937 году. Там служил диакон Вигилянский, расстрелянный безбожной властью. В 1988 году храм был снова



открыт, и с тех пор там совершается Божественная литургия».

Такая это была провиденциальная и символическая весть: последний священнослужитель перед закрытием храма был новомученик Вигилянский, и первый же после его открытия должен был тоже стать Вигилянский, то есть мой муж, чтобы



восстановилась связь времен, сомкнулись звенья, пошла волна за волной... Получилась бы история прямо из какого-нибудь канонического «Жития»...

Но так наглядно, красиво, буквально и... неправдоподобно не получилось. «Единство места» — не удалось: один служил там, другой служит здесь.

Да и Владимирский владыка, предлагавший моему мужу рукоположение в Муроме, вовсе тогда не знал фамилию последнего муромского священнослужителя. И предложил это, движимый не столько человеческой логикой и расчетом, сколько какими-то иными импульсами и токами...

Так вот, я дерзаю высказать предположение, что это Промысл Божий владел здесь тайной драматургической интриги, это он что-то такое владыке нашептывал и подсказывал, к чему-то моего мужа подводил и подталкивал, сопровождал, присутствовал, словом, был где-то тут, чтобы мы — уже постфактум — обнаружили его действие в удивленном и радостном узнавании.

Во гласе трубнем



Был в Свято-Троицком монастыре иеродиакон Потапий, могучего телосложения и высоченного роста. Но особенно впечатлял он всех своим недюжинным голосом, который он очень берег, холил и лелеял.

Часто можно было его видеть на Афонской горке, по которой он прохаживался перед службой, упражнял горло и потихонечку распевался. Но ветер разносил его дивные басистые переливы: а-а-а! а-у-а! и-у-э-о-а-ы-е-ю! Они были не только слышны, эти « в бархат ушедшие звуки», но даже и осязаемы, почти вещественны.

Вскоре он был замечен и отмечен самим правящим архиереем Варнавой, который сделал его протодиаконом, забрал к себе в епархиальный Эмск и поселил в маленьком монастырьке, находящемся прямо в городской черте. Они часто вместе ездили по епархии, и отец Потапий неизменно поднимал дух молящихся сразу же, с первого же возгласа, когда его бас так торжественно, грозно и целокупно выводил это: «Вос-станите!»

Но в перерывах между богослужениями и поездками, когда он сидел в своей келье, большому отцу Потапию было нестерпимо тесно и томительно в стенах того маленького монастыря, куда его определил владыка. К тому же этот монастырек вовсе не принадлежал монастырским насельникам, поскольку там располагался еще и музей, который чувствовал себя хозяином и храмов, и монастырского корпуса. Музейщики были очень враждебно и даже агрессивно настроены против малой братии, робко жавшейся по своим углам. Потапию некуда было даже и уединиться в монастырском саду, чтобы как следует попробовать голос, чтобы, начиная с глухого ворчанья: «Благослови, владыко» или — ниже некуда — глухого баса: «Бра-а-а-ти-и-е-е!», далее раскатывая его и вширь и ввысь, кончить на высоком завое: «С Го-о-о-сподом бу-у-у-дем!»

Тут же выскакивали эти вездесущие музейщики и, демонстративно затыкая уши, прогоняли его в домик, переданный монастырю. «У меня кровь в жилах стынет от вашего воя!» — обиженно высказывалась директриса. «А у меня молоко вон свернулось. Простокваша теперь», — поджав губки, добавляла кассирша.

Словом, Потапию там было худо. Он — тосковал. Говорят, он даже не брезговал беседами с «зеленым змием».

Время от времени он звонил в Свято-Троицкий монастырь иконописцу иеродиакону Дионисию и предлагал тому купить у него мощи. Кусочки мощей можно было вставить в специально сделанный ковчежец, встроенный в икону, и тогда она становилась куда более духоносной.

То это были мощи святителя Спиридона, то Целителя Пантелеимона, то святой мученицы Татианы, а то и святого Николая Угодника.

– Откуда он их берет? – удивлялся Дионисий. – Вроде бы никуда особенно далеко не уезжает... С себя, что ли, срезает?

Это оставалось тайной.

Но Дионисий всегда охотно покупал святые частицы и специально писал для каждой из них соответствующую икону, а потом щедро раздаривал их знакомым священникам и мирянам, но в случае нужды – и продавал. Потапий же приезжал к нему в монастырь и забирал за доставку мощей либо деньги, либо магнитофон, либо рефлектор, либо мобильный телефон, либо просто – бутылку хорошего коньяка: все, на что у него падал глаз.

Но вот прошел слух, что с отцом Потапием не все благополучно: он якобы «злоупотребил», «переступил черту», «подцепил пассажира» и теперь лечится не где-нибудь, а в психбольнице.

Поскольку «пассажирами» монахи Свято-Троицкого монастыря называли бесов, то это смутное известие вызвало среди братии, любившей Потапия, большое беспокойство.

– Психушка от пассажиров не избавит, – комментировали монахи. – Там только чужих пассажиров нахватаешься!

Вот Дионисий и отправился в Эмск, чтобы навестить больного друга.

Пришел, сокрушенный, в эту больницу, обнесенную высокой стеной, спросил:

– Где тут у вас протодиакон Потапий лечится?

И – удивительно – суровое лицо медсестры смягчилось, она что-то заворковала, зачирикала:

– Пойдемте, пойдемте, я вас провожу! Только не забирайте от нас нашу радость!

Удивился Дионисий, засомневался даже: Потапия ли она имеет в виду? Но покорно проследовал за ней.

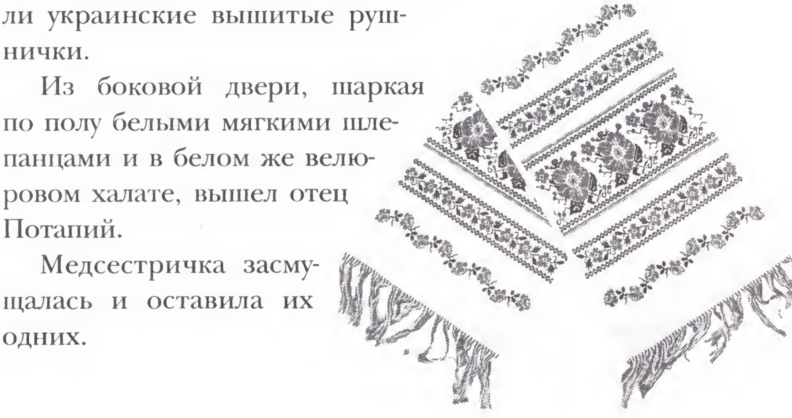
Они миновали несколько мрачных типовых блочных корпусов, прошли через парк, взошли на холм и оказались возле опрятного двухэтажного коттеджа.

– Проходите, проходите, – приветливо пригласила Дионисия медсестра, придерживая дверь. – Тут у нас для особо важных гостей. Можно сказать – для вип-персон. Санаторного типа.

Дионисий оказался то ли в охотничьем домике, то ли в этнографическом уголке. С одной стены смотрела цветная фотография косули, с другой – фотография ежика, на иголках которого красовался подосиновик. На третьей стене висела картина, написанная маслом, и на ней вовсю колосилась рожь. На комоде возле телевизора разевал рот сушеный крокодильчик, над мягким диваном палевого цвета был приделан гобелен, напоминающий рисованый очаг в доме у папы Карло, а на столе, подоконнике и телевизоре лежали украинские вышитые рушнички.

Из боковой двери, шаркая по полу белыми мягкими шлепанцами и в белом же велюровом халате, вышел отец Потапий.

Медсестричка засмущалась и оставила их одних.



— Да,— сказал Потапий,— да, да! Вот такое золотое место, Дионисий! Сумасшедший дом санаторного типа. Здесь я и укрылся. Тапочки, халат. Питание три раза в день. Покой. Общение. Уважение. Почет. Ты только в нашем монастыре никому не говори, а то завтра же вся братия сюда рванет. Хлынет, понабьется, не протолкнешься потом!

— За что тебя сюда? Я никогда не думал, чтобы в сумасшедшем доме...

— Так это владыка за меня походатайствовал. Сказал — это мой протодиакон, берегите его как зеницу ока. Я им тут иногда пою. Они романсы уважают. Ну я им — романсы. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу»... А иногда — пророчествую.

— А ты умеешь? — хмыкнул Дионисий.

— Дело нехитрое. Петь сложнее. Попросит меня какая-нибудь медсестра или нянечка, а мне что — жалко, что ли? Я ей и говорю: «у вас на сердце печаль», «вы часто думаете о том, что вас недооценивают», «вы способны на гораздо большее». А потом сразу — про будущее.

— А про будущее что?

— «Вы сейчас перед поворотом вашего пути». «Вскоре вы встретите человека, который повлияет на вашу жизнь». «Вы на пороге нового периода жизни». И они довольны! Это ведь так и есть! Попробуй возрази!

— А что с тобой произошло? — Дионисий окинул взором стены с косулей и очагом.— Что, пассажир?

— Да нет,— поморщился он.— Там, в музее, пропажу заметили: из запасников у них что-то пропало. Сущая мелочь для них. Прихватили сторожа — хороший такой паренек. Да он мне клялся, что там,

в этих музейных кладовых, веками это все лежит невостребованное! В пыли! Собаки на сене! Спрятали от народа и радуются! Сторожа — в тюрьму, а я — сюда, от греха подальше!

— Понятно, — помрачнел Дионисий, что-то соображая. Посидел с Потапием и заторопился к себе.

В келье у себя взял, что осталось, — кусочки мощей святого великомученика Пантелеимона и поехал в музей, где располагался монастырек Потапия.

Пришел к директрисе и, развернув, бережно положил все на стол — темненькие такие мелкие-мелкие щепочки.

— Вот, я вам возвращаю!

— Что это? — с брезгливым недоумением воззрилась она на него. — Труха какая-то...

— Мощи святого великомученика Пантелеимона, — ответил он.

— Не берем! — твердо ответила она.

— Так ведь это украдено было у вас! — воскликнул он.

— Молодой человек, — она с достоинством покачала головой, — вы нам предлагаете какой-то, извините, сор. А у нас были украдены, если хотите знать, музейные ценности — кортик времен адмирала Ушакова, перстень с печаткой императора Павла I, статуэтка «Пастушки», принадлежавшая роду графа Шереметева...

Дионисий снова завернул мощи, положил их в нагрудный карман подрясника и вышел в монастырский двор.

Почти сразу следом за ним вышла и она. Села к водителю, который включил мотор. Дионисий, проходя мимо, вдруг решил похулиганить: очень уж он был оскорблен за «труху» и за «сор».

Он нагнулся к ее открытому окну и спросил:

– А вы тут единственный пассажир или есть еще?

Прежде чем машина тронулась с места, она успела ответить, величаво откинувшись на спинку сиденья:

– Пассажир тут только я,– и взмахнула рукой, подала сигнал водителю: вперед.

...Отец Потапий вскоре вышел из больницы, написал владыке прошение о том, чтобы ему вернуться в родной Свято-Троицкий монастырь. При этом он обещал по-прежнему сослужить владыке, где бы и когда бы это ни потребовалось.

И через весьма малое время его можно было снова наблюдать расхаживающим по Афонской горке и пробующим голос.

– А! а! а! – поначалу звучало на низах, с благородной хрипотцой, потом раздавалось басовитое ворчание и можно было разобрать: «Прободи, владыко», «Пожри, владыко», а потом уже шел широкий раскат, заканчивающийся настоящим грозным завоем на «Господи, помилуй».

Ветер разносил это по монастырю, и звук словно задерживался в низинах, как запах доброго





Та самая икона

афонского ладана, изготовленного без добавления парфюмерных отдушек.

Дионисий же – написал икону Целителя Пантелеимона, сделал в ней ковчежец, положил туда мощи и подарил эту икону мне. Она и сейчас сияет у меня, как окно в Небесное Царство.

А мощи у отца Потапия – иссякли. Сколько раз Дионисий просил его, завидев на Афонской горке:

– Ну, поскреби по сусекам! Дай ну хоть чьи, хоть кого...

Но тот только трогал себя бережно пальцами за горло и выдавал во гласе трубнем:

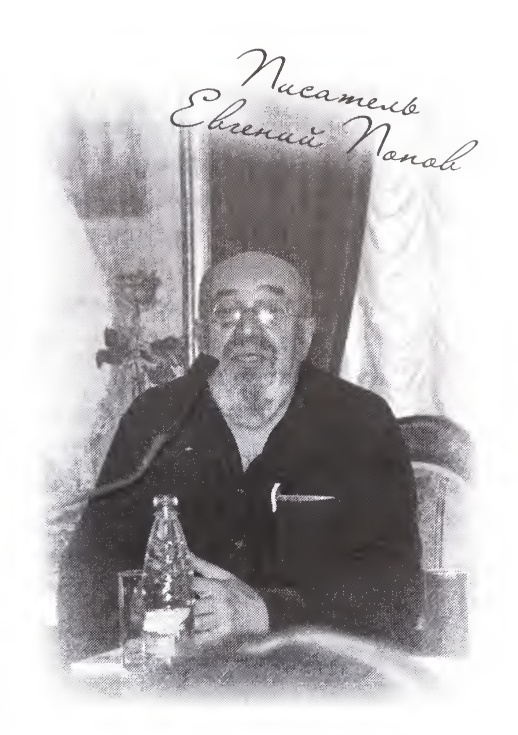
– О! о! о! Во-о-о-он-мем! Прэ-му-у-дрость!..

«Наши» и «немцы»



Муж мой некогда работал в отделе литературы журнала «Огонек». Это были те времена, когда практически упразднили цензуру и в журнал потекли всякие разоблачительные материалы, являющие подлинную сущность советской власти. Тогда-то и позвонил моему мужу писатель Евгений Попов и попросил его принять у себя некоего кагебешника, который хотел бы, что называется, дать признательные показания.

— Понимаешь, — сказал Попов, — он в конце семидесятых «вел» «Метрополь» и анализировал прослушку, которая была установлена в квартире Евгении Гинзбург, где альманах и готовился к изданию. И вот этот перец теперь мне сообщает, что я, видите ли, из всех говоривших вызвал у него наибольшую человеческую симпатию и он бы хотел мне повиниться и вообще излить свою душу. Но я как вспомню, о чем мы тогда в этой квартирке, выпивая и веселясь, болтали и что он тут же и прослушивал, так мне дурно становится, а сам он мне так противен, так противен, что я ни за что не хочу с ним встречаться.



Ну ладно. Пригласил мой муж этого кагебешника (назовем его Ч.) на разговор, тот пришел к нему в журнал и принес статью, в которой он разоблачал антинародную деятельность своей организации. Пока мой муж правил стиль, подчеркивал смутные места, убирал общие фразы, разговорились. Мой муж, который и в юности, и в молодые годы изрядно натерпелся от коллег Ч., принялся ему задавать вопросы. Так они и сидели друг напротив друга через стол: Ч. – напряженно, стараясь запихнуть ладони куда-то себе под мышки, а ступни – поглубже под стул, а мой муж – небрежно развалясь в рабочем кресле и постукивая карандашом по столу. На минуту мой муж вдруг представил, что именно так, только ровно наоборот – Ч. в кресле, а мой муж скукожившись на стуле, – они могли бы сидеть совсем недавно, только тогда бы вопросы задавал ему Ч.:

– Ну-ну, а поподробнее? А когда вы вышли на Попова? А какова была цель операции «Метрополь»? А кто был в этом деле вашим осведомителем? Вы не вполне искренни, вы увиливаете от прямого

ответа... Мне интересно все – явки, контакты, провокационные действия... А как вы сами оказались сотрудником органов?

Короче говоря, мой муж многое узнал о своем визави: тот был на фронте, прошел Сталинград, был изранен, потом, после госпиталя и войны, окончил юрфак, стал адвокатом, а уж оттуда перешел на службу в органы. Статья его вскоре появилась в «Огоньке» и произвела фурор. Называлась она «Железные челюсти партии», как-то так.

Но тогда бывшие сотрудники Ч. (бывшие – потому что он был уже на пенсии) ему этого не простили. Они, написали ему резкий ответ, назвали Иудой, «открепили» от ведомственной поликлиники и даже, кажется, лишили пайка, что было для него немаловажно, поскольку шел 89 год и вся Москва держалась на этих заказах-пайках-талонах. И бедный Ч., оказавшись в изоляции, – страдал. Он даже стал захаживать в храм митрополита Филиппа, который тогда только-только открылся. И так ему захотелось переменить всю свою жизнь, что решил он покреститься и даже попросил моего мужа помочь ему в этом.

А как раз тогда же с подобными просьбами обратились к моему мужу еще несколько человек: жена русского посла в Германии, мой одноклассник с детьми, дочь и внук народного артиста, да и сам Женя Попов мечтал окрестить своего новорожденного сына Васеньку, и мы собирались ехать в Переделкино, в храм Преображения Господня, где это Таинство совершается по полному чину и, как положено, «с погружением». Ну и Ч. пригласили туда же, чтобы уж – все вместе.

Правда, Попов как узнал, что там будет Ч., тут же отказался:

— Чтобы моего Васеньку с этим Велиаром в одной купели крестить,— нет, я к этому не готов. Давайте их разделим: Васеньку — завтра, а Ч.— как-нибудь в другой раз.

Так что Васеньку окрестили одного в маленькой купельке, а через несколько дней в Переделкино двинулась мощная разнородная компания оглашенных в сопровождении крестных матерей и крестных отцов.

— Вы учтите,— предупреждал мой муж накануне крещенья, обращаясь к Ч.,— вас ждут большие искушения: лукавый станет чинить вам препятствия на пути к крещению, но вы будьте готовы и мужественно продолжайте продвигаться к своей цели.

— Да какие еще препятствия,— легкомысленно отмахнулся Ч.

— Ну, как минимум вы можете проспать, заболеть, труба водопроводная лопнет, замок в двери заклинит, лифт застрянет, нога подвихнется, электрички отменят... Или — вы проснетесь завтра утром и вдруг подумаете: «Что это я — сбрендил что ли на старости лет? Что за фантазия? Куда я попрусь? Жил так шестьдесят лет безо всякого крещения, а теперь — учудить вздумал!» Перевернетесь на другой бок и — дальше спать.

— Нет,— замотал головой Ч.— не может такого быть. Я обязательно приду.

Договорились встретиться в определенный час у электрички. И действительно, когда мы пришли на перрон, Ч. уже стоял у вагона. Но выглядел он испуганно и подавленно.

— Что случилось?

— Вот,— он показал на безжизненно висевшую правую руку,— рука отнялась. Не могу ни поднять

ее, ни пошевелить. Видимо, у меня ночью микроинсульт произошел. Что делать? Я ведь даже не смогу перекреститься!

Он попробовал взять ее в левую руку и начертать ею на себе крестное знамение, но она не слушалась.

— Ничего, — подбодрил мой муж, — креститесь левой.

— Искушение, как вы и предупреждали, — пробормотал Ч., когда мы сели в вагон.

Наконец приехали в Переделкино. В храме Преображения Господня служили дружественные нам священномонахи во главе с настоятелем, который также был нам своим человеком.

Дружной толпой чающих святого крещения неофитов мы и направились к храму, не предвидя никаких осложнений. Но не тут-то было. Как раз накануне староста повздорил с настоятелем и с раннего утра уехал в неизвестном направлении, забрав с собой ключи от запертой крестильни.

— Я бы покрестил, — развел руками настоятель, — но запасных ключей у меня нет, а староста неизвестно когда вернется. Если хотите, подождите или приезжайте в другой раз.

Мой муж оглядел весьма не малое, разновозрастное и разношерстное стадо, которое стояло во дворе храма, ожидая своего рождения в жизнь вечную, окинул взором и пораженного микроинсультом, сосредоточенного Ч. с его повисшей рукой и понял, что в следующий раз собрать здесь всех будет куда сложнее. Поэтому он сказал:

— Пойдем часок погуляем, зайдем на могилу Пастернака, Чуковского, а там и староста появится!

И все, разбившись на малые группки, дружно отправились за ним.



Возле храма Преображения Господня

— Давайте я вам пока что расскажу, как я работал с НТС,— предложил Ч., оказавшись на тропе в паре с моим мужем. Он выражал ему свою благодарность в форме откровенности, к тому же он был уверен, что истории его так или иначе являются частью большой Истории.

Мой муж кивнул.

— Ну, внедрили меня туда — я специально ездил в Германию по подложным документам и встречался там с их агентом... И в такой там вошел авторитет, что в конце концов сам и возглавил эту организацию и начал ее разлагать изнутри, внедряя своих людей. В какой-то момент там уже почти никого из чужих и не оставалось, а все были наши сотрудники: такой филиал КГБ. А тем, кто не был с нами связан, мы давали всякие липовые задания — устроиться работать на советский завод, или на фабрику, или даже в ЖЭК и достать какой-нибудь список: сотрудников, жильцов... Так, имитировали деятельность, несли бессмыслицу. И вот такие у нас были успехи. Пора было заканчивать, и я написал рапорт начальству, которое тогда как раз поменялось: на место Семичастного пришел Андропов. В рапорте этом говорилось — дескать, все, задание выполнено, НТС больше не существует, поскольку весь он состоит из наших ребят. И что же? Вступив в должность, делает Андропов доклад на секретном заседании КГБ, и мы слышим: «Особенную опасность для нас представляет в настоящее время НТС...» «Да он что — белены объелся? — вскинулся я.— Какую еще опасность?» А мне мой начальник и говорит: «А ты помалкивай себе в тряпочку. Тебе что — плохо ли?»

И действительно — сразу после этого секретного доклада по вражеским «голосам» прошло

сообщение, что КГБ мобилизует силы и средства на борьбу с антисоветскими организациями, в частности — с НТС. Тут же и ЦРУ активизировалось: направило в наш НТС, коль скоро Советы его так опасаются, финансовые потоки; КГБ, со своей стороны, увеличило нам денежное содержание, и пошел катиться этот снежный ком, с каждым оборотом наращивая объемы: звания, лычки, награды, премии... Вот в такие игры приходилось играть,— вздохнул Ч.

Меж тем пора было возвращаться в храм. Пришли, а староста хоть и вернулся, а на настоятеля дуется. Мой муж отправился к нему на переговоры. А тот говорит:

— Ну хорошо, крестилку я вам сейчас открою. Только ведь вот какая незадача: у нас отключили горячую воду. И купель, коль скоро вы собираетесь креститься «с погружением», мало того, что будет наполняться два часа, еще и вода в ней будет ключевая, ледяная. Кто дерзнет нырнуть в такую?

Ладно. Повел мой муж своих «оглашенных» к святому источнику, объяснив, что надо еще немного подождать, пока наполнится купель, а про ледяную воду сказать не посмел: слаб человек, всего боится, а вдруг его подопечные испугаются, креститься откажутся, отправятся восвояси? А подождать — так что ж не подождать-то? Май на дворе, повсюду сирень цветет, яблони с вишнями тоже зацветают, одуванчики в юной травке горят, солнышко греет, а не сжигает. Прошли старым кладбищем, пастернаковским полем, свернули на Святой источник. Ч. зачерпнул воды левой рукой и умыл лицо. А правая рука так и висит, болтается, безжизненная. Так что не напрасно он по весенним полям и оврагам

за моим мужем ходит, разведческие истории свои рассказывает, опасаясь, что «времени больше не будет» и стремясь во что бы то ни стало покреститься во оставление грехов, а там уже и не так будет страшно...

Снова вернулись к храму. А нас батюшка уже в епитрахили дожидается – купель вот-вот наполнится. Но о ледяной воде – ни гу-гу.

И вот настал священный час. Завел священник всех в крестильню, окрестил младенцев в маленькой купельке, куда влили два чайника кипятка, а взрослых – тех в крестильных рубахах послал спускаться по ступенькам в большую ледяную купель и стоя на краю трижды погружал голову каждого: «Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Чтобы были не какими-нибудь недокрещенными «обливанцами», а верными сынами Церкви.

Вышли все оттуда с новыми лицами, в глазах – таинственный, нездешний какой-то свет. И вдруг Ч. как ни в чем не бывало поднял правую руку и осенил себя крестным знамением.

– У вас же рука... работает! – в изумленье воскликнул мой муж.

– Да? А я даже про нее и забыл! – расплылся в улыбке тот.

– А как вам вода?

– А что – вода? Чистая...

– Ну, ледяная же! Ключевая!

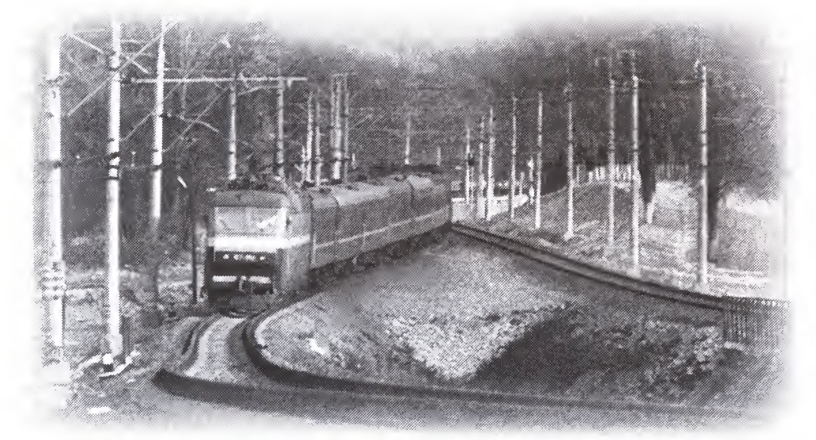
– Да? – удивились все новокрещенные. – Разве... ледяная? Что-то мы не почувствовали!

– Хорошая вода!

– Нормальная!

Мой муж все-таки спросил у старосты:

– А что, все-таки включили горячую воду?



— Нет, так до сих пор только холодная...

С тем мы и уехали, всю дорогу в Москву дивясь и радуясь.

А Ч. стал примерным прихожанином. Каждый раз, когда он видел меня в храме, он со значением поднимал к лицу правую руку и тщательно накладывал на себя крестное знамение. И мне стало жалко, что Женя Попов отказался тогда крестить своего Васеньку вместе с Ч. Какая бы это была трогательная, символическая христианская картина: и лев возляжет рядом с агнцем!

Вскоре Ч. умер и был отпет и погребен по христианскому чину. Там его встретит Господь, Который Сам невзирая на лица будет отделять овец от козлищ. Все смешается и все разделится: эти встанут одесную, а те ошуйцу Его — НТС, КГБ, ЦРУ, «наши» и «немцы», партийцы и беспартийцы, красные и белые, черные и желтые, оранжевые и зеленые, розовые и голубые... И где-то среди них — мы все.



Пять месяцев любви

В сентябре 1996 года моему мужу позвонила из Парижа Марья Васильевна Розанова – жена писателя Андрея Синявского и сказала, что Синявский умирает, его парализовало – рак дал многочисленные метастазы, в том числе и в мозг, и единственное, чего он хочет, – это чтобы отец Владимир его перед смертью поисповедовал и причастил.

– Торопитесь, – прибавила Марья Васильевна, – речь идет о днях, если не о часах.

С Синявскими мы дружили, и болезнь Андрея Донатовича была для нас настоящим горем. Отец Владимир был бы и рад тут же сорваться с места и полететь к умирающему другу, но – как? Он только что вернулся из отпуска, из которого его с нетерпением ждал настоятель, все это время служивший в храме один, так что вряд ли теперь он его отпустит. Это – раз. Французской визы нет – это два. Билета во Францию нет – это три. А четыре – это то, что элементарно на этот билет нет денег.

Мой муж и сказал Марье Васильевне:

– Это невозможно.

А потом сразу прибавил:

— Ждите меня. Я его еще и пособорую.

И в полнейшем недоумении положил трубку.

Меж тем еще накануне к нам собирался зайти наш приятель еще по Литинституту Андрей Чернов. Вскоре он и возник на пороге, ведя за собой неизвестного, скромного на вид и ничем не примечательного человека.

Выяснилось, что это — начинающий банкир, который хотел бы пожертвовать небольшую сумму денег, а именно 500 долларов, на какое-нибудь доброе дело. Для этого он и просил Чернова привести его к священнику, чтобы тот рассудил.

Отец Владимир рассказал ему про умирающего Синявского, который нуждался в последнем причастии, и начинающий банкир с удовольствием выложил деньги на стол:

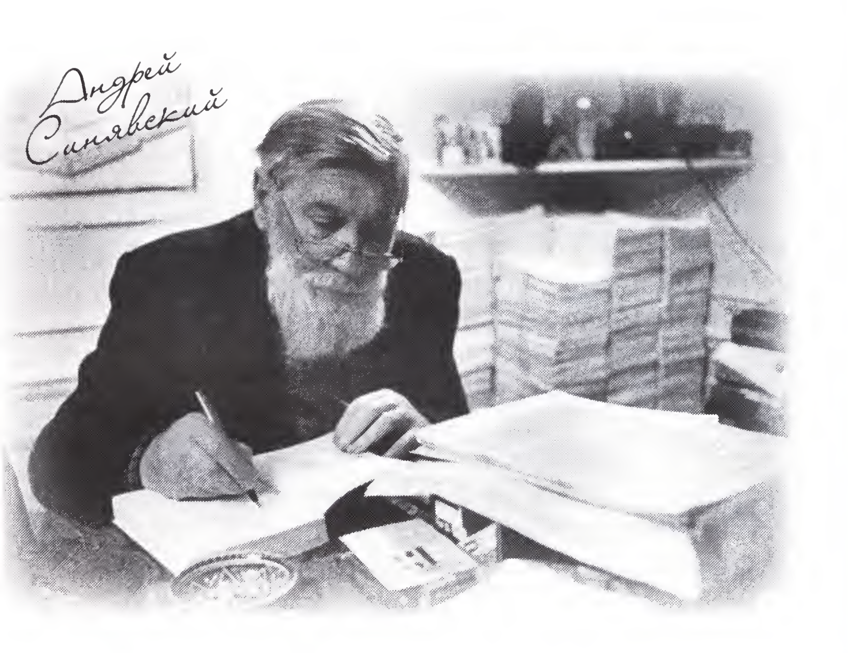
— Я так и знал, что вы мне посоветуете потратить их на что-то достойное!

Итак, деньги отцу Владимиру на билет были найдены.

В то же самое время, пока он разговаривал с банкиром, мне позвонил также мой институтский приятель, главный редактор журнала «Стас», и попросил срочно в номер написать эссе об Ахматовой.

— Деньги заплачу сразу же, не дожидаясь выхода журнала, как только принесешь эссе.

На следующий день я привезла ему написанное за ночь, и он протянул мне три стодолларовых бумажки. Получалось, что деньги были и на мой билет, и очень кстати, поскольку и мне хотелось попрощаться с любимым писателем. Да к тому же отец Владимир чувствует себя во Франции весьма



беспомощно, поскольку не говорит по-французски, так что лучше уж мне быть рядом с ним...

К слову сказать, это был единственный раз, когда мне платили такие деньги за эссе и выкладывали их передо мной тут же, не дожидаясь выхода номера.

К счастью, атташе по культуре французского посольства был тогда милейший человек русского происхождения – Алеша Берулович, а его помощницей – Аник Пуссель, с которой мы дружили. Узнав об умирающем Синявском, они помогли нам в тот же день сделать визы, мы забронировали билеты, и дело оставалось только за настоятелем храма отцом Максимом... Могла быть такая ситуацию, что он, даже при всем своем желании, не смог бы отпустить отца Владимира: в храме должно совершаться богослужение, а если у отца Максима лекция в Академии, а отец Владимир вовсе уедет, то служить

окажется и некому. Это мой муж прекрасно понимал и поэтому звонил своему настоятелю не без сердечного трепета. Но тот неожиданно спокойно сказал:

— Конечно, поезжайте.

Словом, если Господу угодно, Он сделает невозможное: через три дня после звонка Марьи Васильевны мы уже сидели у нее дома на Fontenay-aux-Roses.

— Синявскому совсем худо,— сказала она.— Каждый день что-нибудь новенькое — то нога отнимется, то рука — опухоль все разрастается и давит на мозг. Тут собирался консилиум врачей, и они не дают ему больше нескольких дней жизни. А в довершение всего он сильно простудился: этой ночью спал с открытым окном, у него свалилось на пол одеяло, и он не смог его поднять. Только я уж вас прошу — не говорите ему, что он умирает. Когда он услышал, что вы его пособоруете, то испугался — ведь соборуют же перед смертью? Он даже заставил меня прочитать об этом в энциклопедическом словаре, правда, там написано, что это делается для исцеления...

— Во исцеление души и тела,— подтвердил мой муж.

Отец Владимир поднялся в кабинет Андрея Донатовича, который был на втором этаже, и они там долго беседовали, потом Андрей Донатович поисповедовался и пособоровался, и мы отправились к отцу Николаю Озолину, священнику, который служил и преподавал в Свято-Сергиевом Богословском институте, чтобы попросить у него на завтра Святые Дары.

Пока мы шли к институту, откуда-то стал раздаваться страшный пульсирующий звук: бук-бук-бук-бук, который все нарастал и нарастал, а навстречу



нам стали попадаться странные подпрыгивающие молодые люди, у которых на голове были рога. Они были и прикреплены специально, и вылеплены из собственных волос, а сзади между ног болтались мерзкие хвосты. Таких подпрыгивающих и извивающихся рогатых и хвостатых людей становилось все больше и больше, пока бульвар не заполонила целая толпа, в гуще которой показался автобус, из которого и доносились усиленные до невозможности динамиками эти «бук-бук-бук». Оказалось, что это была демонстрация против приезда во Францию папы Римского, и вот ад восстал. Лица демонстрантов были вымазаны черной сажей, сами они подпрыгивали и кривлялись, выбрасывая вверх два пальца, сложенные латинской буквой V: victory, victoire. Победа.

– Это бесы, – догадались мы, прижимаясь к домам, чтобы те не растоптали нас.

Наконец мы добрались до отца Николая, и он пообещал на следующее утро после литургии дать для Синявского Святые Дары.

Возвращаясь обратно, на одной из узких парижских улиц мы столкнулись лицом к лицу с нашим другом – профессором Кротовским и его женой. Профессор Кротовский – врач от Бога, и он много лет

совершал чудеса хирургии, спасая людей от смерти и инвалидности. Узнав о Синявском, он очень опечалился и захотел самолично взглянуть на его рентгеновские снимки и результаты анализов — а вдруг все-таки парижские врачи что-то преувеличивают? Вдруг есть хоть какая-то надежда? Вдруг все не так плохо?

И мы поехали с Кротовскими к Марье Васильевне. Но — увы! — как только он взглянул на снимки и изучил бумаги, глаза его потухли и он сказал:

— Это даже хуже, чем я ожидал... Счет, действительно, пошел не на дни, а на часы.

На следующий день отец Владимир причастил Андрея Донатовича, и мы улетели в Москву. А еще денька через два звонит нам Марья Васильевна и подзывает к телефону отца Владимира.

— Ну все, — подумали мы. — Вечная память!

Однако Марья Васильевна совсем иначе повела свою речь:

— Вигилянский, — сказала она довольно игриво, — угадайте, кто это сейчас сидит передо мной на кухне и пьет чай?

— Не знаю, Марья Васильевна, это может быть кто угодно — от Горбачева до Лимонова.

— А вот и нет, — бодро откликнулась она. — Передо мной сидит... Синявский. Он сам сегодня спустился со своего второго этажа на кухню и теперь сидит передо мной! Но мало того — ему сделали новые рентгеновские снимки головы, и на них опухоли — нет! Врачи сами не могут ничего понять!

…Больше пяти месяцев Андрей Донатович вот так — спускался пить чай на свою кухню, работал над последним романом, встречался с друзьями, прощался с этой жизнью и готовился к новой. К нему несколько раз приезжал со Святыми Дарами отец Николай Озолин и причащал его.

Отец Владимир так ему и говорил:

— Вы будете жить столько, сколько в вас будет стремления идти к Богу.

А сам, стоя перед умирающим человеком, поеживался от собственного дерзновения.

Умер Андрей Синявский 25 февраля 1997 года.

Один наивный человек, услышав эту историю про пять месяцев жизни, воскликнул:

— Но почему же так мало?

А на самом деле это и не мало, и не много, а ровно столько, сколько потребовалось Господу, чтобы забрать его, смиренного, кроткого, готового, созревшего, как превосходный плод, к Себе в вечные свои обители.

Но и отец Владимир после этого укрепился в своей вере в чудесную силу церковных Таинств — врачующих, исцеляющих и веселящих сердце страдающего человека.

Тайны загробного мира



В евангельской притче о богаче и Лазаре о возможности общения живых и мертвых так прямо и говорится устами Авраама, покоящегося на своем «лоне Авраамовом»: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».

И все же порой происходят дивные вещи... Вон сколько невероятных историй, свидетельствующих о тонкости, а то и прозрачности перегородки, которая разделяет тот мир с этим, собрал в книге «Тайны загробного мира» архимандрит Пантелеимон. Или – священник Григорий Дьяченко в двухтомнике «Из области таинственного» поведал нам о множестве странных свидетельств, когда мертвые подавали живым, которых они продолжали любить, судьбоносные знаки. То они предупреждали их об опасностях, то сами просили помощи, а то и просто посылали весточку любви! Брат являлся брату, возвещая о своей кончине, сын – матери, предупреждая о ее скором отбытии в мир иной,

и умерший муж – жене, прося ее сугубого молитвенного воздыхания.

И что это такое было, есть и будет – визионерство живых или ангельское утешение скорбящим – Бог весть! Но такие случаи совершались и с моими близкими людьми – совсем рядом.

Марья Васильевна Розанова и ее муж Андрей Синявский прожили вместе около пятидесяти лет. И, конечно, Марья Васильевна в нем просто души не чаяла – так крепко она его любила. И вот он умер...

Его отпели, и она его похоронила на кладбище в Fontenay-aux-Roses, неподалеку от их дома.

Минула зима, наступила весна, таянье снега, половодье рек, птички запели, забили фонтаны, засверкали в них золотые рыбки... А Марье Васильевне тяжело на душе, неспокойно – Синявский чуть ли не каждую ночь является ей в тонком сне и выглядит неважно, болезненно: явно плохо ему там, мучительно, вот и просит ее о чем-то.

Не выдержала Марья Васильевна, отправилась на кладбище, а в качестве переводчицы взяла русскую парижанку, свою старую приятельницу.

Пришли они к кладбищенскому начальству, и Марья Васильевна стала настаивать, чтобы разрыли могилу ее мужа, потому что ей необходимо удостовериться, все ли у него там в порядке.

Ну, этот похоронный начальник только руками развел: это такая сложная процедура!.. Да и что она там хочет увидеть? К тому же мадам сама захотела, чтобы ее мужа погребали в земле, а не захоранивали в склепе: по весне-то могилу раскапывать особенно сложно: а ну как грунтовые воды поднялись – ройся теперь в этой жиже!



Но Марья Васильевна была непреклонна:

— Я чувствую, что Синявскому там плохо! Что-то случилось… нехорошее… Просто так он бы в таком смятенье ко мне не пришел!

И что же? Повздыхал-повздыхал этот начальник кладбища, покачал головой, поцокал языком, но — делать нечего — назначил день эксгумации. Столпились могильщики над захоронением русского писателя, а рядом с ними — верная Марья Васильевна с приятельницей.

— Мадам, просим вас отойти — это зрелище не для слабонервных! — попросил ее начальник кладбища. — Могильщики сами увидят, если там что-то не так… Вам не надо туда заглядывать.

— Вот еще! — возмутилась Марья Васильевна. — Для того ли я с моим мужиком прожила полвека, чтобы теперь, в трудную минуту, его оставить! Копайте.

Могильщики принялись рыть землю и уже изрядно углубились, как Марья Васильевна услышала — сначала робкий и тихий, а потом все более громкий, внятный и многоголосый возглас: «Police! Police!».

Она заглянула в вырытую могилу и ужаснулась: грунтовые воды подмыли гроб, да так, что крышка с него не только съехала вбок, но еще и треснула, так что оттуда показалась внутренняя обшивка...

— Ну вот! — сказала Марья Васильевна.— Не зря же он приходил! Вон как ему там скверно!

Приехала полиция, гроб вытащили, переложили в новый и захоронили, на сей раз — в склепе. И Андрей Донатович перестал являться в тонких снах своей любимой жене. Она поняла это так, что он успокоился и водворился наконец в месте сухом, в месте светлом, в месте злачном, в месте покойном. В таком месте, откуда «отбеже болезнь и воздыхание».

...На это снова и снова хочется утверждать, исполняясь смыслом этих слов: воистину «Бог не есть Бог мертвых, но живых»!

Августин



Об этом я написала уже целую поэму. А наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон, который был одним из участников этой истории, – свои воспоминания. И тем не менее мне хочется еще раз вернуться к этому сюжету и рассказать его так, как его увидела я.

Приехала я как-то раз в монастырь к моему духовному отцу. А он смотрит на меня обескураженно:

– Как, вы приехали? А я как раз к вам молодого монаха послал. Отшельника с Кавказских гор. Помогите ему, а то у него нет паспорта, а без документов его не принимают в монастырь – он уже и в лавре был, и здесь хотел остаться, но – никак! Придумайте что-нибудь, чтобы перевести его на легальное положение! Зовут его – Августин. Человек высокой жизни. Я сам просил его пустыннических молитв.

Для меня слово моего духовного отца было закон. Поэтому я отправилась восвояси спасать этого молодого монаха. Вернулась, а он уже у нас на кухне сидит, с детьми моими чай пьет, а вокруг – несколько человек в подрясниках – священники,

иеромонахи — дожидаются его рассказов о подвижниках Кавказских гор.

История его была такова.

В семилетнем возрасте он был увезен из Москвы матерью в Кавказские горы, где они и начали свой подвижнический путь под руководством некоего духовного отшельника-старца. Он постриг мать, постриг мальчика, и жили они так милостию Божией, крепкой молитвой да трудами рук своих — сажали огород, разводили пчел, были у них и козы, и коровки, и даже кошки. Когда Августину исполнилось шестнадцать лет и вроде бы пора было уже получать паспорт, старец не благословил этого делать и сказал, что он сам этот свой антихристовый документ давно уничтожил. Тогда уничтожила его и мать Августина. Просто взяла и сожгла. Так было принято у кавказских отшельников, потому что видели они в серпастом и молоткастом советском паспорте антихристову печать.

Старец вскоре мирно почил в Бозе, и они остались одни-одинешеньки, но продолжали жить, как и при старце, — молитва, посты, труды.

Но дело в том, что какими бы крутыми ни были тропы, ведущие в их смиренную келью, а все же кое-какие бродячие монахи, паломники, охотники, бродяги и разбойники там встречались. Повадились к ним такие головорезы, омусульманившиеся греки, — и то козу утащат, то бочонок меда, то картошку всю унесут.

И вдруг произошла какая-то темная история: одного из этих греков подстрелили, и они заподозрили, что убийцей был охотник, который заходил в хижину Августина и его матери. Туда они и нагрянули, чтоб его схватить и убить. Однако он уже



ушел куда-то по своим тропам, Августин чинил мост через пропасть, а мать была одна. Они стали ее пытать, куда ушел и когда вернется охотник, и даже пригрозили изнасиловать, если она не скажет. Старая монахиня так была потрясена их угрозами, что воскликнула:

— Лучше меня сожгите живьем, чем такое!

И тогда один из них, видимо для острастки, ткнул в нее горящий факел. Потому что когда она вдруг вспыхнула, они испугались и принялись ее тушить. Но на ней было много чего накручено и наверчено — подрясник, ряса, огонь полыхал вовсю, воды поблизости не было, и они в ужасе бежали.

Августин как будто что-то почуял — настойчивый и внятный помысел заставил его бросить

неоконченную работу и возвращаться домой. Издали он увидел этих четверых, которые торопливо спускались по тропинке, ведущей от хижины, и узнал своих мздоимцев. Но и они заметили его. Мать он застал еще живой: умирая, она корчилась на земляном полу, но успела его благословить и велела бежать из этих мест.

История эта подлинная, о ней я не только слышала от Августина на своей кухне, но и читала впоследствии в книге «На горах Кавказа».

Итак, он похоронил мать, спустился с гор, направился в Сухуми, прямо в храм, где трудились знакомые монашки. Прожил у них несколько дней, а они ему и говорят:

— Небезопасно тебе здесь оставаться. Ищут тебя. В храм уже приходили серьезные люди — все тебя высматривали, выспрашивали о тебе. Вот тебе денег, и отправляйся-ка ты в Троице-Сергиеву лавру. Там и по сей день старцы духовные есть.

Он так и сделал. Приехал в лавру, пошел к старцу Кириллу, к старцу Науму, а те ему говорят:

— Вряд ли тебя здесь примут в монастырь без паспорта. Очень уж за нами власти надзирают. Поезжай-ка ты в Псково-Печерский монастырь — там у них повольготнее. Может, возьмут тебя.

Он так и сделал. Побывал у одного из печорских старцев, у моего духовника, познакомился и с другими монахами. Старец попробовал было о нем с наместником поговорить — так, мол, и так, добрый инок, а паспорта нет. Но наместник — тогда был архимандрит Гавриил — отказал наотрез. Что делать? Мой духовник сжалился над ним и послал его в Москву — к нам: а вдруг мы тут у себя в столице что-нибудь придумаем?


Псково-Печерский
монастырь

Итак, как только Августин поселился у нас дома, сразу же на него, как на подвижника с Кавказских гор, слетелось множество благочестивого народа. Тут были и лаврские монахи, и московские священники, и просто ревностные миряне, чающие жития ангельского.

Будущий наместник московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон, а тогда Гоша Шевкунов, тоже был среди них. Всем хотелось послушать отшельнических историй, приобщиться святости жизни, вдохнуть благодати.

А смиренный чернец все рассказывал, рассказывал, поднимая на благоговейных и благодарных слушателей чистые голубиные глаза.

Однако пора было и что-то делать для него. Самый простой путь был просто пойти в милицию и рассказать: так, мол, и так. Жил монахом в высокогорной пустыне, где паспортов не выдают, поэтому просрочил с получением, так давайте же исправим положение. Если нужно заплатить штраф, заплатим штраф.

Но этот вариант пришлось тут же и отмести. Потому что времена были еще советские и власти охотились за монахами, которые проживали без паспортов в недоступных и непроходимых Кавказских горах. Надо было знать тропы, чтобы туда взобраться, а в это милицию никто не желал посвящать. И если бы даже Августин пошел и сдался, его бы заставили выдать эти потайные тропы и указать, где именно живут старцы.

А кроме того — ему было уже 20 лет, и ему грозили уголовные статьи за нарушение паспортного режима и уклонение от воинской повинности, а затем, быть может, и армия. Но как монах он никак не мог

выполнять свой воинский долг с оружием в руках. Значит, поход в милицию отпадал. По крайней мере просто так, с улицы. Но можно было попробовать зайти с другой стороны. То есть — по блату.

Единственным знакомым человеком, который имел хоть какие-то связи с Министерством внутренних дел, был знаменитый писатель-детективист Аркадий Вайнер — он до своего писательства работал в МУРе. Он жил со мной по соседству, через подъезд, дружил с моими родителями и любил мои стихи. Я и отправилась к нему. Он слушал меня с нескрываемым интересом — видимо, ему не приходилось сталкиваться до этого дня с сюжетами подобного рода — отшельники, подвижники, охотники, омусульманившиеся греки. Экзотика! Но в конце концов он решительно сказал:

— Нет, сдаваться ему никак нельзя. За него возьмутся не только милиционеры, но и комитетчики. Будут прокручивать по каждому нераскрытому уголовному делу на всем Кавказе — там знаешь сколько «висяков», ну и найдут, что на него списать. А попробуйте-ка пойти по пути психиатрии: потерял память, мать погибла — что, как, где — ничего не может вспомнить. Подержат его, подержат, а там и выпустят, выправив паспортину. Хорошо бы, конечно, знакомого найти психиатра, чтобы все это происходило под его присмотром, а то заколят его, заширяют — в самом деле утратит и память, и всякое соображение.

Был у меня такой психиатр, светило психиатрической науки, написавший диссертацию о психологической реабилитации космонавтов. Вел он себя, впрочем и выглядел, как персонаж известного анекдота, — все время почесывался, поплевывал,

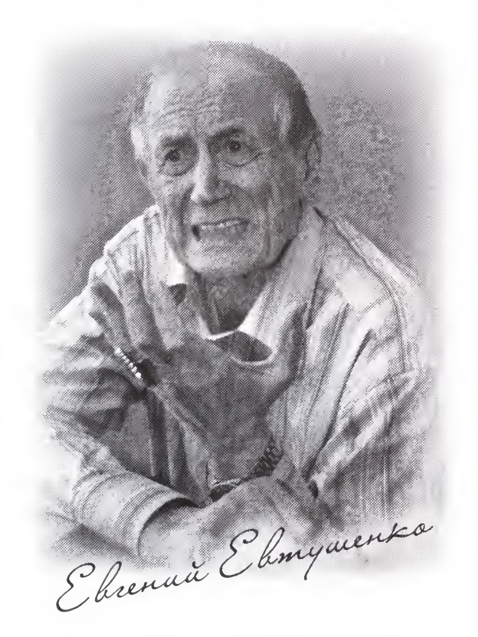
похрюкивал, посвистывал, похрапывал, заикался да еще и время от времени косил к носу глаза. Выслушав историю Августина и предложение прославленного детективиста о потере памяти, он тут же все забраковал.

— Да там теперь такие тесты, что он и не захочет, а всю информацию выдаст. И что? Вцепятся в него, как в лакомый кусок, станут на части рвать. Ведь это какой случай: человек, выросший в природных асоциальных условиях, ни советской власти не нюхал, ни советской школы. Маугли, можно сказать. Будут его мои коллеги изучать, писать на нем диссертации, совсем замордуют, еще и религиозный бред припишут. Нет, к психиатрам ни в коем случае ему нельзя.

Хорошо. Тогда, быть может, нас выручит какой-нибудь высокопоставленный или знаменитый человек, имеющий выход в верхи. Напишет какое-нибудь ходатайство: прошу в виде исключения... учитывая мои заслуги перед Отечеством... Кто это может быть из тех, до которых я лично могла бы добраться? Алла Пугачева? Булат Окуджава? Космонавт Севастьянов? Спортивный комментатор Николай Озеров, живший аккурат под нашей квартирой? Герой Советского Союза Генрих Гофман? Муслим Магомаев? Короче — Евтушенко. Он — заступник, всегда подписывал письма в защиту, какие я ему приносила. Пусть и на этот раз защитит бедного монаха.

Я и позвонила Евгению Александровичу, чудом застав его в Москве — он откуда-то только-только вернулся и должен был вот-вот куда-то уезжать, а в этот — единственный — вечер у него была назначена встреча с английским классиком Грэмом Грином в банкетном зале ЦДЛ. Вот я туда и пришла.

Села между ними и повела непринужденный разговор. Между прочим, Грэма Грина я читала в оригинале еще в школе и потому чувствовала себя как бы в своем праве вот так запросто и без приглашения восседать рядом с английским классиком: я же читатель как-никак!



Наконец Евтушенко спросил:

– Ну что у тебя такое срочное?

Я рассказала.

– Хорошо, – откликнулся он. Кажется, ему даже понравилось, что я обращаюсь к нему со столь авантюрным сюжетом. – Но официально у нас ничего не выгорит: ты преувеличиваешь мои возможности.

– Тогда давайте попробуем вариант с фальшивым паспортом, – предложила я. – Не может быть, чтобы вы, народный поэт, не знали нужных людей.

Польщенный, он даже порозовел.

– Ладно, – глядя в сторону, как бы конспиративно, сказал он. Прикрыл рот ладонью и из-под нее процедил: – Я сведу тебя с моим шофером – может быть, он справится...

– Принеси мне любой паспорт на мужское имя, чей угодно, и фотографию этого твоего, – кивнул шофер. – Я отдам куда надо, там прежнюю фотографию сведут, эту приклеят, а печать подрисуют.

— Как, и все?

— И все.

— А где же я возьму этот любой паспорт на мужское имя?

Он пожал плечами:

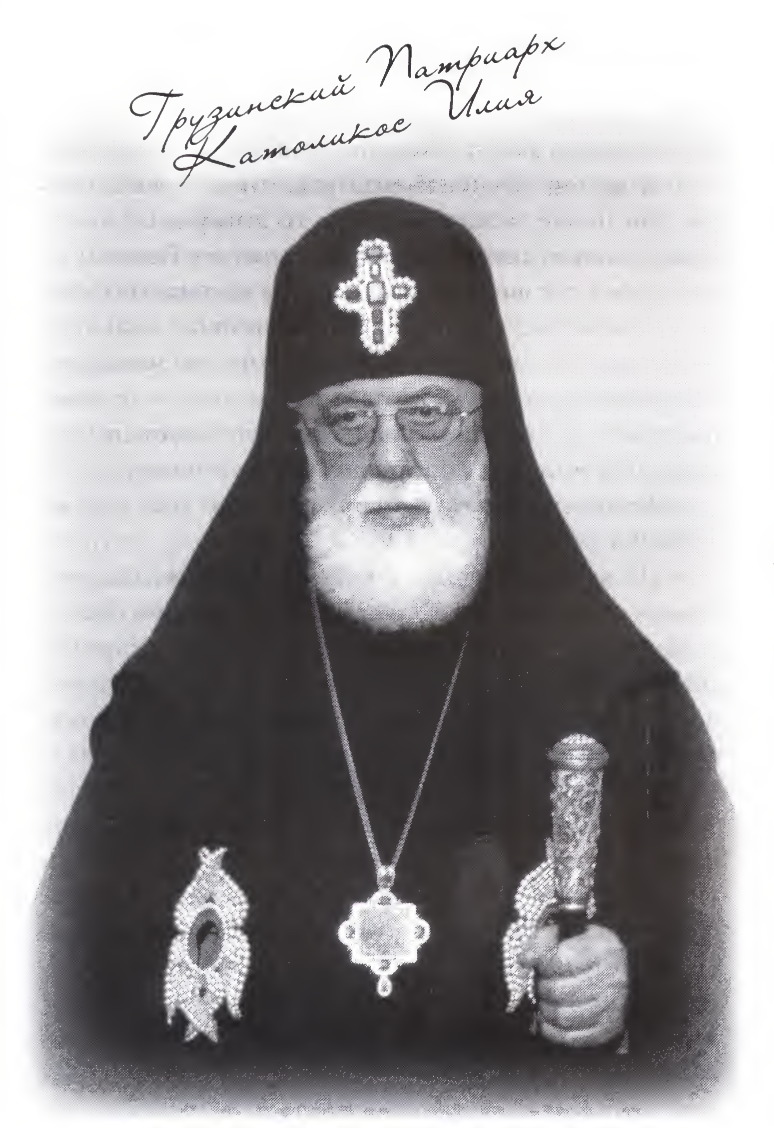
— Это уж твое дело... Не знаю. Укради у кого-нибудь...

Я стала мучительно соображать, у кого бы мне украсть этот паспорт, да так, чтобы это обошлось как можно безболезненнее для его владельца, но тут план по спасению Августина переменился.

Друг будущего наместника Сретенского монастыря архимандрита Тихона, а тогда — просто Гоши Зураб Чавчавадзе был родственником Грузинского патриарха католикоса Илии. И он предложил самолично отвезти к нему Августина: как-никак Кавказские горы — это его каноническая территория, да и с выдачей паспорта смиренному монаху там все могло обойтись без лишних вопросов.

План был единодушно принят всеми лицами, принимавшими участие в устроении его судьбы, и Августин должен был в скором времени отправиться вместе с Зурабом и Гошей в Тбилиси. До спасения Августина оставались считанные дни...

Отъезд, однако, несколько откладывался по техническим причинам: Гоша, который работал тогда в Издательском Отделе Московской Патриархии, стоя у истоков православного кино, как раз снимал фильм о России и Грузии — православные народы-братья, Россия — хлеб, Грузия — вино, а в Таинстве Евхаристии они претворяются в Тело и Кровь Христовы. Вино он собирался снимать в Грузии, а вот русский хлеб, то есть колосящуюся пшеницу, снять он опоздал: урожай был уже собран. И единственное



место, где еще колосились последние несжатые полоски, была Омская епархия. Ехать туда надо было срочно, а не то — исчезнет и это: будет сплошное снежное поле. И Гоша улетел.

А тем временем Августин, подтачиваемый неопределенностью и ожиданием, начинал томиться. К тому же ему начинало казаться, что его пытаются так или иначе загнать в тупик: то я выразила удивление, почему он так неуверенно читает Псалтирь, в то время как шестопсалмие идет у него как по маслу. То мой муж стал недоумевать, почему он, коль скоро до семи лет жил в Москве, не помнит ни названия улицы, ни станции метро... А кроме того — почему говорит с ростовским акцентом. Тут Августин смутился. Но мой муж сам пришел ему на помощь:

— А может, старец твой так говорил? Был родом с юга России?

— Да-да, — обрадовался тот. — Он как раз и был оттуда. А я — за ним повторял. С-под Ростова он был.

А тут наш друг — иеромонах из лавры, будущий архиепископ, который приезжал к нам послушать подвижнические рассказы, вдруг стал делиться с нами своими подозрениями: не засланный ли «казачок» этот Августин, не операция ли это спецслужбы по выяснению того, есть ли у Церкви каналы для изготовления фальшивых паспортов...

Все эти флюиды клубились в воздухе, и сам Августин впал в какое-то тревожное, подавленное состояние и целый день свешивался с балкона, что ему категорически запрещалось — ведь его могли заметить в его подряснике, могли прийти и спросить: «Кто такой? Что за поп? Ваши документики?» Потому что дом наш находился под особым наблюдением — напротив жил политический беженец Луис Корвалан, а в непосредственной близости от нас располагалось окно дочки греческого миллиардера Кристины Онасис, вышедшей замуж за советского гражданина.

Августин же — не только свешивался, а еще и громко комментировал прохожих. Увидел девушку в белых брюках из соседнего подъезда, да как гаркнет:

— Ну и корова!

Заглянет в незашторенное окно к дочке американского миллионера и кричит:

— Ишь ты, бесстыжая! Она голая там ходит!

Да еще некий любовный треугольник заметил он прямо под балконом: то подкатит к дверям подъезда плешивый дядька на машине и высадит девушку. Поцелуются они, он и укатит. А только он скроется из глаз, тут появляется парень на мотоцикле. Девушка эта чмок его в щеку, на мотоцикл к нему — скок, и они скрываются в клубах пыли до середины ночи. А на следующий день — опять этот плешивый на своей машине. А девушка как ни в чем не бывало, как будто и не существовало никакого мотоциклиста, к нему в машину — юрк!

И Августина такое женское коварство просто убивало! Он извелся, неся дежурство на балконе. Стал даже в эту девушку комочки земли из цветочных ящиков метать, чтобы она опомнилась. И кто знает, на что решился бы в дальнейшем наш чернец, возмущенный до глубины души, если бы мой муж его от этого не отвлек.

Потому что он решил, пока есть время, отвезти Августина к какому-нибудь благодатному старцу. Пусть духовно укрепится перед дорогой, помолится, поисповедуется у него, получит благословение и с новыми силами отправится к новой жизни.

Старец Серафим Тяпочкин — увы! — уже умер, но в той же Белгородской епархии в селе Покровка жил и здравствововал его духовник, тоже старец — схиархимандрит Григорий.

Архимандрит Зинон, Василий Васильевич, Геннадий Снегирев, Владимир Вигилянский на колокольне в Лавре

Когда-то мой муж, тогда еще просто Володя, был уже в этой Покровке: там расписывал храм наш духовник. Муж мой, собственно, и приехал-то тогда именно к нему. Но в храме никого не было, он вошел в священнический домик – он был пуст. Тогда он прошел в дальнюю комнату, полагая, что кто-нибудь все же может находиться в глубине. Но и там

никого не увидел. Он было повернулся, чтобы уйти, и вдруг услышал:

– Отец Владимир, ты что ж это без молитвы заходишь?

Он огляделся и вдруг увидел на диванчике маленького сухонького старчика. Это и был схиархимандрит Григорий. Ну, насчет «отца» – это мой муж решил, что старчик поюродствовал, а вот то, что он, увидев его впервые, назвал его по имени, было поразительно и непостижимо...

Вот и отправились они с Августином к этому чудесному старцу Григорию. Приехали. Мой муж говорит:

– Вот, отец Григорий, привез вам монаха... Спустился он с Кавказских гор, а там у них не принято иметь советские документы. А здесь паспорт повсюду требуется, даже в монастырь без него не принимают...

Старец поглядел на Августина да только рукой махнул:

– Какой он монах!

Августин смущенно улыбнулся и занервничал. А мой муж решил, что старец так сказал из монашеского этикета. Ну, в житиях святых, у пустынников такое случалось. Допустим, умирает духоносный авва святой жизни, а про себя говорит: « Ну какой я монах! Я еще и не начинал!.»..

Так и старец смиряет Августина. Ему видней, как именно молодого монаха воспитывать...

А отец Григорий меж тем и говорит:

– Обетов монашеских не соблюдает, правило монашеское не выполняет. Самозванец – вот кто он такой! Нацепил на себя чужой подрясник, напялил чужую рясу – вот те на!

Мой муж понимающе закивал, а уж Августин как-то заерзал на месте.

– Вот, думаем его к Грузинскому Патриарху отправить. Благословите! – просительно произнес мой муж.

– К Грузинскому Патриарху? – удивился старец. – А на кой он Патриарху сдался? Пустое!

– Не получится ничего, да? – испугался мой муж.

– Пустое! – опять махнул рукой старец.

– Что же нам делать?

– А чем дурью маяться, сдай-ка ты его в милицию, и делу конец. Сейчас поедешь из Покровки в Белгород, как увидишь первого же милиционера, так и сдай своего монаха ему.

– Ну, – подумал мой муж, – совсем что-то старец чудит.

– Так его же посадят!

– Вот и хорошо, – одобрительно кивнул головой отец Григорий. – Туда ему и дорога!

Муж мой, потрясенный, никакому милиционеру Августина, конечно, не сдал, а привез его в целостисохранности обратно в Москву, к нам домой. Но сам пребывал в сильном смущении.

...А тем временем будущий наместник Сретенского монастыря, а пока что режиссер Гоша, успешно отснял запоздало колосящиеся поля и отправился в сопровождении иподиакона Омского владыки на аэродром, чтобы лететь в Москву. Вылет откладывался, и молоденький иподиакон заметно томился, не решаясь оставить здесь в одиночестве московского гостя, которого ему поручил владыка. Так, бродя по залу ожидания, они подошли к зловещей доске, на которой было написано: «Разыскиваются». И далее шли фотографии преступников.

— А кстати,— оживился вдруг иподиакон, схватившись за возможность завести разговор,— тут у нас был один... мошенник. Устроился работать чтецом в храм, а потом обворовал и храм, и батюшку, который его пригрел: из храма утащил Евангелие в драгоценной ризе, кадило и деньги из церковной кружки, а у батюшки — подрясник и документы: и паспорт, и метрику, и свидетельство об окончании семинарии. А недавно кто-то из наших видел его в самой лавре. Якобы он расхаживал там в подряснике и выдавал себя за монаха Августина. Чудеса!

В тот день мы собирались на проводы Августина — приехал Зураб Чавчавадзе, ждали и Гошу, который только-только прилетел из Омска. Он приехал, таинственный, и тут же увлек моего мужа в магазин:

— Пойдем, купим чего-нибудь, а то у вас никаких угощений!

— Да все есть. Зачем?

Увел. Оказалось — это был такой маневр: он хотел рассказать ему обо всем, что узнал, не вызывая подозрений Августина.

— Надо под благовидным предлогом увезти его из дома и обыскать вещи: вдруг у него там оружие, мало ли что!

Мой муж позвонил нашему другу — иеромонаху из лавры, будущему архиепископу, и попросил его помощи. У него была монастырская машина, и потому он приехал довольно скоро. Он сразу понял свою задачу.

— Меня тут просили посмотреть иконы — правда ли они старинные или это подделка. Ты не прокатишься ли со мной? — спросил он Августина. И они оба уехали.

А мы перерыли вещи нашего монаха и нашли-таки и украденный паспорт омского батюшки,

и метрику, и свидетельство, и крест, и Евангелие в драгоценной ризе, словом, вор был разоблачен и пойман с поличным.

Когда будущий архиепископ с Августином вернулись, будущий наместник Сретенского монастыря всех позвал в комнату, запер ее и так интригующе повел речь, с таким драматургическим мастерством в выстраивании сюжета, что уже этим накалил атмосферу, в которой должна была произойти развязка, сулящая и разоблачение, и катарсис.

Августин сидел красный и напряженный.

– Ну, а теперь рассказывай ты, Сережа – обратился к нему будущий архимандрит.

...Выяснилось, что никакой он не монах и не Августин, а просто Сережа. Служил в армии, работал при складе. А военрук, который был поставлен над ним, – воровал. А тут – проверка. Ну и Сережа этот испугался и сбежал. А служил он где-то на юге России. Куда бежать? Понятное дело – подальше, в горы. Там встретил паломника и вместе с ним добрался до кавказских старцев, у одного из которых подвизался молодой инок, чью историю он и украл для себя. Только звали его не Августин, а Даниил.

Я уже говорила, что недавно вышла книга «В горах Кавказа», где можно прочитать и о нем, и о его матери, которую сожгли разбойники. Так что сама история эта, повторяю, – подлинная. Фальшивым был только герой, который присвоил ее.

Пожил он там с монахами, пожил и очень их полюбил, но они тем не менее попросили его их оставить: работать он не любил, много болтал, кушал с аппетитом, да и вообще был «другого духа». Словом, обременял он их. Дали ему письмо монашкам

сухумской церкви, те купили ему билет, так он добрался до Омска и прямиком направился в храм.

Батюшка его взял псаломщиком, поселил у себя, а тамошний владыка пообещал способствовать в получении паспорта — Сережа сказал ему, что паспорт у него украли, — а затем и постричь его в чтеца.

Но певчая, которая воспылала к молоденькому псаломщику любовной страстью, все испортила. Все приставала к нему, за руки хватала, подарки дарила. А Сережа передаривал ее подарки — или самому священнику, или другим певчим. И это открылось. И она была ужасно оскорблена. Приперла его к стенке — к церковной ограде, когда он там коврики из алтаря вытряхивал:

— Женишься на мне или нет?

А он:

— Не хочу я жениться — я в монахи пойду!

И тут она как заголосит.

Выскочила просвирня, дворник, сторож, сам священник.

А она рвет на себе волосы и орет:

— Он меня блудно осквернил, обещал честным браком грех покрыть, у меня от него теперь дите будет, а он в кусты: не знаю тебя, говорит, и ребенка твоего. Поматросил и бросил!

Батюшка, чистый, целомудренный человек, аж потемнел лицом, услышав такое, взял Сережу крепко за локоть и сказал:

— А ну — женись! А не женишься — я на тебя епитимью наложу да из храма срамника такого выгоню. Еще и владыке нажалуюсь, чтобы без паспорта тебя оставил!

И все стояли вокруг него и ругали на чем свет стоит. И девка эта орала, как оглашенная.

Обиделся Сережа на них. Вернулся в келью, где жил при священнике, и решил — наказать. Взял у него подрясник новенький с рясой, взял Евангелие в драгоценной ризе, храмовое кадило взял. Взял и документики, какие под руку попались. И вдруг сообразил — денег-то у него ни копейки. Работал он в храме бесплатно, жил при священнике на всем готовом, питался в церковной трапезной. И как он теперь уедет? И вот такая мысль у него возникла: деньги он не сворует, а возьмет заработанное, свое, кровное. Зашел в храм, вскрыл церковные кружки, вышел — и был таков.

С тем и прикатил в лавру. Но паспорт священника поостерегся в дело пускать. Из лавры, как мы помним, его послали в Печоры, а оттуда — к нам, в Москву.

...Будущий наместник Сретенского монастыря отвез украденные вещи в Омск и отдал священнику, уговорив его забрать заявление из милиции. Перед отъездом он пришел к нам и вручил лже-Августину книгу:

— На вот, читай!

Книга эта называлась «Преступление и наказание».

Потом к нам приехал будущий архиепископ, который воришку и обманщика поисповедовал. После чего тот отправился сдаваться на милость властей.

Единственное условие, которое мы ему поставили: ни при каких раскладах о Кавказских горах вообще не упоминать. Спросят — а где ты был? Где скрывался? Скажи — был в Омске, в лавре был, был и в Печорах, но в основном жил в Москве. А мы — подтвердим.

К нам потом приезжали следователи военной прокуратуры — сверять показания. Но все концы



у нас сошлись: все то время-де, когда он скрывался в Кавказских горах, он провел у нас дома, в Москве. Мы его хвалили. Следователи признались, что и у них, пока шло следствие, он вел себя образцово и все время повторял, что желал бы уйти в монахи. Да и сама его воинская часть была не заинтересована в том, чтобы за ней числился дезертир, не жаждала его крови. Поэтому дали ему небольшой срок в колонии-поселении, да и оттуда за примерное поведение освободили условно-досрочно.

Вышел он на волю и вскоре принял монашество.

— Больше всего, когда я сидел, — признался он, — я страдал оттого, что с меня сняли подрясник. Чувствовал себя, как Адам и Ева после грехопадения, — нагим.

А схиархимандрит Григорий, который с первого взгляда его и разоблачил, отошел в Небесные обители. Как раз статьей о нем и заканчивается недавно вышедшая книга «Последние русские старцы». Огромный том.



Бог дал — Бог взял



Подвизался в Свято-Троицком монастыре монах Власий. Был он уже не молод, толст, одновременно и сед, и лыс: длинные и редкие седые пряди вокруг кругленькой лысины на затылке, обликом же и лицом – какой-то лесной дедок или, прости Господи, дядька водяной. Нос картошкой, маленькие востренькие глазки из-под клочковатых бровей, на язык скор и язвителен, духом же боевит. Наместник скажет ему слово – тот ему в ответ десять.

А были они похожи с отцом наместником, как родные братья, порой их даже путали. Потому-то Власий и попал в такую немилость, что тот только спал и видел, как ему от него избавиться. А как известно, когда воля человека уже склонилась ко злу, лукавому остается лишь подать ему повод.

Вскоре он и представился. В окрестностях Троицка произошло убийство. Свидетели составили фоторобот и пришли для опознания с этим фотороботом в монастырь. Наместник поглядел-поглядел на эту смазанную картинку, да и сказанул:

– А, так это монах наш. Власий.

— А где его можно найти?

— Да в бане. Банный день у нас.

И вот вломились милиционеры в баню и взяли бедного голого и распаренного Власия прямо с нагретых полатей, где он с наслаждением хлестал себя веничком. Он едва-едва успел наготу прикрыть, как защелкнули на нем наручники и, как матерого преступника, на глазах у всего монастыря потащили в тюрьму.

Ну и, конечно, вскоре все выяснилось — и на фотороботе явно не он, и свидетели не опознали, и алиби у него, и убитого он в глаза не видел. Отпустили его. Вернулся он в монастырь, а наместник его назад не принимает. Якобы за то, что тот пустил слух: наместник сдал его в тюрьму, потому что узнал в фотороботе самого себя.

Что делать? Пригорюнился монах Власий и отправился в Москву, где были у него знакомые из числа паломников Троицкого монастыря. Пришел и к нам — навеки поселиться, оскорбленный, оборванный, нищий, беззубый. Сидел нахохлившись целыми днями — тосковал, переваривал обиду.

Я и решила его развлечь и позвала в гости к моему другу — писателю и путешественнику Геннадию Снегиреву. Приходим, а у него сидит на кухне какой-то мрачный человек, сам в глубочайшем унынии, чуть не плачет. Слово за слово, и выяснилась причина такой глубокой печали мрачного человека.

Было это в начале девяностых, когда только-только зарождался отечественный бизнес и много было в этом бизнесе моментов непредсказуемых, темных и даже криминальных. Но дела нашего мрачного человека с именем Рюрик шли до поры успешно. А тут — все деньги: и какие у него были,

и какие он взял под большие проценты у банка, и какие одолжил у очень серьезных людей,— вбухал он в огромную партию компьютеров. Они прибыли по железной дороге из-за границы. Вроде бы все — и железнодорожники, и пограничники, и таможенники — было схвачено и проплачено. И вдруг — облом: нагрянула ревизия, и весь товар арестовали. Рюрик был разорен.

— Я — покойник! — то и дело констатировал он.— Меня убьют!

— Да не убьют тебя! — махнул рукой Власий.— Я помолюсь, и все тебе вернется и преумножится.

И что? Разошлись они в тот вечер, а через день-другой звонят нашему бизнесмену какие-то официальные лица, приносят свои извинения: мол, так и так, произошла неувязка, заберите свой товар в целости и сохранности. И действительно получил Рюрик свои компьютеры, выручил за них огромные деньги, расплатился и с банком, и с кредиторами и сразу сильно скакнул вверх в своем материальном процветании.

И вот с тех пор стал он держать простого монаха Власия за святого старца, который что ни попросит у Бога, все Господь для него исполняет. Забрал он Власия к себе, на Рублевку, кормит, поит, одевает, зубы ему вставляет, чуть ли не «ваше преподобие» ему говорит. Чувствует себя едва ли не новым Мотовиловым при преподобном Серафиме Саровском...

Живет у него Власий в неге и холе — зубы у него белоснежные, самые лучшие, фарфоровые, как у голливудской кинозвезды. Черный длинный плащ у него из нежнейшей лайки, к нему — и шляпа с мягкими полями, шарф кашемировый, дымчатые очки, швейцарские часы, дипломат, английский зонтик...

Сигары только не хватает в краешке рта да крупного перстня на пальце...

Стал монах Власий выглядеть как этакий заморский дядюшка Сэм: то ли владелец заводов, газет, пароходов, то ли глава мафии, крестный отец. Но только сам Власий вдруг затосковал. Чем более тело тешится, тем более душа угнетается. Стал проситься у Рюрика в монастырь, на свободу, на волю.

А тот и говорит:

– Вас ведь там опять обижать будут. И добраться до вас трудно будет. Лучше куплю-ка я вам квартирку в Эмске – и от вашего родного Свято-Троицкого монастыря это недалеко, и из Москвы какой-нибудь час лету.

Купил ему шикарную квартиру в центре Эмска, в элитном доме над рекой. Обставил ее дорогой мебелью, начинил всякими заморскими диковинами – там и компьютер, и посудомоечная машина, и домашний кинотеатр. Положил платить отцу Власию ежемесячное содержание. С тем тот и переселился на новое место.

И все же Рюрику казалось, что он что-то недодал своему благодетелю, – хотя есть ли такие земные сокровища, которые могли бы сполна оплатить дары духовные? И вот узнал он, что у отца Власия приближается юбилей. И решил устроить ему праздник по полному чину.

На юбилей были приглашены, во-первых, все дружественные монахи из Свято-Троицкого монастыря, но наместник их так и не отпустил. Во-вторых, – знакомцы Власия по Москве. А в-третьих, «новенькие», с которыми он свел знакомство и дружбу уже когда поселился в Эмске. Это были, прежде всего, соседи по элитному дому, которые, прослышав о том, что



возле них поселился «чудотворец», стали обращаться к нему за «пророчествами и исцелениями». А кроме того – знакомые соседей, поскольку слух о нем уже пополз и стал монах Власий, как свеча, которую поставили гореть на высоком месте.

Праздновать предстояло три дня. Всем иногородним были заказаны номера люкс в лучшей гостинице Эмска, железнодорожные билеты в спальном вагоне и памятные подарки с иконками, духовными брошюрами и открытками с видом эмских храмов.

В первый день планировался съезд гостей, экскурсия по святыням Эмска с заходом в храмы, пением тропарей и торжественный ужин в ресторане «Пена» с костюмированными поздравлениями юбиляра. И действительно – поздравлять его вышел сам Петр Первый, дюжий детина в парике и треуголке, одетый соответствующим образом, в голубом камзоле и белых чулках, взятых напрокат в местном драмтеатре. А уж следом за ним к гостям выкатился какой-то странный тип в причудливой старинной

одежде и уже сильно поддатый. Гости гадали, кто бы это мог быть? Называлось имя Колумба, открывателя Америки, Байрона, потому что он покачивался и вроде бы даже хромал, Пушкина — потому что как же без него? Но оказалось, что это некий князь Довмонд, основатель многих славных городов России, в том числе и Эмска.

На следующий день гостей повезли на экскурсию за семьдесят километров в знаменитый Свято-Троицкий монастырь, где Власий появился уже как кум королю и поднес дружественной братии «утешение велие», что на местном монашеском языке означало: подарил им несколько бутылок отменного французского коньяка.

После этого гости отправились на военный аэродром, относившийся к троицкой воинской части, с которого должны были на реактивном самолете подняться в воздух, облететь всю Эмскую епархию и полюбоваться ее красотами с высоты птичьего полета.

А уж на третий день оставался, так сказать, «десерт». Все «веселыми ногами» направлялись на пристань, садились на специально арендованный катер и плыли на нем на остров к старцу. Однако старец был уже стар, очень уж немощен и практически никого не принимал: за этим следили две его келейницы, бойкие на язык и мощные видом. Поэтому гости, подойдя к домику старца, так и остались стоять за штакетником, у запертой на засов калитки.

Меж тем небо посерело, подул холодный ветер, начал накрапывать мелкий дождь. Все сгрудились под большим деревом, крона которого служила на первых порах как навес. Так и стояли, притихшие, жались друг к другу, зябли. И в довершение всего откуда-то с дальних пастбищ сюда прискакал

удалой жеребец. Он, весело цокая, самозабвенно скакал по камням, пока не допрыгался до паломников. И тут остановился, словно пораженный. Поглядел огромным и, как отметили все, лукавым глазом и вдруг выхватил зубами сумочку у дамы из городской администрации Эмска, на правах соседки Власия по его элитному жилью принимавшей участие в юбилейных торжествах. Выхватил и умчался с нею вдаль.

— Сумочка моя, сумочка! — запричитала она.— Все пропало!

Жеребец меж тем обскакал домик старца, скинул по дороге драгоценную сумочку и снова понесся на нас.

— Что же это такое? — заплакала дама из эмской мэрии, также успевшая стать приближенной отца Власия. Она повернулась спиной к подлетающему жеребцу и загородила свою сумочку собственным телом.

Но он залихватски схватил зубами конец шали, болтавшейся у нее за плечом, рванул за него, сдернул с плеча и снова умчал.

— Лошади — это ко лжи! — встревоженно прокомментировал Рюрик.

— Это если во сне увидишь,— поправили его.— А то ж — не сон.

...Так и простояли тогда под деревом. Чувствовалось, что юбилей подходит к концу.

К концу подходил и фавор монаха Власия.

После юбилея, когда все гости уже поразъехались да поразошлись, он по инерции все продолжал свой банкет — то с нищими актерами драмтеатра, изображавшими Петра Первого и князя Довмонда на его чествованиях, то с соседями по дому, то просто

с народом, встретившимся у ларька. Может быть, поэтому его смешной картофельный нос сделался красно-сизым, маленькие глазки стали еще меньше, а язвительный язычок — задиристее. Поговаривали, что он от былого почета впал в прелесть и зарвался. До Москвы доходили слухи, что он при всем честном народе в воспитательных целях отодрал ремнем даму из городской администрации, а депутату местной думы пригрозил псалмом проклятия: «Да взыщет заимодавец вся, елика суть его, и да восхотят чуждии труды его».

Рюрик, взволнованный этими слухами, приехал проведать возлюбленного «старчика» и застал его в окружении разнузданной и ошалелой пьяни и посреди разгрома: повсюду валялись какие-то огрызки, объедки и пустые бутылки. На восклицания потрясенного Рюрика монах Власий резонно ответил, что даже Христос ел и пил с мытарями и грешниками. И все бы, может, в тот раз и обошлось бы для Власия, если бы он не решил опохмелиться. А поскольку Рюрик зорко следил за ним, то и пришлось Власию делать это в уборной, а пустую бутылку — улику — выбрасывать тут же в окно. И надо же было случиться такому искушению, что бутылка эта упала прямо на припаркованный тут же мерседес Рюрика, расколошматив стекло и повредив капот. А поскольку Рюрик с некоторых пор стал ездить с машиной охраны, то его охранники тут же определили, что да как, да откуда, и мгновенно среагировали, вломившись в квартиру и выведя Власия на чистую воду.

Ну и Власий окончательно впал в немилость. Настолько, что Рюрик у него все отобрал подчистую. И самое обидное — крикнул ему в лицо так грубо, так дерзко:



— Не нужны мне теперь твои молитвы! Сам как-нибудь обойдусь! Я вон как поднялся! Реально!

И отправился Власий, посыпая голову пеплом, — гол как сокол, наг в этот мир пришел, наг и отыдеши — туда, где ему и полагалось быть, обратно в монастырь.

Но что удивительно — прошел год, другой, и вдруг Власий получает известие, что Рюрик — вконец разорился. Мало того — сидит под следствием, под подпиской о невыезде, и на него вовсю шьют уголовное дело.

— Обошелся! — комментирует он. — Поднялся! Эх, дурачина: Бог дал — Бог взял!

И многозначительно вздыхает. Вполне, впрочем, благодушно.

Халва



Ехала я как-то раз в Псково-Печерский монастырь с моей приятельницей — дамой очень светской и совсем еще малоцерковной, но очень стремящейся к духовной жизни. Дело было Великим постом, в начале перестройки, когда поститься было очень тяжело, поскольку практически никаких постных продуктов, кроме картошки да капусты с луком, в магазинах не было. А если что-то и было, то в специальных заказах, выдаваемых по талонам, и в тех магазинах, куда эти счастливчики были прикреплены.

К слову сказать, сюда, в Россию, в эту полуголодную пору приезжали православные голландцы, которые то ли учились, то ли проходили практику в Академии при Свято-Троице-Сергиевой лавре. Так они, привыкнув к великопостным голландским разносолам — всяким там орешкам, засахаренным фруктам, громадным креветкам, устрицам, улиткам, лангустам, омарам, крабам и осьминогам, походив в пост по нашим продуктовым магазинам, ужаснулись и возопили велиим гласом:

— Как, вы еще и поститесь? Вы же и так в аду живете!

Так вот, и я, и моя спутница заказы такие — писательские — получали. И поэтому у меня всегда имелись в запасе и гречка, и мука, и пшенка, и рис. Их-то я и везла с собой в Печоры, поскольку останавливаться мы собирались у одной чудесной, но очень бедной монахини, и мне хотелось не то что даже не обременять ее нашей кормежкой, а еще и подкинуть ей продуктов.

Только мы сели в купе, как моя спутница горестно воскликнула:

— Ой, забыла! Забыла!

— Что — билеты, паспорт? — испугалась я.

— Да нет, халву, халву я из писательского заказа дома на столе оставила! Специально же приготовила ее, чтобы взять с собой. А сейчас — как хорошо было бы открыть ее да и поесть с чаем!

Ну ладно, что ж поделаешь! Халвы у меня с собой не было. Попили мы пустой жидкий чай и улеглись спать. Но только она время от времени все причитала:

— Как это я могла забыть! Такая халва отменная, свежая! Через упаковку даже прощупывается, какая она мягкая!

Все эта забытая халва ее уязвляла!

Наконец приехали мы в Печоры, пошли в храм, помолились на литургии, постояли молебен, зашли к моему духовнику и отправились к монахине на постой.

Я бухнула сумку с продуктами прямо на стол:

— Вот, матушка дорогая! Принимайте гостинцы!

Она неторопливо разложила пакеты и пачки по полкам, дала нам похлебать постных щец, а потом налила и чайку.

— И у меня есть чем вас угостить. Сейчас, сейчас.

Она полезла в ящик, достала из него что-то и поставила перед нами... халву. Такую же точно, как из писательского заказа.

— Халва! — изумленно воскликнула моя спутница.

— А откуда, матушка, она у вас? — спросила я.

— Да вчера вечером паломник какой-то пришел — ночевать попросился. Отдал мне эту халву, а сам на службу заторопился, опаздывал уже к началу-то... Но как ушел, так и не возвращался больше. Видно, нашел себе в монастыре для ночлега кое-что получше. А что вас так удивило?

— Да то, что Господь исполнил мое такое маленькое, но неотступное желание, — сказала моя спутница. — Казалось, ну что — потерпи до Москвы. А я Ему все: халва, халва! Литургия, молебен, а я все — халва, халва! И Он наконец: да бери ты эту халву, глупая женщина! Просящему Я даю. Стучащему — отворяю.

— А ты знаешь что сделай? — мягко сказала ей матушка. — Ты съешь ее во славу Божью. Чтобы была — халва, а получилась — хвала! Вот как.



Лукавая луковка



Я замечала, что порой люди пытаются слукавить на исповеди: грехи, в которых особенно стыдно признаться, умаляют, а другие, порой незначительные, крайне преувеличивают и останавливают внимание священника именно на них... Из-за этого бывают всякие недоразумения между иереем Божьим и исповедником, вследствие которых священник может превратно понять ситуацию и даже дать ложное благословение. Конечно, собственно тайны чужой исповеди мне, по понятным причинам, знать не дано. С достоверностью я могу говорить только о себе. Но кое-какие косвенные свидетельства того, что это происходит сплошь да рядом, у меня есть. А кроме того — я задавала этот вопрос моим знакомым священникам и получала подтверждение.

Ну, например, одна моя добрая знакомая, у которой была любовная связь с женатым мужчиной, в течение нескольких лет, исповедуясь старенькому иерею, между прочим очень строгому, получала у него благословение причаститься. И причащалась... Казус здесь был в том, что она среди прочих

грехов каждый раз в придаточном предложении упоминала, что у нее есть бойфренд. А он, очевидно, считал, что это нечто невинное, вроде бультерьера, и снисходительно покачивал головой.

Примерно то же происходит порой и с иерейскими благословениями. Тут многое зависит от того, насколько адекватно, в какой форме и какими словами описывают ситуацию, на которую хотят получить благословение священника, и получают его.

Вот такая история, например. Сижу я как-то осенью одна на даче — муж в командировке, дети в Москве, соседей нет. Пустынно и тихо. Раскочегарила я компьютер, разложила листочки — работаю, никто мне не мешает, сумерки, природа, красота! И вдруг захрустели под моим окном чьи-то тяжелые шаги — собаки, что ли бездомные понабежали? — и мимо моего окна проплыла мужская голова, направляющаяся прямехонько к входной двери. Я, зная, что порой забываю ее запирать, туда. Но — поздно: прямо передо мной на пороге стоит здоровенный парень с огромным рюкзаком.

— Вы к кому? — не своим голосом спросила я с трусливой надеждой, что, быть может, он просто ошибся адресом.

— Я? К вам, Олеся Александровна!

— Да? А вы кто?

— Я у вас на семинаре в Литературном институте вчера был, стихи вам свои показывал.

Я вспомнила. Действительно, подходил он ко мне в институте. Стихи свои давал. Очень плохие. Спрашивал, нельзя ли снять дачу там, где я живу. Я ответила, что не знаю. Никто у нас ничего не сдает...

— И что?

— Вот, решил у вас остановиться, пока чего-нибудь здесь не сниму, — отвечает он. А сам уже рюкзак спустил на пол, силится его в дом втащить.

— Подождите, — преградила я ему путь в дом и указала на стул на веранде. — Я же вам сказала — здесь ничего не сдается. А кроме того — я, кажется, не давала вам согласия на то, чтобы вы останавливались у меня.

— Так меня батюшка благословил! — поставил он меня на место. — Эх, телефон у меня разрядился. Дайте, что ли, зарядное устройство. И что это вы меня все в сенях держите!

Я подумала — может, правда, это мой муж его пригласил пожить у нас, а мне забыл об этом сказать... А он не может позвонить моему мужу за подтверждением, поскольку у него разряжен телефон.

— А какой батюшка? — на всякий случай спросила я.

— Так из храма.

— Из какого храма?

— Да тут, у вас. Я шел мимо храма, дай, думаю, зайду. А там священник. Я у него и спросил, можно ли мне пока суд да дело перекантоваться у Олеси Александровны и у ее мужа, священника. Я у нее стихи писать учусь. Он и благословил.

— А вы сказали ему, что мы с вами не знакомы и что мы вообще вас не приглашаем? Что мужа моего дома нет, и это вообще будет выглядеть как-то двусмысленно, если вы в его отсутствие заночуете у меня?

— Да он торопился. Служба начиналась. Ему некогда было в такие подробности вдаваться. Да и какая разница? Благословил — значит, благословил. Так дадите мне зарядное устройство или так просто



будете сидеть? Вы благословение священника выполнять собираетесь? — в его голосе послышались уже командные нотки.

Я опешила, но тут же взяла себя в руки.

Ох, не был бы он такой нахальный, я бы еще подумала, как быть. Может быть, даже договорилась бы с соседями, которые в тот вечер были в Москве, но хранили у меня ключ от своей дачи... Но тут страх и удивление мгновенно переродились у меня в решимость, и я спросила:

— Как вас зовут и сами вы откуда?

— Я — Гриша. А сам — из Калуги.

— В общем, так, Гриша. Берите рюкзак и идите прямиком на станцию. Там возьмите билет до Калуги и — с Богом! Часа через два уже дома будете.

— А благословение? — нахмурился он.— Где же ваше христианское послушание? Где ваше смирение? Где милость? Может, это Сам Христос пришел к вам в моем обличье, а вы — гоните!

Честно говоря, внутри у меня что-то дрогнуло. Я чуть было не спасовала. И тут он, воспользовавшись паузой, совершил роковую ошибку. Полез в карман рюкзака и достал оттуда пачку листков:

— Вот, вы же не все мои стихи еще прочитали!

И сунул мне в руки свои бездарные сочиненья.

И тут я поняла, кто передо мной. Я все поняла. То был, конечно, собственной персоной лукавый. Ангел сатанин. Искуситель. Бездарность. Попытался принять образ Ангела света, обольститель: «Был бездомен, и вы приютили Меня»! Не может Господь являться в образе наглого графомана!

Я засунула его листки обратно в карман рюкзака и сказала:

– Чужие стихи я читаю только в свое рабочее время в Литературном институте. Вам пора.

– Так мне и вправду идти? Рюкзак вам оставить?

– Зачем мне ваш рюкзак?

– Чтобы мне его сейчас не тащить! Ну, я как-нибудь потом за ним заеду.

– Нет, – отрезала я. – Не надо заезжать. Не надо брать для меня благословений. Не надо приходить без разрешения.

И я с облегчением заперла за ним калитку.

Но бывали случаи и моего собственного трусливого лукавства... Стыдный грех – произнести скороговоркой, мелкий грешок – раздуть и помусолить. Конечно, это происходит почти бессознательно, и понимание этого механизма приходит задним числом.

Итак, был Великий пост. У меня было благословение моего духовника причащаться каждую литургию. Но – готовиться. То есть бывать на вечерних богослужениях по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, каждый раз читать правило к Причастию, исповедоваться и получать разрешение священника. Без соблюдения этих условий причащаться мне было запрещено.

Мой духовник считал, что такой опыт в течение одного Великого поста мне будет чрезвычайно

полезен. И благословение это он мне давал под свою личную ответственность – в те времена было не принято причащаться чаще, чем единожды в три недели, а то и в месяц.

Поэтому исповедоваться мне нужно было каждый раз у разных священников. Но поскольку я теперь подходила к исповеди практически через день, а все остальное время проводила в храме или в келейной молитве, то и круг грехов моих, повторяясь, был достаточно узок. На этом-то я себя и поймала. Самооправдание! Лукавое преуменьшение тяжких прегрешений моих! Вот, пожалуйста: беру же я дома у своей невестки, жены моего брата, с которой мы живем вместе, то несколько картошек, то морковку, то луковицу – ТАЙКОМ. И НЕ ТОЛЬКО НЕ СПРАШИВАЮ РАЗРЕШЕНИЯ, НО И ПОТОМ НИЧЕГО ЕЙ ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРЮ. Хорошо, что батюшке я призналась, покаялась уже, что БРАЛА БЕЗ СПРОСА. А почему не сказала об этом так, как это называется? «ВОРОВАЛА!»

И с тяжким сердцем я отправилась в храм. Встретила в церковном дворе священника, говорю ему:

– Батюшка, дорогой, простите меня! Воровала я!

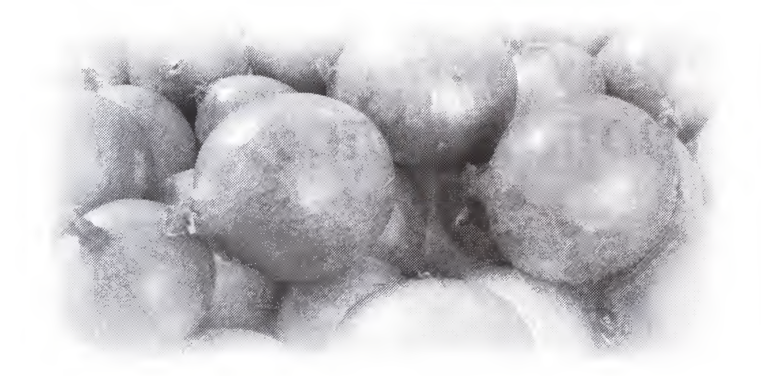
Он аж пошатнулся.

– И что же вы воруете? – сурово спросил он.

– Луковку воровала, – малодушно поскромничала я. И тут же отринула всякое самооправдание и, еле живая от стыда, выдохнула: – Продукты!

– После службы подойдите ко мне, – только и сказал он.

Я простояла всенощную и с замиранием души стала дожидаться батюшку – сейчас он мне еще и какую-нибудь епитимью даст. И поделом! А ты не воруй, воровка!



Через некоторое время батюшка вышел из алтаря и направился прямиком ко мне. Я инстинктивно сжалась...

Меж тем его взор утратил былую суровость и теперь излучал сплошную благожелательность.

Я протянула ему руки для благословения.

– А вы случайно не в торговле работаете? – спросил он, участливо заглядывая мне в лицо.

– Нет, – ответила я.

– Очень жаль, – разочарованно вздохнул он.

Бедный батюшка! Это были такие полуголодные времена, когда ничего купить в магазинах было невозможно – можно было только достать. Вот он и подумал: почему бы этой раскаявшейся грешнице, воровавшей продукты, теперь не помочь батюшке достать в своей торговой сети да хотя бы дефицитной гречки, да хоть бы и длинненького риса, ну и сырку голландского – на разговленье. Не все ж у православных – пост да пост.

...Эх, плакала бы так лучше о подлинных грехах своих! О лукавстве своей луковки, о лицемерии своих морковок и фарисействе картофелин, начавших уже прорастать!

Как у меня пропал голос



Вообще-то изначально голос у меня довольно посредственного качества и для пения не очень подходит. Но в детском саду я вовсю пела, и танцевала, и выступала на концертах, а в школьные годы и в юности училась играть на пианино. И все это продолжалось до тех пор, пока на нашу квартиру, которая была на последнем этаже, не обрушился поистине тропический ливень из чердачных прорвавшихся труб и не затопил нас, попортив мое любимое пианино. Несколько раз потом его реставрировали настройщики – меняли обивку на молоточках, натягивали новые струны, подправляли колки, настраивали, но оно вновь расстраивалось практически тут же после их ухода. Так что на этом мои музыкальные занятия оборвались.

Но петь мне все-таки приходилось. Это было, когда мы с мужем и маленькими детьми жили летом на деревенском приходе во Владимирской епархии, где служил молодой иеромонах, бывший насельник Лавры. Это был 83-й год, храм – печальное зрелище: служить можно было лишь в одном из его приделов,

а остальные пребывали в аварийном состоянии, и никто не собирался его ремонтировать — советской власти это было не нужно, деревенское население было нищим, да и в церковь не очень-то захаживало: на всенощной под воскресенье да на литургии едва-едва набиралось двадцать старух.

Батюшка служил один, некому было читать и петь на клиросе. Ну вот он меня и поставил пономарем да певчей.

Потом я стала жить в Переделкине и ходила в тамошний храм Преображения Господня. А поскольку мы с моим мужем были в дружественных отношениях с настоятелем, то я попросила его благословения читать и петь по будням, со старухами. Вскоре я вполне вписалась в нестройный старушечий хор. Мало того — снискала там даже некоторое признание среди прихожан. Во всяком случае, ко мне подходили богомольные старушки и говорили:

— Как хорошо ты читаешь! Внятно, понятно, все слышно. Спаси тебя Господи.

А то и знакомые по храму женщины отмечали:

— Как вы, оказывается, хорошо поете! Какой у вас голос!

И вот мне уже доверяли читать поминальные записки, кто-то даже просил помянуть на Псалтири своих дорогих покойников и выкладывал вместе с бумажкой — пожертвование.

Словом, я была очень рада своему открывшемуся вдруг поприщу. Ибо очень сладко, “земную жизнь пройдя до половины и очутившись в сумрачном лесу”, начать какое-нибудь совершенно новое дело. Так, я пробовала было рисовать и даже, когда мой муж уехал в командировку, купила себе краски, кисти, холсты, подрамник, после чего дни и ночи

напролет самозабвенно рисовала, воистину — поверх барьеров, как Бог на душу положит, ибо не знала никаких правил, не имела ни малейших навыков, ни даже мизерных способностей: ничего, кроме голого вдохновенья.

Но мой муж, вернувшись, даже не захотел смотреть на мои картины.

— Если женщина под сорок лет забрасывает все свои дела и начинает рисовать, не умея при этом изобразить даже зайчика, даже домик с трубой, то это первый признак шизофрении.

Вот так.

Поэтому своему певческо-чтецкому успеху, пусть хоть в столь тесном, непритязательном и специфическом кругу, я была безмерно рада.

Мало того — мой голос словно бы вырос и окреп и упрочился по мере того как он стал звучать в стенах храма. А уж когда я читала свои стихи, тут уж многие признавали, что выходило и благозвучно, и объемно.

Даже Вероника Лосская, специалист по творчеству Марины Цветаевой и жена отца Николая Лосского, призналась:

— Как ты необыкновенно читаешь стихи! Это просто благозвучное пение...

Но к чему я веду? А к тому, что в начале 90-х в Москве стали открываться монастыри. И в один из них, неподалеку от моего дома, перевели из Лавры моего друга — игумена, с которым мы были знакомы уже очень давно и к которому я часто ездила в Лавру. А кроме того — туда же определили и другого моего старого знакомца, еще по Литературному институту,— священника-бельца. Да еще и наместник монастыря устроил там такие благоговейные,



проникновенные и духоносные богослужения с ангельским пением, с подробными исповедями и емкими мудрыми проповедями, что я стала ходить на службы исключительно в этот монастырь.

Меж тем приближалась Пасха, и мой друг-игумен вместе с другом-бельцом, встретив меня после пасхального богослужения, пригласили следующим вечером отметить вместе этот чудесный праздник. Но у меня дома был в это время ремонт. И поэтому мой муж-священник, мой сын, тогда без пяти минут диакон, и я приехали в монастырь и воссели в келье за угощением и веселящим сердце напитком.

Слово за слово, притча за притчей, поучение за поучением, история за историей, так мы досидели допоздна, пока наконец мой друг-белец не устроился за старинной фисгармонией, которая стояла в келье у игумена. И вот тут началось самое главное.

Запели монашескую песню про самарянку:

— А я ведь са-ма-ря-а-нка!

Потом пошла казацкая песня со множеством куплетов, где повторяется фиоритурное: «это не мое, это не мое».

— Вынесли ему-у –у, вынесли-и-и ему-у, вынесли-и е-ему-у-у

Саблю во-о-о-о-стру-ю!

Словом, голоса все крепчали, набирали силу, объем, пружинили, звучали самозабвенно и радостно, удерживали терцию, сходились в контрапункте, и душа всеми фибрами чувствовала — воистину: что добро? И что красно? Но еже житии братии вкупе!

Наконец церковно-приходской и народный репертуар подыстощился — ну так и советские песни есть совсем даже неплохие. А мой друг по Литинституту, а ныне священник, вон как играет, даже и не смотрит на клавиши — пальцы у него сами бегают. Ну и грянул он, игриво так, задорно. Даже и левой ногой в такт притоптывает. А мой друг-игумен в звонкие ладони бьет.

Душа распахнулась на это открытое поющееся «а», которое даже лучше специально подчеркнуть и вывести «э-а! э-а!», выпорхнула из нее птица Радость, запорхала по монашеской келье:

— Вышел я в такой-то сад.

Там цыгэ-анка-молдавэ-анка

Собирэ-ала виноград!

...И тут дверь кельи тихонько приоткрылась и в ней показалась голова наместника.

Его даже не сразу и заметили:

— Я крас-нею, я блед-нею...

И лишь потом все смолкло.

— Так-так, — сказал он. — Вы хоть знаете, который час? Второй! Стены в нашем монашеском домике вон

какие тонкие – дрожат от вашего пения. Братия уснуть не может. Из окрестных домов люд повысовывался – что там у монахов за дискотека?



В общем, оборвался наш праздник. Уходя с позором, мы сказали наместнику:

– Простите! Простите!

И, втянув голову в плечи, убрались восвояси.

...Через несколько дней я стояла перед крестом и Евангелием на исповеди у отца наместника, которого очень и любила, и почитала.

– Ничего не забыли? – спросил он, когда я перечислила мои грехи.

– Кажется, нет.

Он накрыл меня епитрахилью, прочитал разрешительную молитву, я протянула ему для благословения обе руки...

– А еще вы любите, – не выдержал он, – приходить по ночам в мужской монастырь, пить там вино и во всю ивановскую петь песни, ведь так?

– Простите, – пролепетала я.

...Ну вот. И с тех пор голос у меня – пропал. Ничего не могу спеть. Даже и Символ веры на литургии не дотягиваю до конца... Вдруг замыкает что-то там, внутри, а снаружи раздается только потрескивающий, хрипловатый звук...

И правильно! Не ходи в мужской монастырь по ночам! Не пей с монахами вина! Не пой там песен дивных и прекрасных!

Деньги для Саваофа



Когда мой муж стал священником в середине девяностых, народ был совсем религиозно не просвещен, а подчас и вовсе дик. И с отца Владимира, а заодно и с меня, стали спрашивать «за всю Православную Церковь» во все времена ее существования: почему она гнала протопопа Аввакума, почему участвовала в «сергианстве», почему не раздала нищим по рублику из тех денег, который пошли на строительство храма Христа Спасителя и т. д. Но и этого мало – круг претензий к нам сильно увеличивался за счет братьев католиков: а как же Крестовые походы? А Галилея зачем сожгли? А Жанна д'Арк!

Православных и католиков среднестатическое сознание бывшего советского человека не различало, как двух китайцев, которые казались на одно лицо...

Как-то раз мы пошли с моим мужем в гости, и там слово за слово очень интеллигентная дама, искусствовед, вдруг сказала:

– Нет, в Православную Церковь я теперь ни ногой! Как-то раз мы проходили с подругой мимо

храма. Дай, думаем, зайдем. Только вошли, и тут же прямо к нам как направится священник, идет, да еще на нас дымящимся кадилом машет: мол, пошли отсюда, пошли! Вот я вас! Дым коромыслом! Ну мы отпрянули и — оттуда бегом. А за что он нас гнал?

— Так он кадил образу Божьему, который в вас, — пояснил мой муж.

— Вовсе не образу Божьему! Он замахивался! Ударить хотел! Выгонял!

И много у моего мужа было, особенно поначалу, скорбей, недоумений и просто курьезных случаев.

Пришел как-то к нему на беседу молодой человек с хвостиком — по всему видно: монашествующий. Но не «профессионал» — не монах, а, так сказать, — любитель и по всему — самочинец. И говорит:

— Батюшка, как так получается, что масоны уже не стесняются и повсюду свои знаки расставляют. Что уж говорить — вон даже на иконе Преображения Господня в Благовещенском соборе, в Московском Кремле, — проглядывается перевернутая пентаграмма. А на Суздальском соборе — пятиконечные звезды... А на центральном куполе Архангельского собора — так там тоже... Они — везде, везде!

— Ох, — вздохнул мой муж, — не надо такое уж значение этому придавать — разрежьте яблоко: там вы тоже такую звезду увидите...

— Ну вот, пожалуйста, — оживился молодой человек, — а я о чем говорю — да они повсюду, эти масоны, вон даже в яблоко и то залезли. Интересно, как это им удается?

В другой раз пришел к нему как-то один чудик и произнес:

— А у меня грехов нет.

— Как это нет?



— Да так! Нет грехов. Педагог я.

Мой муж растерялся. Подчас его смущало даже то, что порой приходят к нему на исповедь немолодые уже женщины, пожившие много лет в атеистической советской действительности, знавшие, как говорится, полеты чувств и горесть падений, и каялись они только в том, что у них «нет чистой молитвы». Такие признания казались ему верхом гордыни и лицемерия: то есть во всем эта исповедница считала себя совершенной — всем хороша: и кротость у нее, и смирение, и терпение, и любовь к ближним, и жертвенность, и милосердие, а одного только не хватает — чистой молитвы.

Но с таким случаем, как этот педагог, он сталкивался впервые.

— Ну, даже у святых были грехи,— начал он,— даже им было в чем каяться и о чем сокрушаться! Единый безгрешный — это только Господь!

— Может, у святых были грехи, а у меня нет! — заявил педагог.

— Да? Так, может, вы и в самом деле — святой, — Мой муж решил, что, возможно, такое доведение этой мысли до абсурда несколько отрезвит исповедника.

Но тот не поведя бровью кивнул:

— Может быть. Я и сам об этом уже думал.

Мой муж чуть не поперхнулся, закашлялся даже, потом подумал, что педагог, должно быть, шутит, юродствует, испытывает его, поэтому он двинулся дальше по тому же опасному пути, руководствуясь логикой абсурда:

— Тогда, раз вы святой, может быть, мы на вас молиться будем? Приносите свою фотографию, мы ее вставим в иконостас... Молебен вам послужим! Свечи зажжем! Поклонимся!

Маразматичность такого предложения, казалось, должна была все расставить на свои места — педагог теперь уже мог бы и догадаться, что священник раскусил его юродство, и пришел бы наконец в столь подобающее для исповеди покаянное состояние...

Но тот стоял перед ним и невозмутимо кивал, что-то наматывая себе на ус.

— Раз вам не в чем каяться, тогда ведь вам нет необходимости и в исповеди, и в том, чтобы я разрешал вас от грехов, — сказал священник. — Вы, значит, какой-то уникальный человеческий экземпляр. Никогда на земле не рождалось ничего подобного!

Но — о ужас! — подобное абсурдное предположение педагог воспринял в буквальном смысле!

И что? Мой муж уже успел забыть о странном исповеднике, как через некоторое время тот неожиданно появился с большой папкой в руках.

— Вот, — сказал он, протягивая папку.

— Что это? — удивился мой муж.

— Мои фотографии. Увеличенные. Как вы и просили. Для иконостаса. Чтобы молиться...

Далее последовала немая сцена.

...Часть своего рабочего времени мой муж проводил в пресс-службе Московской Патриархии в Чистом переулке. И вот идет он туда как-то раз и видит, что все пространство перед воротами Патриархии запружено народом: вроде как демонстрация или «стояние».

Увидели его — в рясе, с крестом и стали умолять:

— Батюшка, проведите нас к Патриарху, а то нас милиция не пускает.

— А что такое?

— Вот тут у нас — подписи, воззвания.

— А чего вы хотите? К чему взываете?

— Мы добиваемся, чтобы Патриархия срочно канонизировала Григория Гробового. Он мертвых воскрешал, а на него открыли уголовное дело. А ведь он святой. Вот мы и пришли требовать его немедленной канонизации.

Муж мой вспомнил, что этот Гробовой был какой-то то ли сектант, то ли вообще мошенник, то ли и то и другое: он пообещал убитым горем матерям воскресить их детей, которых убили в Беслане террористы, и уже взял с них за это огромные деньги. Но глядя на этих неистовых поклонников Гробового, которые уже готовы были разнести Патриархию в пух и прах, мой муж понял, что никакие аргументы против их гуру не будут ими услышаны, а лишь еще больше распалят страсти. Поэтому он сказал:

— А что — разве Гробовой умер?

— Как это умер! — возмутились они. — Он жив!



— Тогда его нельзя канонизировать! — ответил мой муж, радуясь, что ловко увернулся от дальнейших разговоров.— Канонизация совершается лишь посмертно.

— А при жизни — что, никак нельзя?

— Нельзя! Не положено,— строго сказал он.— Вот умрет, тогда приходите.

— Так, может, он и не умрет никогда! Может, он бессмертен! — заявила в мистическом восторге одна из женщин.

— А-а! Тогда его нельзя и канонизировать,— заключил мой муж.

И — странное дело: только что они шумели, возмущались, а тут вдруг притихли и быстренько удалились в недоуменье — им надо было срочно взвесить и переварить эту информацию, чтобы выбрать для своего гуру наиболее подходящее, чтобы решить вопрос: что для него лучше — канонизация или бессмертие?

А вскоре туда же, в Чистый переулок, к моему мужу пришел лысый дедок и положил перед ним на стол свою визитную карточку. На ней было написано: Бог Саваоф.

— Ну, здравствуйте, — сказал мой муж. — Зачем пожаловали?

— Мир надо спасать, — горестно вздохнул посетитель. — Мир-то — гибнет!

— Так вы и примите меры, — посоветовал ему мой муж. — Кому как не вам.

— Да вот и надо бы это обмозговать, — стал делиться своими замыслами пришедший. — В Иерусалим собираюсь, а не то ведь погибнет мир-то!

Мой муж сочувственно покачал головой.

— Но — проблемы! — всплеснул руками гость.

— Как проблемы? У вас?

— Ну да. До Иерусалима ведь надо как-то добраться!

— Но вам, я думаю, это не составит труда...

— Это если деньги на билет есть, — доверительно пояснил гость. — А если их нет? А мир — погибает! Так что — пусть себе гибнет, да?

Муж промолчал.

— Жалко мир-то! А я его с такой любовью творил! Так и хочется им сказать: что же вы наделали, эх, подлецы, подлецы! — он даже сжал небольшой сухой кулачок и энергично потряс им в воздухе.

Моему мужу стало жутковато.

— Вот я и пришел в Патриархию, — гость перешел к делу. — Вы вроде бы должны быть заинтересованы, чтобы мир-то не погиб, так?

— Ну да, — кивнул мой муж.

— Так не тяните кота за хвост, дайте же мне на билет в Иерусалим! Где у вас тут бухгалтерия?



И мой муж с облегчением указал ему путь.

...Недавно, убирая у него в кабинете и складывая в коробку визитные карточки, я прочитала на одной из них жирным шрифтом: «Бог Саваоф. Под именем курсивом значилось: Творец. И в левом нижнем углу – адрес. Коротко и понятно: Иерусалим, гора Сион».

Каллопись



Все эти истории, если бы не были мне рассказаны из первых уст, казались бы мне неправдоподобными. Но если оглядеться и присмотреться, то сам этот гротеск сделался уже обыденностью и претендует на статус нормы.

Водитель, который в отместку за то, что его оштрафовал сотрудник автоинспекции, откусил ему большой палец. Откусил и выплюнул. Или людоед, который пригласил по Интернету к себе всех желающих быть съеденными им. Тот, кто откликнулся, посетил людоеда и был действительно съеден — зажарен, сварен и превращен в холодец. «Людоеда людоед приглашает на обед». Или внучка, родившая двух детей от собственного деда... Эти поистине картины ада стали частью повседневности. Так, немного экзотики.

Мой духовник, который занимался проблемой зла, объяснял мне, зачем лукавому понадобился человек — настолько, что он никогда — до самой смерти — не оставляет его в покое.

— Человек,— говорил он,— изначально обладает тем, чего у отца лжи нет: сущностью и даром

творчества. И поэтому человек нужен супостату для того, чтобы паразитировать на его сущности и использовать его творческий дар для создания все новых и новых форм зла.

Когда он говорил мне это, я вспомнила моего приятеля юности Ленечку, который придумал новое направление в живописи и даже поехал с этим своим открытием в Париж. Называлось оно «каллопись» — вроде бы аналог живописи, или «каллография» — нечто вроде «каллиграфии». То есть — прекраснописание, вот как! Ведь «каллос» значит по-гречески прекрасно, красиво, изящно, честно, благородно, славно, доблестно, с честью, благоприятно, успешно, счастливо, справедливо, совершенно, хорошо, отлично, превосходно. Но так — по-гречески.

А у Ленечки это было по-русски, от слова «кал».

Он писал коричневой краской всех оттенков на туалетной бумаге, которую потом комкал и то расклеивал на панно, то делал инсталляции, небрежно кидая ее в корзины. А выставлялось все это в тускло освещенном зале, стены которого тоже носили на себе отпечатки пальцев, измазанных в коричневато-бурой жиже...

Говорят, выставка имела успех, хорошую прессу, поклонников и последователей-учеников. И если бы не запутанные семейные обстоятельства, которые сорвали тогда Ленечку с места и закрутили волчком, — кто знает, может быть, он прославился бы уже на весь мир. Но зато появился писатель, который с удовольствием рекламировал по телевизору продукты жизнедеятельности в качестве полезного продукта питания...

Неужели лукавый даже это не мог придумать самостоятельно, без помощи человека?

Сюжет для сериала



Прихожанка моего мужа как-то раз услышала в храме такой разговор. Говорили женщины, зашедшие сюда помолиться:

— Отец Владимир — это какой?

— Это вон тот высокий монах, у которого жена — поэтесса.

— Что — пишет?

— Пишет, пишет.

И она же — эта прихожанка — недавно резонно заметила мне:

— Что это вы, когда пишете об отце Владимире, всегда называете его в тексте «мой муж, мой муж». Это как-то смутительно и... нескромно.

Я с ней согласилась. И теперь буду называть его, как и положено, «отцом Владимиром».

Когда он начинал служить в храме в середине девяностых, появилось огромное количество мошенников, которые стилизовались под православных людей, попавших в беду и нуждающихся в помощи священника. Но были и такие, которые «косили» под монахов и ходили по улицам с церковными

кружками, собирая деньги якобы на строительство храма. Но их быстро раскусили. И прежде чем опустить им в кружку свою лепту, стали просить их прочитать хотя бы «Отче наш».

Так ко мне подошел один такой расхристанный и красномордый, пахнущий перегаром, зато одетый в подрясник. Я стояла в пробке на Цветном бульваре, а он расхаживал между машинами.

Увидев у меня висящие на зеркале четки и иконку Николая Угодника на передней панели, он закатил глаза:

– Подайте на восстановление храма!

– А «Отче наш» знаешь? А ну прочитай!

Он вытянулся, как школьник, которого вызвала к доске училка, старательно закатил глаза и произнес:

– Отче наш, иже еси неси беси...

И запнулся.

– Ну, – подбодрила я его, – ничего, давайте снова.

– Отче наш, – произнес он вполне внятно.

Я кивнула.

– Биси, ниси, иси, – залепетал он. И кинулся бежать прочь.

...К отцу Владимиру эти мошенники просто повадились. Они приходили в часы его священнических дежурств и рассказывали такие истории, после которых просто невозможно было не дать им денег. При этом он, кажется, испытывал смущение, что давал маловато – не все: кое-что он все-таки оставлял на семью. Ну а как – они приходят, жалкие, замерзшие: «же не манж па сис жур».

Какой-то несчастный иногородний, который назвался настройщиком:

— Вам не надо пианино настроить? Не ел ничего три дня. Уехать в родной город — не на что.

А у нас как раз пианино было в ужасном состоянии после потопа.

Отец Владимир его и привел к нам:

— Вот, работайте.

Но оказалось, что он не один, а с шестилетним сынишкой. Оба голодные. Провели в доме весь день, покушали, а ночевать им негде. У нас и заночевали.

Потом оказалось, что сынишка у него — не единственный. Есть и еще один, меньшой. Папка работает, а сынки — двое — тут под рукой крутятся, играются. Покушать им надо? А малого на ночь и к шестилетнему можно уложить.

Выяснилось, что и жена, мать детишек, тут как тут — в комнате матери и ребенка на вокзале. Та — с грудным младенцем. Ну и их до кучи. Папка работает, молоточки пианинные фетром обтягивает, мать с младенцем гулькает, а сынки в войнушку играют. Голодные-то голодные, а питаться они привыкли, между прочим, как все нормальные люди,— трехразово: завтрак, обед и ужин. А у нас дома не так. У нас на завтрак — кофе, на обед — бутерброд, а пища — только на ужин.

Ну и кормящая мать замечание сделала:

— Питание у вас что-то неважное... Некалорийное совсем. Покушаешь и опять хочется.

Ладно. Пожили они так несколько дней. Молоточки по всему дому лежат, а пианино разобранное выглядит так, что в сердце подозрение закрадывается: а не решил ли этот чудесный мастер переделать его в арфу — сюрпризом? Я и говорю:

— А скоро вы закончите?

А он мне:

– Если по-хорошему, тут на полгода работы, но я за пару месяцев управлюсь.

А младенец – криком кричит, а мальчишки салки затеяли, а у молодой матери – стирка, и вообще мы все здесь со своими чадами и домочадцами – лишние. Мешаем им.

В общем, я и говорю настройщику:

– Спасибо большое. Давайте я с вами расплачусь за всю работу, и мы простимся. А то, что вы не доделали, – ничего. У нас все равно сейчас никто на пианино играть не будет.

А он мне:

– Э, нет. Пока я работу не доделаю, не уйду! Совесть мастера не позволяет.

Дело это кончилось надрывом. Заплатили мы деньги, перевезли семью в храм, где их согласились пустить переночевать в церковный дом. А наутро ничто им теперь не мешало купить билеты в свой родной город и уехать к себе домой. Но все равно получилось, будто бы я во всем и перед всеми виновата: выставила людей с детьми! Там младенец был! Грудной! Питание у меня было для них не качественное! И спать им, между прочим, было тесно. Так что ничего хорошего они от нас не увидели.

Да они никуда тогда и не уехали. Таким же макаром внедрились в другую семью, разобрали там пианино на струны, разбили шатры... Потом след их потерялся.

А вообще истории людей, приходивших за помощью в храм, были типичные — поди, отличи, где правда, где ловкий обман. Все бедствуют, кочуют, голодают, лекарства купить не могут и негде главы приклонить...

Пришла к отцу Владимиру на прием какая-то несчастная толстая-претолстая тетка. Села и расплакалась. Сидит и льет слезы. Наконец кое-как уняла рыдания и говорит:

— Я приехала в Москву с сыночком. В дороге нас обокрали, а сыночек разболелся — жар, лихорадка, нет денег даже на лекарства. А родственники, к которым мы приехали, говорят — может, он заразный, и не пустили нас. Я уже все с себя продала, чтобы только лекарства купить и домой уехать, а так — мы на вокзале живем, не ели уже три дня.

У моего мужа было пятьсот рублей одной бумажкой, он дал ей и попросил:

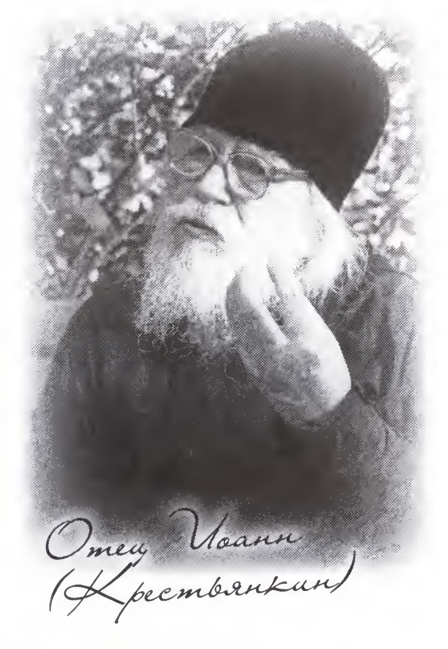
— Пожалуйста, разменяйте у нас в книжной лавке, половину возьмите себе, а половину отдайте мне.

Она взяла, вышла из его кельи да как дунет по коридору и — в открытые двери на улицу. Только ее и видели. И полнота, оказывается, в деле таком — не помеха. И что — врала она или и вправду побежала лечить больного сыночка?

Но были истории затейливые, штучные. Пришел к отцу Владимиру человек с лицом урки. Говорит:

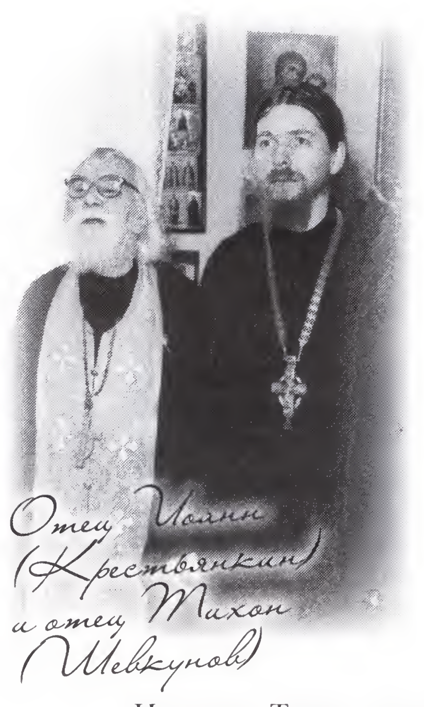
— Батюшка, я вор в законе по кличке Эфа. Я сидел в лагере и недавно освободился. Там, в лагере, к нам приходил священник. И он обратил меня

ко Христу. Но другим зэкам — лютым уркаганам — он был не по нраву: этот-де батя нас тут поисповедует, а потом сдаст ментам. И они его приговорили. Поставили его на ножи. Я об этом узнал и стал им поперек. Но вижу — все равно они его пришьют. Поэтому я его предупредил, чтобы он больше сюда не приходил. И он, действительно, затихарился.



А меня меж тем выпустили на свободу. Я первым делом — к отцу Иоанну Крестьянкину, в Печоры: так, мол, и так. Верую и исповедую. От чрева матери я монах, поскольку имею физический недуг. Благословите в монастырь. Тем паче, что те мои из зоны уже написали маляву на волю, что Эфа-де уже никакой не вор в законе, а ссученный. И они меня на сходку воров в законе зовут. А я знаю, что там они меня и порешат. Что делать?

Ну, отец Иоанн Крестьянкин мне и говорит — на сходку идти тебе не благословляется, а езжайка ты в женский монастырь в Уссурийском крае. Монашкам ты не опасен, поскольку ты — каженник, а там тебя уж точно не найдут. И дал мне денег. Но только — до Москвы. А еще отец Иоанн сказал — придешь в Москве, в храм Мученицы Татианы:



там тебе священник еще денег даст — до самого Уссурийского края.

Что делать? До Уссурийского края у моего мужа, конечно, не было, но сколько было — дал он Эфе. И послал его еще и к отцу Тихону Шевкунову — наместнику Сретенского монастыря. Потому что отец Тихон очень уважал старца Иоанна Крестьянкина, да к тому же монастырь этот был не бедный — во всяком случае, несопоставим с нашей семьей.

Но отец Тихон, как опытный духовник, быстренько этого Эфу раскусил. И по всему получилось, что мой муж просто заплатил ему за сюжет, который тут же и подарил мне.

А потом — и еще один, тоже не без художественной фантазии и артистизма.

Как-то раз, уже вечером, когда дежурство отца Владимира в храме подходило к концу, к нему в келью влетел запыхавшийся человек средних лет, своим видом вроде бы претендующий на респектабельность, но как бы опустившийся. То есть на нем был хороший костюм, но мятый и замурзанный, хорошая рубашка, но с грязными манжетами и воротником, и при этом от него припахивало и перегаром, и мочой.

— Батюшка, вот тут на бумажке номер моего счета в банке — он на предъявителя, банк — прямо здесь, в Романовом переулке... Все деньги с этого счета отдаю вашему храму — Мученицы Татианы. Во дворе Центрального телеграфа стоит моя белая «Вольво» — в ней документы и ключи под ковриком. Берите для храма и пользуйтесь. Я не хочу, чтобы это пропадало! А у вас я прошу только ваших молитв!.. Я сейчас иду на встречу, которая может плохо для меня кончиться. Но уповаю на ваши святые молитвы.

— Да что случилось? — спросил отец Владимир.

— У меня жена — Татьяна. Я построил на свои деньги для нее храм в Исландии и отправил ее туда. Потому что на меня здесь охотятся мои бывшие партнеры. Они уверяют, что я им должен, хотят отнять у меня бизнес и уже поставили меня на счетчик. Я хотел с ними договориться, но они меня похитили и томили целую неделю в подвале в лесу, приковав к батарее. В конце концов я согласился им все отдать. Сказал только, что отдать бизнес — не такая простая вещь: надо оформить бумаги, и мне на это нужно несколько дней.

Они меня выпустили, но я должен явиться в назначенное место сегодня вечером — иначе они убьют мою семью. Но я не хочу отдавать им все, поэтому вы возьмите деньги со счета себе. И машину. Только помолитесь! А милиция вся у них схвачена и проплачена, так что...

Муж мой смотрел на него в остолбенении, не понимая, как ему быть. Может быть, не пускать этого человека на опасную встречу? Может быть, поисповедовать его?

Но тот взглянул на часы, задергался — ой, я уже опаздываю, ну — благословите!

И убежал было прочь из кельи — прямо по коридору. Но... Пробежав несколько шагов, он вдруг остановился как вкопанный, хлопнул себя по лбу, повернулся на каблуках:

— Батюшка! Я же уже опаздываю, а денег-то у меня нет — ни копеечки. А встреча у меня в Бутово! Дайте мне, пожалуйста, на такси! А то не успею.

Отец Владимир ему наивно сказал:

— Да сейчас час пик! Такие пробки! Вы на метро куда быстрее доедете!

А он на него так посмотрел, так посмотрел — прямо до костей пробрал его своим этим взглядом: мол, эх, ты, я тебе весь мой счет в банке, белую «Вольво», а ты на такси мне дать жадишься! Ну и дал мой муж ему на такси.

А бумажку с банковскими реквизитами мой муж выкинул. Кто-то из наших финансово продвинутых друзей бросил на нее взгляд и рассмеялся — такая это была туфта.

Но тем не менее они, мошенники эти с историями, деньги свои, можно сказать, заработали! Да! Они продавали сюжеты. Не дорого. Я вон недавно видела объявление в газете: «Продам историю моей жизни для написания романа или сценария для сериала. Дешево. Всего тысяча долларов».

Нам же это обошлось гораздо, гораздо дешевле.

Контрабанда по благословению



Иерейское благословение имеет чудесную силу. И я множество раз имела возможность в этом убедиться самой. И даже в тех случаях, когда вполне резонно, по человеческой немощи, можно было бы в этом усомниться, всякое маловерие было побеждено.

В 80-е годы настоятелем храма Знамения Божией Матери на Рижской был протоиерей Владимир Рожков. Потом его перевели в Никольский храм в Кузнецах, но и туда я часто ходила к нему, прежде всего чтобы помолиться во время его чтения Великого канона святого Андрея Критского. Кажется, никто, кроме него,– разве что лишь Святейший Патриарх Пимен,– не владел такими пронзительными покаянными интонациями, так не проникался молитвенным и вместе с тем художественным звучанием и смыслом этого боговдохновенного церковного произведения. Услышав однажды, невозможно было уже забыть ни великолепного баритона отца Владимира, ни естественной внятности произношения, ни точно расставленных акцентов,

ни певучих окончаний каждой молитвенной фразы.

Но в Кузнецы я ходила к отцу Владимиру куда реже, чем когда он был настоятелем на Рижской. Тогда я и проповеди его слушала с сильно бьющимся сердцем, и особенно любила, когда он служил литургию: выражаясь светским языком, это производило на меня очень сильное впечатление, трогало до слез, брало за сердце. Один из его алтарников, впоследствии сам ставший священником, признавался мне в сходных чувствах и добавлял, что сам отец Владимир всегда служил со слезами покаяния.

Словом, я его очень любила. По-видимому, он чувствовал такое сердечное расположение к нему овцы его пастырского стада, потому что и сам он стал относиться ко мне доверительно и сердечно. Честное слово, если бы не такая большая разница в статусе и возрасте, я бы считала, что мы с ним даже и подружились! Во всяком случае я, бывало, подвозила его на машине до дома, навещала его на даче, приходила с моим мужем к нему в гости. Он иногда мне звонил, и мы подолгу беседовали, он давал мне читать книги, рассказывал о своих писательско-исследовательских планах, даже хотел привлечь меня в качестве помощника...

А на Великий канон к нему я продолжала ходить каждым Великим постом... И вот в 90-м году после службы он меня подзывает:

– Не отвезешь ли меня?

– Конечно, батюшка! А вы меня – не благословите ли? Я завтра уезжаю с детьми во Францию.

– Во Францию? Слушай, у меня к тебе великая просьба. В Париже живет моя любимая княгинюшка, создательница и благотворительница Русского

Дома в Сен-Женевьев-де Буа. Я тебе кое-что передам для нее, а?

Зашли мы к нему. И он протягивает мне огромную икону и завернутое в мягкую тряпицу блюдо.

— Это все — родовое владение Мещерских. Я в антикварных магазинах для нее выискивал, она будет просто счастлива. На блюде есть даже вензель князей Мещерских! Передай ей это и скажи ей, что я ее очень, очень люблю!



Ну ладно. Написал он мне телефон, взяла я сумку с его дарами и приезжаю домой. Упаковываю это все как следует, а муж мой, видя, что именно я собираюсь перевозить через границу, вопиет велиим гласом: мол, ты что, это же антиквариат, у тебя все на границе отберут без возврата, а тебя еще и задержат где надо!

Вот это да! А я как-то и не подумала — никогда в жизни ничего такого через границу не везла! Позвонила среди ночи отцу Владимиру, разбудила его и высказала ему мои опасения.

— Отнимут все, — говорю, — как пить дать. А меня еще и посадят!

— Так я помолюсь,— сонным голосом ответил он.— Никто у тебя ничего и проверять не будет!

Сказал он так и трубку повесил. Но я, честно говоря, почти уже до самого утра так и не заснула. Потому что я после того, как покрестилась, стала до занудства законопослушной. Вот до этого — я считала ниже своего достоинства: приходить куда-либо вовремя (все время опаздывала), или перейти дорогу где положено, по переходу, или покупать в общественном транспорте билет. Да что в общественном транспорте — я и на поезде в Питер часто ездила зайцем. Меня даже один раз ссадили с позором в Бологом. Но я дождалась следующего поезда, да так и доехала без билета.

А тут — как отрезало. На желтый свет не могу перейти. На мероприятия, на встречи стала являться загодя: сначала — за 10 минут, потом — за двадцать, а потом, стыдно сказать, — за сорок минут! За час!

В общем, звоню ему с утра пораньше:

— Отец Владимир! Отнимут же все! Жалко! Меня посадят!

— Все будет хорошо, даже не сомневайся! Я же сказал — помолюсь. Никто на тебя даже внимания не обратит. Ну, с Богом! Господь тебя благословит. Ведь это все — ради любви! А любовь покрывает все!

С тяжелым сердцем и драгоценным грузом отправились мы с детьми в Шереметьево. Заполнила я декларацию. В графе «антиквариат», озираясь и вытирая холодный пот со лба, дрожащей рукой поставила прочерк. Стали мы с детьми приближаться к первому кордону — магнитной ленте. Вижу — у людей, которые перед нами в очереди, таможенники чемоданы открывают, прощупывают, шуруют вовсю, чего-то там изымают, те — в слезы... Вот ужас!

Тут и наша очередь подошла. Проверили мой паспорт, куда были вписаны дети, билеты, заглянули в декларацию...

И тут их кто-то позвал оттуда, где шла регистрация.

Они сунули мне в руку паспорт, билеты, декларацию, перекрыли за нами проход, и все, сколько их там было — двое иль трое — ринулись на зов. А мы взяли вещички и пошли оформлять багаж. То есть, как и обещал отец Владимир, никто у нас ничего не проверил, даже внимания не обратил.

В Париже я позвонила княгине Антонине Львовне и сказала, что я привезла ей от отца Владимира Рожкова подарки. Она прореагировала очень бурно:

— Ах, дорогой отец Владимир! Какой же он душка! Он душка, душка! Я так его люблю! А вы — вы любите отца Владимира? Вы понимаете, что это за человек?

И я нелицемерно ответила: да!

Мы договорились с ней встретиться у храма Алезия, возле церкви. Она подрулила на «Мерседесе» и сделала мне знак быстро залезать внутрь.

— Там нельзя стоять,— сказала княгиня, когда я уселась рядом с ней, держа на коленях драгоценную посылку.— Поедем кутить! В ресторан! Душка, вы любите рестораны? — спросила она, с места дав по газам.

Я с интересом краем глаза рассматривала ее. Это была элегантная пожилая дама, с прической, стройная, в довольно короткой бархатной узкой черной юбке и таком же пиджачке. Я потом с удивлением узнала, что ей было тогда лет под восемьдесят, то есть она, по-нашему, считалась уже древней старухой. А меж тем она лихо завернула в узкую улочку и резко тормознула у шикарного ресторана, перед которым были расстелены ковры и стоял свежевыбритый швейцар в ливрее.

Поскольку у нас с княгиней таких встреч было несколько и все они начинались по сходному сценарию, то есть свидание у храма Алезия в одиннадцать утра, «Мерседес», ресторан, а уж далее, ближе к вечеру, завязывалась какая-нибудь единственная в своем роде история, то лучше я опишу не эти, первые ресторанные посиделки, а следующие, когда мы приехали уже с моим мужем.

Главное, что я хочу подчеркнуть, что мы беспрепятственно в целости и сохранности привезли и передали ей ее фамильные реликвии — икону и блюдо с вензелем.

— Ну вот видишь, а ты боялась, маловерная, — довольно восклицал отец Владимир Рожков, — как сказано: «не будь неверен, но верен»!

Примерно через полгода после этого мы с моим мужем (который, кстати, еще не был тогда священником) собирались в путешествие. Сначала мы должны были приехать в Женеву, куда меня приглашали прочитать лекции в университете и провести мой литературный вечер в «Русском Клубе». Потом мы должны были переехать во Францию и добраться до Парижа, где у меня в издательстве «Галлимар» вышла книга прозы.

И тут звонит отец Владимир — что да как?

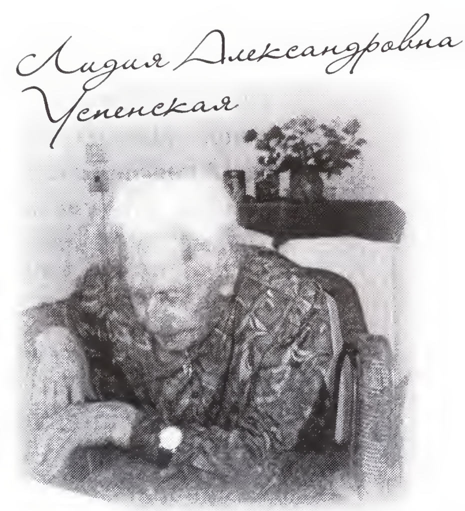
— А в Париж ты не собираешься?

— Собираюсь, но не сразу, не прямиком, а окольным путем, через Швейцарию.

— Швейцария — прекрасная страна, но Франция лучше — ведь там ты встретишься с княгиней!

Я промолчала, почуяв подвох.

— Я тебе дам для нее гостинцы, — продолжал он. — Нет, совсем в другом роде, не как в прошлый раз. Так, ерунду всякую. Передашь?



– Ну только если в другом роде... Конечно, передам!

– Вот и славно! Сейчас моя дочка тебе все привезет.

Честно говоря, я уже договорилась везти нечто в Швейцарию – приятельница моей швейцарской подруги из «Русского Клуба» очень просила передать той несколько сувениров, и она вот-вот должна была появиться у меня.

Позвонила в дверь, прямо в полутемной прихожей сунула мне в руки какую-то сумку, поспешно поблагодарила, кланяясь, и – была такова.

Через какое-то время приехала и дочь отца Владимира, привезла литровую бутылку водки и небольшой, но довольно увесистый пакет.

Стали мы с моим мужем укладываться в дорогу. Заглянули в этот пакет, предназначенный княгине, а там – 10 двухсотграммовых банок черной икры: именно это отец Владимир скромно именовал «гостинцами».

Не знаю, как сейчас, а по тогдашним правилам перевозить разрешалось не более то ли ста, то ли двухсот граммов. А у нас – два кило!

Несмотря на поздний час, я стала названивать отцу Владимиру:

– Отец Владимир! Ну она же – в железных банках! Она ж звенит! Тогда хоть не звенело ничего. А тут сразу они нас разоблачат, все отнимут. Жалко!

— Так я помолюсь! — невозмутимо ответил отец Владимир. — Ничего не отнимут! Да благословит тебя Господь! А княгиня как рада будет! Она очень икру любит. Чем еще я могу ее порадовать? А я так ее люблю!

— Мы, между прочим, даже не через одну таможню будем проходить! Там еще Швейцария! А потом въезд во Францию.

— Ерунда! — заметил отец Владимир. — Я и о Швейцарии помолюсь! И о Франции тоже. В вашу сторону даже никто и не посмотрит. Нужны вы им! Ах, а какая княгиня красавица была в молодости! А какая умница! Она будет очень довольна.

Муж мой несколько скептически к этому отнесся — какая-то там княгиня, старая барыня на вате, икра в железных банках, которая, конечно же, зазвенит. А тут еще пришлось вынуть из сумки «сувениры» для швейцарской подруги, чтобы рассовать их по чемодану. А это — россыпи, россыпи бус из полудрагоценных камней. Промышленное количество! Если бы я хорошо не знала свою швейцарку, я бы заподозрила, что она собирается этим приторговывать... Ну все! Банки зазвенят. Таможенники заставят открыть чемодан, а там — этот гранатово-агатово-сердоликово-янтарный блеск! Контрабандисты!

Приезжаем мы в Шереметьево, а на душе как-то скверно. Сейчас начнут потрошить чемоданы... А я, краснея, начну разыгрывать слабоумие, скажу: да? неужели? разве икру нельзя? да какие ж это драгоценности? Так, бижутерия дешевенькая... Угу, так они и поверят!

Подаем паспорта, декларации:

— А почему без денег летим? Или не указали? — спросил таможенник.

— Потому что бедные, — сказала я.

— Знаем мы таких бедных. А потом — по десять магнитофонов с шубами оттуда везут!

Махнул рукой:

— Свободны!

И — даже не заметил, что мы так и не поставили наш чемодан на просвечивание!

Прилетели мы в Женеву, передали ожерелья нашей подруге, порадовались, что водка не разбилась, икра не открылась, прочитали лекции, провели литературный вечер, получили деньги и за выступления, и за дорогу. Собирались уже покупать билеты на поезд в Париж, как вдруг выяснилось, что в паспорте у нас стоит пометка: въезд во Францию исключительно через аэропорт Шарль де Голль. Вот и попались: на сей раз банки-то зазвенят! Может, молитва отца Владимира на швейцарских кальвинистов и агностиков и не подействует! А кроме того — авиабилеты здесь очень дорогие, все наши денежки уйдут на них.

— Да зачем вам лететь? — сказала моя швейцарская подруга, щеголяя в янтарях. — Мы сядем на мою машину, переедем через границу, и я вас отвезу в Белль-Гард — это ближайшая от Женевы французская железнодорожная станция на пути в Париж. Там вы возьмете билет и поедете себя спокойно.

— А граница? Ты же слышала — мы имеем право въезжать во Францию только воздушным путем.

— А, — махнула она рукой. — Рискнем!

Взяли мы нашу водку, взяли икру и поехали нарушать границу. Мысленно я, конечно, взывала к Господу, прося его спасти нас «молитвами протоиерея Владимира Рожкова», и все обошлось. Швейцарские пограничники с таможенниками в этот ранний час, очевидно, пили свой утренний кофе и ели свой

«пти дежене», а французские, по всей видимости, приходили в себя после вчерашнего суаре, потому что на протяжении всего пути до Белль-Гарда мы не встретили ни одного человека... А там, как и намеревались, купили билеты и на скоростном поезде через несколько часов достигли Парижа.

Там я позвонила княгине, сказала, что приехала с мужем и привезла ей гостинцы от отца Владимира Рожкова. Она бурно обрадовалась, воскликнула: «Душка, как я мечтаю с вами увидеться!», назначила встречу в одиннадцать утра у храма Алезия, подкатила на «Мерседесе», мы с мужем туда влезли, она повезла нас в шикарный ресторан «У ангелов», в котором еще никого из посетителей не было, и нас окружили разом все официанты во главе с метр-д-отелем:

– Княгиня, как мы рады вас видеть! Вы прекрасно выглядите!

Очевидно, ее здесь хорошо знали, она была завсегдатаем...

– Княгиня, вам как обычно? Порто?

– Выпьем аперитив,– предложила она.– Действительно, для начала порто. Ну, за встречу!

Я сделала маленький глоток, потому что, честно говоря, я не привыкла пить натощак портвейн в одиннадцать утра.

– Олеся,– бурно прореагировала княгиня,– вы что ж – монашка?

– Н-нет,– неуверенно протянула я.– А почему вы так подумали?

– Ну, вы же совсем ничего не пьете!

И княгиня показала свою опустошенную рюмку.

Потом нам принесли какую-то необыкновенную еду – разную, много. Мы без конца ели, пили вино, оживленно разговаривали, шутили, хохотали...

На десерт была «вдова Клико».

Так что совсем не удивительно, что к машине мы направились «веселыми ногами».

Водку с икрой мы с собой в ресторан из машины не взяли — княгиня велела положить это все в багажник. Но и вручить ей как бы еще не вручили. И вот теперь я попросила ее открыть багажник, достала оттуда пакет с водкой и икрой, раскрыла его и дала княгине возможность туда заглянуть.

— Отец Владимир просил передать вам десять банок икры,— не без гордости сказала я.— Вот! Ну и водка.

— Какой же он душка! Мне кажется, у вас его мало ценят! А я так его люблю,— сказала княгиня, доставая одну из банок и вертя ею перед собой.— Ну ладно, теперь поедем ко мне в Русский Дом! Вы мне понравились.

И она положила банку обратно в пакет, пакет — на заднее сиденье, туда же швырнула свое легкое манто, я уселась тут же, а мой муж занял место на переднем сиденье возле княгини.

Мы рванули с места. Честно говоря, об этом я и не подумала: если мы, тридцатилетние, шли к машине сильно навеселе, то восьмидесятилетняя, пусть даже и моложавая, и очаровательная княгиня выбралась из ресторана, опираясь, а точнее сказать, повисая на крепкой руке метр-д-отеля. Так о каком автомобильном путешествии в Сен-Женевьев-де-Буа с таким водителем могла идти речь?

— Сын мой очень ругается! — словно отвечая на мои мысли, сказала княгиня, поворачивая голову и оглядываясь на меня, сидящую на заднем сиденье.— Я люблю немного выпить и покуражиться, а потом чуть-чуть погонять! Но, как назло, заехала

я однажды, перепутав дороги, в тоннель, и вот беда — угодила на встречную полосу! И сын мой отобрал у меня машину! Он сказал: ты так когда-нибудь попадешь в беду, разобьешься! Но я не могу жить столь правильно, как он! Я — тоскую! И в конце концов он мне машину вернул.

Мы летели по трассе, и она поминутно взглядывала то меня, то на моего мужа. Машины шарахались от нас и мгновенно оказывались далеко позади. И в этот момент я отлично понимала ее сына и сочувствовала ему.

— Я бы очень хотел познакомиться с Лидией Александровной Успенской,— сказал мой муж.— Она ведь живет в Русском Доме, не так ли?

— О,— княгиня закатила глаза и прибавила газку.— Она такая правильная, строгая! Сама добродетель. Я ее боюсь. Мне кажется, она осуждает меня за легкомыслие. Поэтому вы, если хотите, идите к Успенской, а я немного отдохну у себя.

Мы уже подъезжали к Русскому Дому.

Княгиня оставила вещи в машине, проводила нас до двери Лидии Александровны, а сама скрылась за поворотом коридора. Мы постучали.

Лидия Александровна, вдова Успенского, автора книг по богословию иконы, оказалась очень миниатюрной, худенькой, опрятной старушкой. Она напоминала собою птичку. Но птичку строгую, четкую в своих линиях, чистенькую, ибо птичка птичке — рознь. Есть хищные всеядные чайки, есть нахальные растрепанные вороны, есть сороки-балаболки, есть трясогузки. А есть миниатюрные синички, изящные ласточки — вестницы иной жизни, и Лидия Александровны была из таких. Разговор наш словно не начался, а возобновился. Словно мы



когда-то это уже обсуждали, а потом нас прервали на самом интересном месте, и теперь мы с него и начинаем. Речь шла о митрополите Никодиме, у которого она в Париже работала секретарем, и о его отношениях с католиками... Мы и не заметили, как пролетело два часа...

Вдруг с грохотом распахнулась дверь и на пороге показалась наша княгиня: это она распахнула ее ногой.

– Сколько можно задерживать этих прекрасных молодых людей,– возвестила княгиня.– Я уже соскучилась по ним! Я хочу повезти их на русское кладбище!

Лилия Александровна смерила ее строгим взглядом.

– Неужели вам не скучно? – не унималась княгиня.– Наверняка это что-то академическое, покрытое пылью времен...

— Нам безумно интересно...

— Что — какое-нибудь ученое богословие? Что-нибудь такое чопорно-партикулярное?.. Вот еще охота! Ты поедешь с нами на кладбище? — спросила она Лидию Александровну.

— Езжайте одни. С миром. Когда-нибудь мы еще договорим, — отпустила нас Лидия Александровна.

Мы сели в машину к княгине, хотя до кладбища можно было дойти и пешком.

Возле кладбища какие-то арабско-африканские дети гоняли мяч. Их согревало последнее осеннее солнышко... Мы зашли в храм, поставили свечи, помолились, потом отправились от одной могилы к другой: от Бунина к Бердяеву, от отца Сергия Булгакова — к Феликсу Юсупову.

— Не люблю кладбищ, — поежилась княгиня, когда мы двинулись к машине, назад. — Я люблю жизнь!

Она достала ключ, он пискнул... Увы! — машина была открыта.

— Я не заперла машину! — воскликнула княгиня, кидаясь к заднему сиденью, где лежали все наши пожитки и откуда она так и не вынула пакет с водкой и икрой.

— Они украли! — только и произнесла она.

Действительно, пропала шикарная, из оранжевой буйволиной кожи тончайшей выделки сумка моего мужа, которую он привез из Америки. Она могла складываться до размера барсетки. А можно было ее раскинуть, как чемодан, и в нее помещалось все. В боковом кармашке ее было огромное количество десятифранковых монет — штук сорок, которые я туда складывала, с тем чтобы потратить на подарки. Но главное — пропал пакет с водкой и икрой. Той икрой, десятибаночной,

двухсотграммовой, ради которой, по молитвам настоятеля и протоиерея отца Владимира Рожкова, Господь затмил глаза московским таможенникам, так что они смотрели и не видели, а также вывел из игры швейцарских и французских пограничников... На заднем сиденье осталось только... норковое манто княгини!

Как, норковое манто? – спросите вы. – Так его же в первую очередь должны были украсть...

Э, нет! Дело в том, что тоненькая норка была с испода незаметна. А сверху – это был как бы черный плащик. Плащовка. Достоинство аристократов – не выпячивать свое богатство, чтобы – не пахло деньгами. Скромная роскошь и прикровенный шик. Это у плебеев все наоборот: златая цепь на дубе том.

Мы огляделись. Мяч арабо-африканское юношество уже больше нигде не гоняло. Все было тихо и темно.

– Княгиня, вы очень расстроились?

– Да, – она как-то сникла. – Но я сама виновата. Забыть запереть машину – это что? Как мне жалко подарков отца Владимира! Десять банок икры! Сын так меня будет ругать, так ругать! Вы только ему не говорите. Ну, что теперь – назад, в Париж?

И в молчании мы помчались обратно.

– Вы, правда, цените отца Владимира? – снова спросила княгиня. – Вы понимаете, какой он душка, что он за человек?

– Понимаем...

– Слава Богу, что мы уже успели передать княгине эту злосчастную икру с водкой, предъявили все десять банок, – сказала я, когда мы простились с ней. – Хороши бы мы были, если бы произошло все то же самое, но до того, как она воочию увидела

их! Как бы мы оправдывались! Какой был бы соблазн подозревать, что это мы все сожрали!.. Ужас...

По счастью, княгиня позвонила отцу Владимиру и сама рассказала ему, как не потрудилась вынуть из машины его гостинцы и как ее обокрали...

Он был очень расстроен. Какой-то остался у него осадок... Он даже пробовал сердиться на меня. Но как только я это подметила, я довольно резко ему ответила:

— Отец Владимир, все! Ваши молитвы имеют ограниченную сферу влияния. Вы просили, чтобы нас пропустили через границу, — нас пропустили. Вы просили, чтобы нас даже не заметили, — нас не заметили. Вы благословляли нас передать ваши дары княгине? Мы передали. А просили вы, чтобы нас с княгиней после этого — не обокрали? Нет, не просили. Благословляли ее запирать машину? Нет, не благословляли! Ну — так и что теперь?

Ему нечего было мне возразить.

Возмездие



Разговор зашел о возмездии. Началось с того, что священник отец Валентин, служивший в Подмосковье, завел речь о воровстве.

— Никто не является таким профессиональным экспертом в социальной сфере, как священник. Когда у меня исповедуются работники торговли нашего городка, я понимаю, что у нас просто повальное воровство, — посетовал он.

— Что, прямо товары воруют? — удивилась Ирина Львовна, моя соседка по даче, зашедшая ко мне «пересидеть темноту»: у нас в поселке часто отключают электричество, но не целиком, а отдельными линиями. Вот дача Ирины Львовна и оказалась на этот раз на такой «линии». Теперь она сидела с нами под большой лампой, пила чай и с интересом слушала священника.

— Ну да, и товары, бывает, крадут, и обвешивают, и обсчитывают... Даже как-то у них и не принято без этого, — вздохнул отец Валентин.

— А вы что? Отчитываете их за это? — поинтересовалась Ирина Львовна.

— Бесполезно. Они мне в ответ: а детей чем кормить? А за квартиру платить? Так что я их просто... пугаю.

— Как — пугаете?

— Возмездием. Говорю — за каждый украденный рубль ответите десятерным. Этого они боятся.

— Как же так? — не унималась Ирина Львовна.— Кому это десятерным будут отвечать? Милиции?

— Да Бог им пошлет такую ситуацию, когда их самих обманут и они потеряют больше, чем сами украли,— сказала я.— Даже мои дети чуть ли не с младенчества эту математику знают.

— Они что — крали? — ужаснулась Ирина Львовна.

— Нет, не крали. Но бывало, что кассирша в метро или в магазине ошибалась в их пользу, а они, заметив это, как ни в чем не бывало брали шальные денежки, дескать «Бог послал». И буквально через два-три дня наступало возмездие: при первой же возможности их обсчитывали в другом месте или они вовсе теряли кошельки. И это происходило именно тогда, когда я давала им много денег — или в школе нужно было заплатить за проездной, или за экскурсию в другой город внести немалую сумму... Словом, они, это раз испытав на себе, никогда лишней копейки чужой не возьмут.

— И как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними,— процитировал отец Валентин.

— Ну да, в плане воспитания — это, конечно, хорошо. Но в жизни все совсем не так,— махнула рукой Ирина Львовна.— Некоторые крадут, крадут, а им хоть бы что...

— Значит, их дела совсем плохи,— вздохнул отец Валентин.— Верный признак того, что Господь

особо печется о человеке, это когда его сокрытые согрешения настигают его извне. Предстают въяве.

— Это как? — спросила Ирина Львовна.

— Осудил кого-нибудь — и тут же сам впадаешь в подобное прегрешение. Или соврал, а это тут же и воплотилось.

— Действительно, — вспомнила я. — У меня есть приятель, который спасался от армии тем, что симулировал астму. И как только ему вручили белый билет, он тут же и заболел. Именно астмой. Или я тоже, бывает, навру, что простудилась, хотя абсолютно здорова, просто мне не хочется лишний раз выходить из дома, и тут же у меня начинается насморк, озноб.

— А уж если над кем посмеешься, так жди, что сам попадешь в нелепую историю, — заключил отец Валентин. — Как говорит наша приходская юродивая, кто над кем посмеется, тот на того и поработает.

— Нет, — решительно замотала головой Ирина Львовна. — У меня такого не бывает. Все это сказки какие-то...

И она побрела домой, потому что, по ее расчетам, на даче уже включили электричество.

Теперь надо сказать несколько слов про Ирину Львовну. Это — пятидесятипятилетняя вдова, но не «несчастная вдовушка», которую потеря мужа сломила и состарила в одночасье. Нет, она не позволила себе расслабляться в скорби, а напротив, взяла себя в руки, даже как будто взбодрилась и начала новую жизнь, при этом слова ее приобрели категоричность, а жесты — властность. Одежда весьма ладно облегала ее кругленькую фигуру, волосы она красила краской «Золотой пляж» и, как я полагаю, была весьма даже не против встретить какого-нибудь



Отец Валентин Дронов

достойного мужчину ее возраста, чтобы связать с ним оставшуюся жизнь. Может быть, она бы уже так и сделала, потому что вроде бы какие-то поклонники у нее были, да уж очень ей мешала «завышенная самооценка», о которой она говорила просто как о высокой.

Мы с ней жили через улицу, а за последние год-два — так даже и приятельствовали. Во всяком случае, она стала ко мне заходить «на огонек», правда не запросто, а после звонка и моего приглашения, причем сделанного в церемонной форме, осторожно советоваться, а порой даже и слегка откровенничать: так, полунамеками, словно бы невзначай. Словом, я догадывалась, что у нее появился реальный «кандидат», судя по тому, с каким воодушевлением она говорила о некоем переводчике с испанского, который уже сводил ее на презентацию книги своих переводов, а теперь пригласил с собой на прием по случаю Рождества к самому послу какой-то латиноамериканской страны, прямо в его резиденцию...

Мне показалось, что ей приятно было произносить даже сами эти слова «прием», «посол», «резиденция», а ее и без того высокая самооценка скакнула едва ли не до рекордной отметки.

Прошло дня два или три, и вдруг она появляется у меня на пороге, против обыкновения — без предварительного звонка, возбужденная и даже слегка растрепанная.

— Ну что, Ирина Львовна, были вы на приеме?

— Ох, вы не представляете, что там было! Что было! Уж прямо не знаю, плакать мне или смеяться...

И она хохотнула, но как-то нервно.

— Сначала этот мой испанец очень ненавязчиво сделал мне предложение.

— Я вас поздравляю!

— Потом этот жених повез меня к послу, и там был изумительный рождественский ужин. Горела всеми огнями елка... Свечи... Дамы в декольте. Наши российские знаменитости. Повсюду — лакеи в белых фраках разносят еду, напитки... Интереснейший разговор. И вдруг в самом разгаре пира мой суженый, — тут она снова, не сдержавшись, хохотнула, — исчез. Десять минут его нет, двадцать минут, полчаса, час!.. Вдруг ко мне подходит один из этих, посольских, из обслуги — то ли швейцар, то ли лакей — и говорит мне: «Вас просит ваш друг». Я говорю — «Что? Как? Где он?» А он мне говорит: «Пройдемте!»

Выводят меня из зала и ведут по коридору. Издалека я слышу какие-то ужасные крики, вопли, грохот, стук... Мне говорят:

— Вот. Ваш друг уже второй час оттуда рвется, а выйти не может. Поговорите с ним, чтобы он успокоился, пока не кончится прием.

Я смотрю — ба, да это дверь в мужской туалет. И мой испанец колотит изнутри в дверь и кричит:

— Да выпустите меня отсюда!

Я говорю этому сопровождающему меня лакею:

— Да! Немедленно выпустите его! Зачем вы его там держите?

А тот мне отвечает на ломаном русском:

— Мы бы с удовольствием, да он сам заперся изнутри. А открыть не может. Не ломать же дверь!

— Ломайте дверь! — говорю я. — Не сидеть же ему там вечно. Сломайте хотя бы замок.

— Не получается отсюда, — говорит тот. — Мы ему уже туда и отвертки, и ножи под дверь подсовывали, чтобы он попробовал сломать изнутри.

А мой испанец услышал меня и как возопит:

— Ирина, умоляю, не оставляйте меня! Скажите им, пусть выпустят меня отсюда.

Я опять к лакею:

— Ломайте дверь, чего вы ждете?

— Боюсь, господин посол будет очень недоволен, если мы сломаем дверь в его резиденции. Как господин посол будет после этого пользоваться туалетом?

И ушел.

— Ну, как вы там? — спрашиваю я своего жениха.

— Да в принципе неплохо,— отвечает он.— Могло бы быть гораздо хуже. А так — тут чисто, есть где посидеть, если на стульчак крышку опустить, коврик такой лежит мягкий. В крайнем случае можно и переночевать на нем...

— Вот еще! Что это вы надумали — ночевать в уборной на коврике? Откуда это у вас такие упаднические настроения? Взбодритесь! — поддерживаю я его.— Сейчас я попрошу господина посла лично принять меры...

А тут этот лакей:

— Ни-ни-ни, умоляю вас. Господин посол не любит, когда его беспокоят во время приема.

Ну что тут делать? Вернулась было я обратно в зал, а там уже горячее подают — какую-то дичь крутят на вертеле, а под ней — открытый огонь. Все хлопают, счастливые, пьяные, лишь мой в кавычках «жених» в сортире заперт, сидит. Бьется там, как бабочка об стекло.

Вернулась я к двери, а там, действительно, тарарам — уже грозно он в эту дверь стучит, тараном даже каким-то пытается ее прободать.

Я его спрашиваю:

— Чем это вы дверь пытаетесь выбить?

А он говорит:

– Плечом, собственным своим плечом. Совсем, знаете, эти замки новомодные – жучки на ручках – никуда не годятся.

И звук его голоса хоть и доносится, но как-то глухо. Толстая, видать, дверь, крепкая.

– Вы хоть ванну там примите,– говорю я ему.– Что зря-то сидеть.

А он отвечает:

– Я бы и рад, да тут ванны нет. Душ только.

В общем, стали гости понемногу расходиться – совсем пьяные уже, довольные. Опять лакей этот появился.

– Вы давайте, действуйте,– говорю ему.– Хоть зубилом выбивайте замок, хоть дверь ломайте.

А он снова – господин посол, мол, такому не обрадуется.

Но мне это уже надоело, я ему угрожать начала:

– Вы смотрите, как бы международный скандал не вышел. Там наш гражданин у вас в уборной в заточении, как это выглядит? Просто провокация, можно сказать!

Принес он в конце концов инструмент, вроде сверла или зубила, вставил его туда же, где круглая ручка, и давай пытаться этот замок расклинить. Но – какое! Добротная дверь, крепкий замок.

Пока мы так возились, посол проводил гостей и направился в свой туалет, куда мы пытались проникнуть с этим зубилом. На дверные петли уже походом пошли, но – тщетно.

– Что здесь? – спросил посол нахмурившись.

Лакей ему и говорит:

– Так и так. Гость заперся, а защелку заклинило. Замок пытались выпилить – не вышло, дверь

сломать — не поддалась. А гость там уже — третий час в самом отчаянном положении.

А гость уже оттуда криком кричит:

— Вызывайте МЧС!

Они уже и на МЧС были готовы, латиноамериканцы эти, стали звонить... А им говорят — нет, это территория другой суверенной страны, и мы не можем приехать к вам вот так — с бухты-барахты, надо согласовывать!..

А господин посол уже еле на ногах стоит — действительно, охота ли ему после рождественского ужина с елочкой и зажженным камином, после мяса на вертеле и горячительных напитков утрясать международные дела? А ведь правда, понаедут тут всякие, кто их знает, может, они всю резиденцию микрофонами да камерами поутыкают?

— Мы здесь — экстерриториальны,— зачем-то объяснял он мне.

В конце концов успокоила я нашего узника, что вскоре профессионалы приедут его освобождать, так что лучше ему отдохнуть до их приезда на пушистом коврике, а сама вернулась в разоренную залу, пристроилась в большом кресла и задремала.

Под утро появились наши люди из МЧС. Господин посол тут как тут — продрал глаза, выходит к ним, глаза красные.

Они выпилили одним махом окошечко, где замок, вывели заключенного на свободу, покопались в замке и говорят послу:

— Что это за замок у вас контрафактный? На рынке у нас брали?

— Хороший замок! Испанский! — стал было защищаться он. А потом и говорит.— Наверное, его мой сотрудник по хозяйственной части на Можайском

рынке купил! Я давно подозревал его в мошенничествах!

А мой жених вышел наконец на свободу. Обнял посла:

— Ну, теперь налей мне стакан виски, друг!

И мы пошли в какую-то дальнюю комнату, в которую не были допущены вчерашние гости, сели там на диваны, и они с послом так напились, так напились, что мне пришлось вызывать такси и увозить своего жениха едва ли не силой. Вот.

— Хорошая история,— сказала я.— И я рада, что у вас, Ирина Львовна, появился жених.

— Да вы что! — вдруг вскинулась она.— Неужели ничего не поняли? Это же я иронически его так называла! Разве я могу выйти замуж за человека, который так меня опозорил? Всю ночь просидел в чужом сортире! Это же анекдот! Нет, случайно такие истории не бывают! Это может произойти только с людьми особого рода.

— Вы преувеличиваете! Говорю же вам — с каждым может случиться...

— Нет, извините, далеко не с каждым! Это может случиться только с... клоуном! Ха-ха-ха — мне просто смешно! На коврике, видите ли, он там калачиком спал! В уборной! Еще МЧСовцам кричал, что он — экстерриториален! А потом еще и напился! Жалкий, жалкий человек! А меня перед послом — в каком свете выставил? У меня, между прочим, покойный муж был членом-корреспондентом. Мне есть с чем сравнивать! У меня, в конце концов, высокие запросы, высокая самооценка!

— А вам-то что, Ирина Львовна, до этого посла?

— А я, интересно, в качестве кого пред ним предстала? Шутиха! А я живу по очень высокой

планке! — не унималась она. — И если такое происходит с человеком, то это свидетельствует о его внутреннем неблагополучии. Это мне — звонок.

Видимо, та ночь в резиденции посла произвела на нее сильнейшее впечатление, потому что каждый раз, когда мы с ней встречались, она так или иначе вспоминала о ней. И больше всего винила она своего так и не состоявшегося жениха. Потому что с этим своим «испанцем» она не то чтобы даже не желала увидеться, но и вовсе отказывалась поговорить с ним по телефону.

И вот как-то вечером, приняв ванну и заперев все двери и окна, чтобы на нее не дуло январскими сквозняками после горячего душа, она направилась в постель, почитала и, прежде чем погасить свет, решила зайти в уборную. А дверца-то и захлопнулась! Как так? Ведь она и не думала запираться на замок! А так — пробует она открыть, а дверь не поддается. Заклинило там что-то. Она в эту дверь плечом, бедром, больно, больно, а та и не пошелохнется! Крепкая дверь. И стоит бедная Ирина Львовна в одной ночной рубашке в крошечной своей «комнате удобств», и некому ей помочь.

В доме, повторяю, жила она после мужа одна. Соседи с верхнего этажа — в Москве, а до прочих — не докричаться. Полная безнадежность. Даже инструментов у нее никаких нет — все инструменты по ту сторону двери. Даже и мягкого коврика нет, чтобы на него прилечь... Под ногами одна холодная плитка. Кричи — не кричи — все равно никто не придет и не освободит ее — ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Затосковала Ирина Львовна. Ситуация, с одной стороны, самая дурацкая, шутовская, а с другой — даже и трагическая. Ведь не только

через неделю — через две недели никто здесь не появится. Через месяц! Хоть ты тут трубой иерихонской взывай! Верхние соседи, может, только весной сюда приедут, с первой зеленью. Телефон, естественно, в спальне остался.

Стала она думать, как выбираться. Дело в том, что они с мужем эту дачу когда-то достраивали: был маленький домик, а они его расширили. Поэтому была в ней некая нелепость: например, в этой уборной было окно, но открывалось оно в предбанник котельной. Однако вылезти так просто из него в этот предбанник было не так уж просто, ибо там, под самым окном, как раз шла лестница в подвал. Прыгающий из окна, если бы таковой и отыскался, рисковал провалиться на три метра вниз, да и то не на ровную поверхность, а на какую-то из ступенек. Можно было бы какому-нибудь экстремалу, вылезающему отсюда, попытаться пройти над этой лестницей по узкому бордюру, который окантовывал предбанник, но так ведь на то он и экстремал!

А Ирина Львовна, почтенная вдова члена-корреспондента, дама, к тому же округлых форм... Посидела-посидела она в месте своего заточения, да делать нечего — открыла окно и полезла. Прилепилась к стене и так, осторожненько, осторожненько, шажок за шажком, да с молитвой на устах, стала продвигаться над черной бездной, пока не добралась до входа в котельную, где ровная поверхность и откуда начинается спуск.

Ну, хорошо. Вот она здесь. Но котельная-то заперта снаружи! А ключ от нее — дома в ключнице, возле вешалки... Так что и это — одна видимость освобождения, а на самом деле — ловушка. А кроме

того – январь на улице, стужа, крещенские морозы! Котельная там, под домом, топится, а здесь, в предбаннике – холодрыга. К тому же бедная Ирина Львовна в одной ночной рубашке и босиком (шлепанцы скинула, когда по бордюру лезла). Увидела узел какой-то в углу и вспомнила: она сюда кое-какие вещи покойного мужа когда-то снесла, тряпье старое здесь хранила – занавески, полотенца. Все хотела бомжам отдать, да руки не дошли. Она это тряпье тут же разворошила и подобрала себе кое-какую одежонку: халат мужнин полосатый, махровый, линялый, тапочки. На голову полотенце повязала. Занавеску как шаль на плечи накинула для тепла. Стала пытаться открыть дверь котельной, да сразу поняла, что бесполезно. А около этой двери окно без створок, глухое. Она кирпичом в него, оно и разбилось.

Вынула Ирина Львовна стекла, едва не порезалась, вылезла на снег, направилась было ко входу в дом, да тут и сообразила, что все – заперто. Она же сама задвинула надежный засов, закупорила окна... Что делать?

И побрела она, горемычная, в тапках сорок четвертого размера, в халате и занавеске через весь дачный поселок прямиком ко мне. Стала стучать в двери, потом увидела горящее окно, принялась кидать снежки.

А я была в доме одна. Из светлой комнаты мне было ничего не видно, что там творилось под моими окнами. Тогда я выключила свет и присмотрелась. На сугробе стояло странное человеческое существо, замотанное в тряпье. Я испугалась и хотела было найти шокер, который мне подарили в прошлом году и который лежал у меня где-то

незаряженный. Но тут раздался надрывный крик — существо звало меня по имени, и голос показался мне знакомым.

Я осторожно открыла дверь, и Ирина Львовна, голоногая, в весьма причудливом, даже экзотическом виде, вся в снегу, ввалилась ко мне.

— Ирина Львовна! — в изумленье пролепетала я. — Да вы — настоящая ряженая! Это что же вы — Святки празднуете? Я и не ожидала от вас... Смотрю — гунька на вас кабацкая!

И — расхохоталась!

— Да не смейтесь вы! — резко произнесла она, прежде чем объяснить причину своего столь безумного обличья и позднего визита. — Я вон посмеялась, и что из этого вышло!

Ее всю трясло, и теперь, в тепле и при свете, выглядела она очень жалко: и следа не осталось от ее высокой самооценки...

Я усадила ее на диван и, пока она пила чай с малиной, слушала ее сбивчивый рассказ. Наконец, худо-бедно согревшись, она произнесла:

— Я во все это не верила, что вы тут говорили, мол, как аукнется, так и откликнется. А ведь все так и есть! Бог-то все-таки присматривает за мной! Как проучил!

— Конечно, — дипломатично отозвалась я. — Он заботится обо всех!

— Вовсе не обо всех! — вдруг капризно отпарировала она. — Вы просто не знаете! Я эту дверь в уборную много лет закрывала и даже запирала, и она всегда исправно открывалась! А сейчас — это все специально было сделано! Вы понимаете? Специально, для меня! Один к одному! Возмездие! Чтобы — научить!



И она улеглась на подушку, натянула на себя плед и заснула.

— А как поживает ваш испанец? — спросила я ее через несколько дней.

— Звонил мне вчера. Сказал: вы слышали новость? Я спросила: какую именно? А он ответил: да посла этого латиноамериканского отозвали в срочном порядке. Скоро пришлют другого. Так что в обозримом будущем в резиденции ожидается большой прием — «на новенького».

Прельщенный



В православной аскетике есть такое понятие – духовная «прелесть». Это когда человек начинает чрезвычайно высоко мнить о себе и воображает, что уже, по Божьему мановению, «превысил естества чин». В наше время невежества, духовной всеядности, бесчинства и самомнения такие «прельщенные» расплодились в огромном количестве. Это и понятно, ибо человек после грехопадения сделался горд и разные ищет способы удовлетворить свою гордыню, а «если долго заглядывать в бездну, то бездна и сама заглянет тебе в глаза».

У меня, например, была знакомая, которая «подогревала водичку»: стряхивала над стаканом с водой что-то такое с рук и давала пить эту, действительно, тепленькую воду, утверждая, что она – целебная. В конце концов у нее обнаружили какую-то болезнь, от которой она буквально высохла и стала похожа на хрестоматийную Бабу-ягу.

Другая моя знакомая увлеклась спиритизмом и дошла до того, что духи стали являться и говорить с ней наяву, без посредства лукавого блюдца. Они

внушили ей идею, что она – Матерь мира и потому может не только пророчествовать, но и взглядом зажигать огни. Мне рассказывали, что она ходила по дачному поселку и погружала его во тьму, гася свет в одном доме за другим. А потом на ее собственной даче произошло самопроизвольное возгорание, и все сгорело дотла...

Или я знала мальчика, у которого были феноменальные способности – он умел читать буквально тем местом, на котором сидел: клали на стул газету, он на нее садился и читал передовицы. Но – слава Богу – потом его покрестили, и этот сомнительный дар его покинул.

Да, бывает такое, что лукавые духи тут же отступают от своей жертвы, как только человек примет святое крещение и «отречется от сатаны».

Но случается, что они препятствуют, а то и не пускают человека к крещению. Так, мой друг возил своего прельщенного брата к священнику с просьбой его покрестить. Договорились, что это произойдет на следующий день. Но в ту же ночь этот брат сел у себя в комнате в позу лотоса и увидел, что к нему с иконы «сошел Иисус Христос, Который сказал: "Тебе креститься не надо, ты и так уже достиг высот"». И крещение так и не состоялось, потому что этот прельщенный брат сказал: зачем?

Но случается, что демоны прельщают и крещеных, и воцерковленных людей, которые причащаются Телу и Крови Господней... И таких – без сугубого вмешательства Божьего – образумить практически невозможно.

Был у меня знакомый по имени Борис, которого я когда-то, только-только покрестившись сама, почитала едва ли не за святого. Во-первых, постник,

аскет. Во-вторых, если что-то и говорит, то лишь «да, да; нет, нет», как заповедано в Евангелии. В третьих, — никогда не смотрит в упор, считая это признаком дерзости, а всегда — чуть снизу и искоса, то и дело потупляя глаза. Смирные руки, на одной из которых намотаны длинные четки, кладет перед собой: никакой в них суеты, никаких развязных жестов. Намекает — и то очень прикровенно, смиренно, что-де вышел он на пятисотницу. То есть кладет по 500 поклонов в день! Спит, тоже из каких-то намеков, недомолвок выяснилось, — на голом полу. И что поразительно — в палатке. Но палатка эта не где-нибудь там установлена, а в его собственной квартире, поскольку приходилось ему жить в одной комнате с бабушкой. Так что он еще и отшельник, и затворник. И, в своем роде, столпник: палатка полтора метра на два! И так он в ней сидит целыми днями и ночами и только изредка по особо важным духовным делам выползает.

Никогда не смехотворствует, ибо, как сказано, «ад всесмехливый». Дружит только с духовным братом, который тоже — без пяти минут преподобный: работает в Москве, а каждую пятницу уезжает за тридевять земель к православному старцу и там у него алтарничает, пономарит, помогает отвечать на письма: едва ли не сотаинник...

Ну и приводил их обоих ко мне один добрый человек, который помог мне креститься. Чтобы они меня напитали духовным хлебом. Чтобы я увидела наконец отблеск вечной жизни на лице смертных и сама бы устремилась по их стопам... И я очень, очень с большим благоговением и почтением их принимала, задавала им вопросы о вере и Церкви. Но, видимо, эти вопросы были настолько для них

Франсиско Гойя «Сон разума порождает чудовищ»

элементарные и столь невысок был мой духовный полет, что они, несколько натужно покашливая или даже «перекашливаясь» между собой: «кхе-кхе!», отвечали, явно снисходя к моему невежеству, всего несколькими тщательно и неторопливо подобранными словами и опять замолкали, опустив очи долу и беззвучно шевеля губами — наверное, молились.

В общем, наши богословские журфиксы не удались — к тому же прозвучало что-то насчет женщины — сосуда немощного и греховного, и, дескать, что ценного можно в такой сосуд вливать? Ну и мы на какое-то время потеряли друг друга из вида.

Однако через несколько лет мы встретились с Борисом на богослужении в монастыре и вместе возвращались в Москву. Ехали в одном купе целую ночь, и меня поразили явные изменения, которые в нем произошли. Теперь он был открыт миру — словоохотлив, воодушевлен и улыбчив. На третьем часу нашего разговора он поведал мне, что поднялся на высшую ступень Лествицы преподобного Иоанна Лествичника и достиг абсолютного бесстрастия, так что теперь ему нечего скрываться от мира: мир его все равно не поймает, на пятом часу — что

стяжал в сердце непрестанную Иисусову молитву, а под утро признался, что ему явился Сам Господь, возвел его на седьмые небеса, где были все — и Матерь Божия, и Иоанн Креститель, и апостол Павел.

Тут поезд подошел к Москве и мы расстались.

А еще года через два-три он встретил меня на улице и благословил широким крестным знамением.

— Ты — священник? — удивилась я.

— Я — больше, я — апостольский преемник по благодати. Еще Симеон Новый Богослов писал: да не дерзает священствовать тот, кто не имел личного опыта встречи со Христом! Ты думаешь — что, наши священники да епископы удостаивались такой встречи? Уверяю тебя — нет, они все знают понаслышке, от других. А я знаю — от Самого!

— Да? — растерялась я. — А ты говорил об этом каким-нибудь священникам или епископам?

— Да что толку! — он махнул рукой. — Они все зомбированы. Пугаются! Я спрашивал их: «Вы когда-нибудь, совершая Таинство Евхаристии, видели Божественный огонь в Чаше?» И — по лицам их читаю, что ничего-то они не видели. Но я теперь без них обхожусь — концентрируюсь в интроспекции Логосмедитации и через это причащаюсь духовным причастием. После этого мне открыты пути к созерцанию энергетических аур духа. Я могу войти в круги загробных мытарств, а могу подняться в божественные сферы духа... И вообще — там меня назначили Верховным Главнокомандующим при старце и Богородице.

Мне стало как-то не по себе, и я поспешила откланяться и уйти, унося с собой тяжелое и тревожное чувство.

Вскоре я его увидела в телевизионном ток-шоу, где он все порывался то ли делать руками какие-то

пассы, то ли поймать неких невидимых глазом существ, мельтешащих перед лицом... И что особенно меня поразило — он сказал, что Бог открыл ему его новое имя и оно было что-то вроде «Бомкинчондро Готтопаддахай».



Франсиско Гойя «Они взлетели»

Я даже не знала, как за него теперь молиться... Все он виделся мне таким, каким запомнила его в давние времена: юным, полным желания уйти в пустыню и там забыть и себя, и мир ради Христа.

Прошло еще года два.

И вот один мой знакомый иеромонах по просьбе своей прихожанки — совсем древней старушки, собрался соборовать и причащать ее парализованного внука. Однако ехать было далеко и ему неловко было отправляться со Святыми Дарами общественным транспортом. Словом, я повезла его туда на машине и поднялась вместе с ним в квартиру. В комнате на диване лежал больной человек, худой, с длинными седыми волосами. И священник затворился с ним в комнате, а мы со старушкой сели на кухне.

— Инсульт у Бореньки! А ведь и не старый еще! — вздохнула старушка. — Ни сказать ничего не может,

ни двинуться с места! Вот Господь-то его как — связал! Рот заткнул! Смирительную рубашку на него надел!

— Ну что вы такое говорите! — воскликнула я.— Словно Бог — это санитар, тюремщик...

— А то и говорю, что знаю. Ведь Боря уже революцию на небе готовил! Говорил — вот взойду до седьмого неба, все там переверну, наведу там порядки! Да, так и говорил. А Господь ему, видишь, в ответ: да ты хоть с дивана-то своего слезь, неразумный! Себя хоть переверни... Не может! А все величался: я-де — духовный главнокомандующий! Бобкинчондро какой-то меня зовут...

Странное подозрение возникло у меня... Я заглянула в комнату... Священник нагнулся над ним, помазывая елеем. Но чуть лишь отошел в сторону и стал читать молитвы, как мои опасения подтвердились.

— Но ведь, кажется, он сам отверг Церковь, — смутилась я.— Как же его причащать? Может, это против его воли? Это может получиться — насильно... Или он успел покаяться? — осторожно спросила я у старушки.

— Успел — не успел... Господь ему уста уже затворил, руки отнял. Так что за он или против — это мы уже не узнаем, да это и неважно,— проворчала она.— А насчет насильно, это я тебе, милая, скажу так: мертвые тоже, может, не все хотят, чтобы мы о них молились. А мы и не спрашиваем: молимся, и все! Враги, может, наши не хотят наших молитв. Атеисты — тоже не хотят, это факт. Младенцы опять же. Как у них спросишь? Психические больные — по тому же разряду. А мы молимся за них — получается, без разрешения, а то и против их воли. Силком тащим их...

Старушка сухонькими ручками сделала такой жест, словно она действительно тащила изо всех сил кого-то на веревке, а тот — упирался.

— Только душа-то по природе своей — христианка! — продолжала она. — Душа-то в любом случае именно этого и желает! Так что насилия и не выходит!

Когда мы уже прощались со старушкой, я все же пошла к Борису. Он лежал, торжественный и смирный, уставив неподвижный взор в потолок. Черты лица его заострились, и он стал более похож на чеканное изображение самого себя. В нем как будто проступила художественная идея Создателя: постник, аскет, веригоносец и страстотерпец. Молчальник и столпник.

Может, и правда, мелькнула в моей голове шальная мысль, Господь исполнил «желание сердца его»? И какими бы дерзновенными ни показались мне слова его древней бабульки, что-то призывало с ней согласиться. Тем более что она сама заглядывала уже туда, где посрамляется земная логика и перестают действовать законы падшего мира.



Архимандрит Феодор,
иеромонах Димитрий
1985 г.

Как Ватикан обул наших архиереев



Мой муж ехал на Архиерейский Собор, на котором он должен был присутствовать по своим служебным обязанностям. А по радио как раз к началу Собора журналист Доренко сообщал сенсационные подробности: оказывается, как он уверял, в Ватикане есть специальная сапожная мастерская, где шьют обувь для самого Папы Римского, а уж заодно и для всей Римской курии. А наши архиереи якобы, прознав про эту чудесную мастерскую, тоже потянулись туда со своими заказами и теперь щеголяют в католических башмаках, пошитых по индивидуальной мерке.

Мой муж, у которого как раз проблема с обувью — все ботинки натирают, давят, теснят, — очень заинтересовался этой неожиданной информацией и, встретив на Соборе своего старинного друга-архиепископа, тут же ему ее и выложил.

— Да? — удивился владыка. — Надо же, а я ничего и не слыхал о таком...

И они не сговариваясь дружно опустили очи долу и стали высматривать, что там за обувь такая папская на наших архиереях.


Митрополит Филарет Минский и архиепископ Димитрий Витебский и Оршанский

Первым, кто им попался на глаза, был старенький владыка из среднерусской полосы. Он медленно шел, пошаркивая ступнями, на которых были... клетчатые войлочные тапочки.

– Наверное, у него ноги больные, – выразил догадку дружественный архиерей.

Следующим шел молодцеватый епископ с юга России. На нем были простые кирзовые сапоги.

– Ну, этот молодой еще, викарный. По старой монастырской привычке в сапогах ходит, – заметил дружественный владыка.

Третьим появился матерый архиепископ из Сибири.

На нем были далеко не новые ботинки со стоптанными каблуками, бежевые, да к тому же и довольно замызганные.

– Келейник не проследил, – с сокрушением покачал головой наш владыка.

Но и на других архиереях, при ближайшем рассмотрении, обувь оказалась не намного лучше, разве что почище и поопрятнее.

— Ну-у, — разочарованно протянул мой муж, — не больно-то Ватикан расстарался...

— Так ты что — правда хотел, чтобы нас католики обули? — заулыбался владыка невольной игре слов.

Мой муж вспомнил, что его епархия была в Белоруссии и он там много чего претерпел от ксендзов и бискупов, сманивавших его паству в униатство. И он подумал — хорошо все-таки, что наши архиереи обуваются по старинке. Ну уж в крайнем случае — по дороге на Афон зайдут в Салониках в обувной магазин и, безуспешно пытаясь остаться неузнанными, впопыхах померяют пару-другую, пока их не застукал за этим занятием и не окликнул кто-нибудь из ревностных русских паломников или благочестивых туристов:

— Владыка святый! Благословите!

А что? У меня был именно такой случай...

Облачко



Однажды, когда мой муж — отец Владимир — дежурил у себя в храме Святой мученицы Татианы, к нему пришла на беседу немолодая женщина с взрослой дочкой. У обеих были измученные несчастные лица.

— Батюшка, — сказали они, — у нас в доме полтергейст. Дедушка к нам покойный по ночам приходит. Измучались мы. Места себе не находим. Нам посоветовали к вам обратиться. Освятите нам, пожалуйста, квартиру.

— А что у вас происходит? Почему вы решили, что это полтергейст? И что это именно дедушка.

— А кто же еще? Как он отправился на тот свет, тут все и началось. Стало появляться у нас на кухне по вечерам серое облачко. Висит, висит над столом, а к ночи — сгущается и... припахивает.

— Припахивает?

— Ну да. Пахнет. Чтобы не сказать пованивает. Воняет. Ужасная такая вонь. Смрад просто. И ворчит.

— Что значит ворчит?

— Бранится, ругается. Черным словом иногда не брезгует. И все — голосом дедушки. Хоть вон беги.

— А вы дедушку своего отпели? По-христиански его похоронили?

— Нет, мы-то сами в церковь не ходим. А он такой кощунник был! Ведь и ходить уже не мог, и говорил еле-еле, а такие богохульства изрекал! Голос сразу у него прорезался. Откуда только силы брались? А сейчас он нас просто с ума сводит. Вы не подумайте, я сама врач, завотделением, — сказала мать, — а как облачко это стало появляться, думаю, все, схожу я постепенно с ума, раз у меня галлюцинации. Пошла к своей приятельнице — завотделением неврологии, стала ей про это рассказывать. Думала, может, она мне таблетки какие выпишет, лечение назначит... Она и говорит: ну, давай я к тебе приду и мы посмотрим, что там у тебя за облачко такое. Пришла она, а дочку я к подружке отослала — ночевать. Сели мы ближе к полуночи с этой завотделением на кухне, а облачко уже — тут как тут: дурно пахнет, бранится, неловко и слышать! А завотделением неврологии вдруг признается: это облачко не в моей компетенции, потому что оно — не продукт твоей психики, я тоже его видела. Поэтому тут нужны другие специалисты. Дочка про это на следующий день услышала и призналась, что тоже это облачко каждую ночь видела, да только говорить об этом кому-либо боялась — думала, ее тут же в сумасшедший дом упекут.

— Ладно, — сказал отец Владимир, — давайте приеду к вам — освящу квартиру. Заодно и на ваше облачко посмотрю.

Повезла я моего мужа по указанному адресу. Только вошли в чистую просторную квартиру, и вдруг

из-за угла выскочила на нас маленькая собачка, вроде болонки, и залилась злобным визгливым лаем, норовя куснуть за ногу и мотая из стороны в сторону полу подрясника.

— Иди ко мне, милая, иди, пушистая! — нагнулась я к ней. — От нас котом пахнет, вот она и лает.

— Р-рвав! — она неистово клацнула зубами, чуть лишь промахнувшись мимо моих пальцев, которые я едва успела отдернуть, и зашлась в захлебывающемся неистовом лае.

— Чакра, что с тобой? — ласково обратилась к ней хозяйка квартиры. — Ничего не можем понять: с самого утра она так заливается. А всегда была такая мирная ласковая собачка.

— Пусть подумает о своем поведении, — дочка взяла ее на руки и закрыла в ванной.

Меж тем мой муж прошел на кухню, куда его увлекла хозяйка, желавшая показать, где именно появляется этот дедушка в виде дурно пахнущего бранчливого облачка.

— Ничего, — приободрил он двух растерянных женщин. — Я тут факультет журналистики освящал и зашел покропить кладовку с кассетами, железными бобинами и прочим кинооборудованием, так когда брызнул на них святой водой и трижды произнес: «В бегство да обратится все лукавое бесовское действо», — стеллажи рухнули и все бобины рассыпались по всему полу. Сами преподаватели, которые были со мной, сказали: «Видно, многое лукавство было заключено в них». Так и ваше облачко мы обратим в бегство.

И в эту минуту на кухню ворвалась взбешенная болонка, которой каким-то непонятным образом удалось вырваться из закрытой ванной. Ненависть

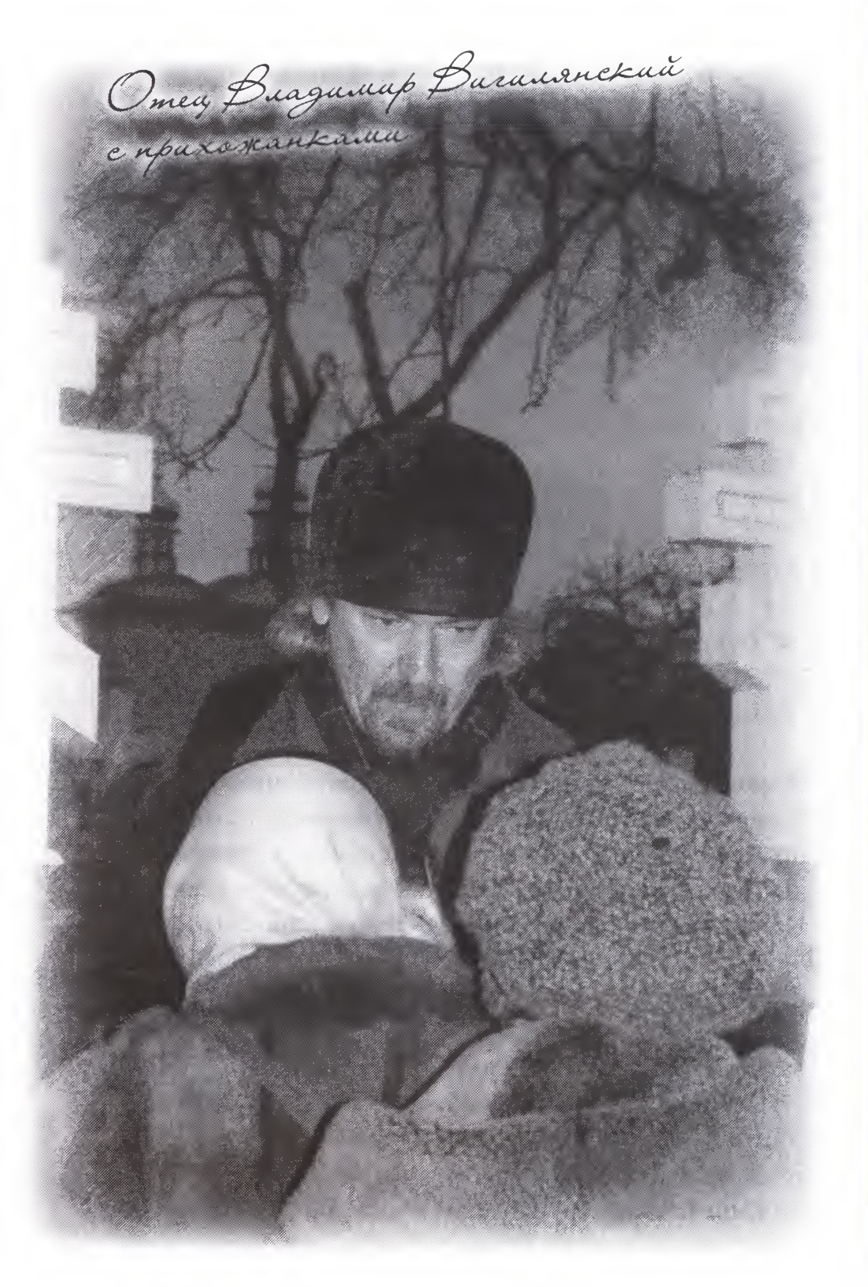


и ярость горели в ее черненьких, таких вроде бы забавных глазках-пуговках. Она кинулась на моего мужа, но женщины рванулись ей наперерез, успели перехватить и отправили обратно — за закрытую дверь. Но на этот раз они ее еще и заперли на защелку.

Отец Владимир разложил на столе требник, Евангелие, поставил святой елей и крещенскую воду, свечи, коробку с угольками, принявшись вслед за этим разжигать кадило.

Собака неистовствовала, хрипела и выла басом. Можно было подумать, что она там превратилась из болонки в ротвейлера.

Освящать квартиру пришлось под аккомпанемент этого безумного лая.



Отец Владимир Вигилянский
с прихожанками

Но отец Владимир прочитал молитвы, Евангелие, начертал елеем кресты по четырем сторонам квартиры и двинулся по всем помещениям с кропилом, святой водой и властными словом: «В бегство да обратится все лукавое бесовское действо!» Щедро плеснул на заклятое место над кухонным столом, на окна, двери, предметы, стенки, занавески, шкафы, диваны, стулья... Настала очередь ванной.

Дочка открыла дверь и попыталась взять на руки любимую декоративную собачку, но та цапнула ее за палец, вырвалась, судорожно забегала по квартире, в панике метнулась на кухню и, пока священник кропил место ее недавнего заточения, впрыгнула на табуретку, с табуретки на кухонный стол и там, продолжая все так же тяжело и надрывно лаять, наложила кучу и помочилась.

— А-а-а! — в ужасе заголосили испуганные женщины, увидев возле освященного елея эти следы непотребства.— Чакра взбесилась! С ней сроду такого не было, чистенькая такая всегда была, простите, простите! Это дух дедушки в нее вселился — кощунника! — оправдывались они. Пунцовые, растрепанные.

Но собаке и этого было мало. Она подпрыгнула, выхватила из руки отца Владимира кропило и принялась его терзать, валяя по полу и урча.

Кое-как кропило у нее отбили, саму ее снова изловили,— на сей раз уже не голыми руками, а халатом — и снова посадили под замок в ванную.

Мы уехали, утешив бедных женщин, что во время освящения домов и не такое бывало. Бывало, что крещенская вода, приготовленная для освящения, вдруг закипала и обрызгивала присутствовавших

кипятком. Что, видимо, дедушка их, действительно, сам еще при жизни призывал черную силу. Такое бывает...

Через две недели обе они — и мать, и дочь — появились в храме у отца Владимира.

— Ну что,— спросил он у них,— как там ваше облачко?

— Рассеялось,— сообщили они,— ушло. Даже както непривычно стало без него. И чувство такое, будто мы дедушку выгнали... А вот Чакра...

— Что случилось?

— Кинулась под машину. Сама. Вывели ее гулять — тогда, сразу как вы ушли, в садике спустили с рук. И вдруг она куда-то рванулась и сломя голову понеслась. И вот — осиротели мы. Она нам была как ребенок. Дедушка, наверное, отомстил.

Тут отец Владимир не выдержал и сказал:

— Дедушка ваш уже давно в гробу. А вы на него все беды валите. Признавайтесь, вы сами — чем в этой квартире занимались? Почему собачку невинную Чакрой назвали?

Они переглянулись и потупились:

— Ничего такого... Мы просто один раз, когда это облачко появилось, приглашали к себе экстрасенсов. Они долго ходили по квартире с какими-то палочками и вертящимися рамками, воскуряли благовония и делали пассы, но так и не справились. А до этого мы просто один раз дедушкин дух вызвали — узнать, как он там. Брошюрка нам попалась на развале: пособие по спиритизму. Решили попробовать. Всего разочек. Да он и сам был недоволен. Как сказанул: «Лахудры драные, вот я вас!»...

И что же? Получилось, что выполнил обещание.

Сократис



В то лето монахи Свято-Троицкого монастыря почтили меня своим монашеским доверием: тем самым они как бы приняли меня в свое мужское монашеское братство. Я имею в виду, конечно, моих трех друзей-монахов — двух иконописцев и одного поэта.

Стояла жара, и они выходили под покровом ночи через потайную калитку, от которой у них был ключ, садились в мою машину, и мы ехали на Лесное озеро купаться. Берег озера был изрезан так, что образовывал маленькие бухточки, и мы с братьями монахами располагались в соседних, потом встречались на глубине и плавали, а выходили опять по отдельности. И, уже одевшись, встречались на холмике. Там разводили костерок, пили из термоса растворимый кофе, разводили суп-лапшу «доширак» и — что уж теперь скрывать? — попивали греческий коньяк «Сократис», который в неразберихе перестройки в огромных количествах был завезен в маленький Троицк и продавался в единственном ларьке на Рыночной площади.

А бывало, монахи приходили в мой белый Троицкий дом на холме, и тогда уже мы сидели под яблонями в саду, смотрели на огромные звезды, вели пространные разговоры о предметах высоких и низких и запивали это все тем же бодрящим сердце эллинским, склоняющим к философствованиям зельем. Это были блаженные времена.

А иногда то один, то другой монашеский брат подходил ко мне в монастыре с характерной черной сумкой из плотного штапеля, совал в руки деньги и просил:

— Слушай, ко мне тут дядюшка приезжает — хочется с ним душевно посидеть, угостить, поговорить, давно не виделись. Купи нам, пожалуйста, пару бутылочек «Сократиса», а?

И я, конечно, покупала. Потом и другие монахи об этом прознали, тоже ко мне потянулись со своими черными сумками. И я тоже им отказать не могла. Но в какой-то день получилось так, что мне пришлось в разное время совершить к ларьку на Рыночной площадь аж три ходки — три ходки по две-три бутылки!

Поэтому стоит ли удивляться, что продавщица уже очень даже хорошо меня знала и при одном моем приближении руки ее сами тянулись к ящику с «Сократисом».

И вот как-то раз у меня закончилась зубная паста. А поскольку в этом моем ларьке продавалось все, что имелось в Троицком ассортименте, — то есть корейские супы, водка, коньяк, чипсы, сникерсы, шпильки, мыло, тени для век и т. д., то я и направилась туда обычной своей походкой.

— Здравствуйте,— заглянула я в окошечко.

— Здравствуйте,— приветливо отозвалась продавщица.— Вам как обычно?



И, не дожидаясь ответа, она поставила передо мной несколько бутылок «Сократиса»: «Вам сегодня две или три?»

После этого я отказалась покупать монахам коньяк.

– Все, братия, – сказала я. – Меня уже здесь и так за местную алкашку держат. А если мой муж приедет и мы с ним пойдем покупать в этот ларек какое-нибудь мыло, а мне оттуда: «Здрасьте! Вам как обычно?» И – хлоп передо мною батарею бутылок. Это как будет?

Но лето уже и так заканчивалось, в монастырь был назначен новый наместник, который «закрутил все гайки» и велел заколотить потайную калитку, а один из моих друзей-иконописцев съездил к старцу и там рассказал ему все про «Сократис».

– Сделайте, батюшка, так, чтобы и я, и мои друзья, монахи-иконописцы, поэты, совсем перестали



пить, — попросил он старца в приливе покаянного чувства.

И что? Старец так его припечатал крестным знамением, что он вернулся в монастырь совершенным

трезвенником. Мало того — почувствовал он вдруг такое отвращение ко всякому веселящему сердце напитку, что даже и не мог его взять в рот. Даже порой и хотелось бы ему — так, теоретически — утешиться с братией, в своем кругу, а с души воротит.

А с другом его, тоже иконописцем, за которого он просил старца,— иная история. У того с души вовсе не воротило, а очень даже душа его к зелию прилежала. Но стоило ему лишь сделать несколько глотков такового напитка, как у него начиналась страшная аллергия — вплоть до того, что его по «скорой» увозили в больницу и там откачивали, чуть не реанимировали.

Так и не пьют теперь мои друзья — монахи-иконописцы. Пятнадцать лет прошло, уж и старец этот умер, а они все потягивают исключительно зеленый китайский чай или травяную настойку.

— Ну хорошо,— спросила я.— А почему же на поэта нашего монашествующего, третьего нашего друга,— совсем не подействовало? Он и ухом не повел, ему как слону дробинка. Или это как в Евангелии: один — берется, другой — оставляется?

— Знаешь что,— сказали они мне.— А вот это уже — не надо! Суды Божии — тайна. И здесь уже надо замереть, встать на цыпочки, затаить дыхание, приложить палец к губам. Творит Бог елико хощет! А вообще в житии преподобного Антония сказано было с небес ему, полюбопытствовавшему: «Антоние! Себе внимай!»

Покойный муж игуменьи Серафимы



Монашество – дело сугубо добровольное. Недаром в чине пострига есть такое место. Постригающий игумен (старец) спрашивает у постриженника:

– Своей ли волей пришел еси, брате, припадая ко святому жертвеннику сему?

И тот отвечает:

– Ей, честный отче.

Но я знаю такие случаи, которые происходили уже в наше время, после освобождения из Вавилонского плена, когда неопытных неофитов или заманивали в монастырь, или постригали едва ли не силком. Это объясняется тем, что, во-первых, неофиты порой отличаются невежеством, неуравновешенностью и сами склонны к духовным перекосам. То они постятся до полусмерти, то начинают с заносчивостью утверждать, что посты – это отжившие и устаревшие установления. То они принимают слово священника за истину в последней инстанции, то вовсе не ставят духовное руководство ни во что. А во-вторых, когда стали открываться

новые монастыри, тут же потребовались и монахи. Поэтому порой брали и постригали таких вот — незрелых, не готовых к этому послушников, да еще и с неофитскими комплексами.

Одну такую историю я и сама слышала от монаха из далекого северного монастыря. Приехал он как-то к старцу, чтобы попросить его благословения на успешную защиту диплома в своем институте. А старец не долго думая ему и говорит:

— А тебя — в монахи.

Взяли его под белы руки духовные чада старца и увезли в монастырь. Он и опомниться не успел, как его там ударными темпами и постригли. И начались его мытарства и скитания по монастырям.

— А что же вы старцу не сказали тогда, что не желаете монашеского пути? Или, по крайней мере, что вы — не готовы? — спросила я.

— Я просто не знал, что так можно,— признался он.— Я думал — старец сказал, так теперь хоть земля пусть провалится, а ты выполняй. Боялся я, что Господь меня покарает за непослушание. И духовные чада старца тоже мне твердили: старец сказал — теперь никуда не денешься! Решено.

«Своей ли волей пришел ли, брате, ко святому жертвеннику сему?»

Но бывали и более тонкие способы уговорить человека ни с того ни с сего уйти в монастырь. Даже и я чуть было не попалась — во всяком случае, сердце у меня начинало поёкивать и поворачиваться, вопреки всему, в эту сторону, борения начались... Вот как это было.

В 1995 году моего мужа рукоположили во диакона Русской Православной Церкви, и служил он тогда в Сретенском монастыре. Почему-то у меня

было такое искушение, что раз он уже попал в число священнослужителей, то его могут и в монахи застричь. А что? Скажут: «Отец Владимир, давай-ка “за послушание”». И как тогда я? Мне уж никак не хотелось расставаться с ним! Этот страх ни на чем не основывался и был просто навеян лукавым духом, всегда старающимся смутить христианское сердце.

И вот матушка Серафима, незадолго до этого ставшая игуменьей Новодевичьего монастыря, прослышав от кого-то, что существует такая «диаконица», которая давным-давно водит машину, очень мной заинтересовалась: митрополит Ювеналий готов был пожертвовать ее монастырю свою черную «Волгу», но желал это сделать лишь тогда, когда у матушки появится шофер. И вот она обратилась ко мне с просьбой, чтобы я устроилась к ней водителем, и тогда у монастыря сразу бы появилась своя машина, ну а потом кто-то из ее послушниц научился бы водить автомобиль, и она бы отпустила меня с благодарностью.

Матушка была мне очень по сердцу: она принадлежала славному дворянскому роду, послужившему Церкви, царю и Отечеству: ее родным дедушкой был новомученик митрополит Серафим Чичагов, который в свое время много потрудился для канонизации преподобного Серфима Саровского, считавшегося еще и нашим семейным покровителем, спасшим во время Отечественной войны от верной смерти моего отца. Прадед ее служил при Николае I министром Военно-морского флота, а прапрадед — адмирал Чичагов в свое время прославился тем, что разбил под Ревелем шведскую эскадру.

Что касается самой игуменьи Сарафимы (Варвары Васильевны), при том что она никогда



не состояла в партии и даже любила повторять: «Господь был милостив ко мне и позволил избежать членства в безбожной партии», она была профессором, доктором химических наук, почетным членом многих академий мира, лауретом Госпремии СССР, имела два ордена – Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции: ей принадлежали какие-то важные открытия в каучуковой промышленности, в частности она изобрела скафандр, в котором Юрий Гагарин полетел в космос.

Да и вообще она являла собой человека, что называется, «штучного».

Обговорив с игуменьей, что она будет отпускать меня на семинары по литмастерству, которые я вела в Литературном институте им. Горького, я согласилась.

Люди митрополита Ювеналия тут же оформили на монастырь его «Волгу», мне, как шоферу игуменьи, была выдана доверенность, и жизнь моя покатилась по дорогам новооткрытой Новодевичьей женской обители. Надо сказать, что в ту пору собственно монастырю принадлежал только храм со свечной лавкой да три комнаты, располагавшиеся в самом храме: в дальней — была приемная игуменьи, куда к ней приходили, в основном, несчастные, разбитые горем женщины. (Одну выгнал из однокомнатной квартиры сын, приведший туда молодую жену, другую — пьющий и рукоприкладствующий муж, а третью — еще совсем юную особу — прислал какой-то монах-духовник, запретивший ей вступать в брак с любимым человеком: «Если выйдешь замуж, ко мне можешь больше не приходить!»: жениху она предпочла духовника). В проходной комнате располагалась кухня с трапезной, ну а в третьей, отдельной,— хранились какие-то полезные для обители вещи. Монастырю, в принципе, отходили и полуразрушенные постройки, которые со временем должны были преобразиться в кельи для сестер, но это относилось к неизвестному будущему, поскольку никаких средств на их восстановление не было и пока потенциальным насельницам было негде главы приклонить.

Они жили кто где и каждый день приходили в монастырь «на послушание» из мира. Да

и матушка игуменья продолжала жить в своей московской квартире на площади Восстания, куда я заезжала за ней каждое утро в восемь часов тридцать минут на своей машине, привозила ее в монастырь, лихо зарулив в ворота, которые с неизменной поспешной готовностью распахивал пожилой охранник, и только тогда пересаживалась на черную «Волгу».

Она была припаркована у самого храма. Там же всегда стояла отлично сохранившаяся «Победа» молоденького иеродиакона митрополита Ювеналия, и по утрам я, вдохновляемая примером неутомимого хозяина «Победы», трудившегося поблизости, надраивала «Волгу» и вытряхивала коврики, чего почти никогда не делала со своей машиной, считая — возможно, не без оснований, — «что так сохранней будет» (за год до этого у меня прямо из-под носа угнали мою чистейшую и сиявшую полировкой «семерку»).

Далее, когда машина была готова к выезду игуменьи, мы ехали с матушкой «по спонсорам», то есть по всяким инстанциям и благотворительным фондам, где можно было разжиться деньгами на восстановление монастыря. Но никто денег давать не только не торопился, но, кажется, и вовсе не собирался, несмотря на то что визиты матушки предварялись вдохновенными посланиями и убедительными аргументами в пользу именно такого употребления средств. Никак нам не удавалось поворотить в сторону разрушенной обители финансовые потоки. На нас смотрели с такой подозрительной и лукавой ухмылкой (мол, нас на мякине не проведешь, нашли простачков!), словно мы просили по меньшей мере повернуть северные реки...

Я даже использовала для этого свое членство в Русском Пен-центре и, узнав телефон пресс-секретаря Хакамады, в то время депутата Госдумы, представилась (наверное, для повышения статуса просьбы) писательницей и произнесла в трубку, как мне казалось, некий «харизматический» текст о тех неисчислимых духовных, эстетических, а также прагматических выгодах, которые Ирина Муцуовна могла бы получить за свое покровительство...

Пресс-секретарь (секретарша) строго спросила, что я имею в виду, говоря об «эстетических выгодах»? Я ответила, что восставновление такой прекрасной обители приносит эстетическое удовольствие и вызывает в памяти прекрасный образ великой княгини Елизаветы Федоровны, создавшей свой монастырь... Ну в том смысле, что это будет «красивый поступок». К тому же его игуменья — аристократка, внучка мученика, сама академик, никогда не была членом КПСС.

Я даже не без поэтической велеречивости намекнула, что Ирина Муцуовна могла бы этим украсить и свой собственный — запнувшись, я все-таки сказала — «имидж», и свою грядущую предвыборную кампанию и даже войти в историю, причем самым достойным образом.

Мне кажется, я вещала так убедительно, что чуть ли не воочию вдруг увидела эту прекраснейшую картину вхождения Ирины Муцуовны в историю: в белых одеждах, в изящном венке из лилий — как-то именно так входила туда Ирина Муцуовна, и оттого история представилась на миг чем-то наподобие Царства Небесного... Вот такое чудное было у меня мгновенье — мимолетное виденье...

Но завершилось оно, как и положено, тревогами шумной суеты, томлениями безнадежной грусти и мятежным порывом бурь.

Моя собеседница, посоветовавшись со своей начальницей, жестко ответила, что Ирина Муцуовна не видит причин, почему, собственно, она должна помогать именно православным, а не иудеям или мусульманам, или еще кому-то. Было ясно (впрочем, этого и следовало ожидать), что ни образ великой княгини, ни игуменьи-академика никак не вдохновил (хотя бы эстетически) бывшую коммунистическую активистку и преподавательницу марксистско-ленинской политэкономии. И теперь я с печалью окидывала взором тот импортный безликий ширпотреб, в котором Ирина Муцуовна замаячила на телеэкранах...

Но и с насельницами матушке было трудно. В ее распоряжении была одна-единственная настоящая инокиня, уже имевшая опыт монастырской жизни. У матушки ее постригли в мантию, и она продавала свечки. Но и с ней были проблемы – ей мешал именно что прошлый монастырский опыт, она то и дело заявляла игуменье:

– А у нас в такой-то обители было не так... А наша игуменья говорила...

Матушка ворчала на нее:

– Вот и сидела бы в своей обители, что ж она к нам так просилась?

Да и на меня у этой монахини началась брань – ей все казалось, что я уезжаю на монастырской машине «по своим делам» и что заливаю в свою – монастырский бензин, который отпускали мне на бензоколонке по каким-то казенным талонам. И она даже поделилась своими подозрениями с матушкой.



Олеся Николаева — шофер игуменьи

Матушка спросила меня бесхитростно: «А как вы покупаете бензин для своей машины — по талонам или за деньги?» Я ответила: «За деньги», и она успокоилась. Но поразительно, что эта монахиня на этом не остановилась и, вызнав окольными путями имя моего духовника, пробралась к нему — жаловаться.

Он спросил меня на исповеди:

— Вы когда-нибудь заливали в свою машину монастырский бензин?

И я поняла, как же враг рода человеческого неистовствует и мучает Христовых невест! Мне было жалко эту монахиню, и мысль о том, что я забросила мужа, детей, писательство, ринувшись на помощь игуменье и чая «божественных приключений» лишь для того, чтобы подворовывать монастырский бензин, казалась мне просто смешной.

С остальными насельницами было не легче. Многие из них, кажется, вообще не успели стать

церковными людьми: во всяком случае, когда нам пришлось всем вместе читать вслух правило к причастию, они это делали так, словно видели эти молитвы впервые и с напряженным удивлением разбирали слова по слогам: о-ле бла-го-утро-би-я Бо-жи-я...

А кроме того — матушка, как оказалось, совершенно не умела начальствовать, то есть приказывать, настаивать, делать выговор. Это было тем более странно, что когда она работала в миру, она руководила целыми лабораториями и отделами. Но в ней — может быть, в этом выражалось какое-то противостояние советской власти, стремившейся подавить личность, — было столь сильно развито, даже гипертрофировано уважение к человеческой свободе, что матушка обращалась к своим послушницам так, как будто предоставляла им полную свободу выбора.

В общении со своевольными и пока еще духовно неотесанными насельницами, продолжавшими считать и в монастыре, что они «в своем праве», это создавало определенные неудобства. Ее обаятельный басок всегда звучал интеллигентно, уважительно и мягко. Разговор с насельницами происходил примерно так:

— Валентина, не хотели бы вы сегодня вымыть пол в храме?

— Ой, матушка, что-то настроения нет, что-то мне в спину вступает.

— Татьяна, а вы как себя чувствуете, вы не были бы против?

— Нет, матушка, я что-то сегодня не в духе.

— А вы, Наталья, как расположены — не хотели бы потрудиться во славу Божию?

— А у меня что-то изжога. Нет, пусть вон Лариса вымоет.

– Лариса, а вы что скажете на мое предложение – вымоете?

– Матушка, а меня в пот бросает, я лучше за трапезой житие вслух почитаю...

Мне становилось жалко матушку, растерянно смотревшую на своих новоначальных и капризничающих послушниц, и я говорила:

– Матушка, если не надо никуда ехать, то давайте я вымою.

– Во славу Божию! – радостно откликалась матушка.

Обычно это оказывало мощное воспитательное воздействие: уже через десять минут все имевшиеся в наличии насельницы ползали по полу и оттирали воск и грязь.

– Как говорил мой покойный муж, – говорила матушка, когда мы после этого садились в машину, – испортила человека советская власть: каждый стал считать, что он должен делать то, что хочет. Самое поразительное, что она не давала для этого никаких возможностей: возможностей не было, а убеждение до сих пор живо.

Вообще матушка очень часто, особенно в минуты сугубых затруднений и скорбей, ссылалась на авторитет покойного мужа: «как говорил мой покойный муж». В устах игуменьи это звучало своеобразно, но трогательно. Было очевидно, что они прожили вместе много лет и жили душа в душу.

Читали же за трапезой на самом деле не житие, а книгу «Ольховский монастырь» – про такую идеальную и тихую женскую обитель. Абсолютно виртуальную и ни в какие времена не существовавшую. Потому что монастырь – это кровь, боль, скорбь, пот. А там все вроде бы – тишь, гладь да

Божия благодать, а на самом деле сироп, сахарный концентрат. Наши насельницы томно вздыхали: «Вот бы и нам в такой монастырь...» В конце концов я не выдерживала и говорила им: «Так вот вы сами у себя и создайте его». Они разводили руками: «Да как, как?» Я говорила: «Да хотя бы игуменью свою слушайтесь!» Но на следующий день все повторялось сначала:

— Елена, вы не будете так добры почистить картошку для сестер?

— Ой, матушка, что вы, у меня что-то с утра в ухе звенит. Да и от нее потом такие руки! Такая под ногтями грязь!..

Несмотря на первоначальные уверения матушки, что работы у меня будет немного («Так только, меня забрать из квартиры в монастырь да из монастыря отвезти вечером домой, по городу туда-сюда неподалеку, совсем рядом, буквально в двух шагах!»), ездить мне приходилось с утра до ночи. Но матушка, кажется, сама не могла себе представить, в какую круговерть поместил ее Господь.

В восемь тридцать я доставляла матушку в монастырь, а обратно увозила то в девять вечера, то в десять, а бывало, что и в одиннадцать. А в этом промежутке мне приходилось колесить по монастырским делам практически весь день.

Так, мы ездили с матушкой по каким-то ткацким фабрикам, выбирая материю, из которой послушницам будут шить монашеские облачения и летние платья: монастырю передавалось подворье с храмом, хоздвором, огородами и полями, чтобы он мог сам себя прокормить. Предполагалось, что послушницы приступят к весеннему севу, как только сойдет с полей снег, и все лето до начала осени проведут

в деревне. Для работы в полях им и нужны были эти легкие, но по-монашески скромные платья.

Однако матушке категорически не нравились предложенные ей на фабрике ткани — были они все изначально выцветшие и изощренно уродские, словно откровенный вредитель приложил к ним руку: то с какими-то салатными огурцами по грязно-синему фону, то с фиолетовыми цветками по желто-зеленому, то с оранжевыми домиками по лиловому...

— Кто это все так напридумывал, насочинял, нарисовал? — недоумевала матушка.— Нет, ну как я своих сестер одену в такое сиротско-старческую неряшливую безвкусицу? Я считаю, что и на монахине одежда должна быть опрятной, если угодно, стильной. Монашеский облик — это тоже проповедь. Не должно быть такого, что кто-то, увидев монахиню, отвратился бы от ее безобразного вида. Ну до юродивых нам далеко! Не будем на них равняться — это такая высота, что нам к ней примериваться — только демонов смешить! Нет, монахиня — это кто? Это невеста Христова! Что же — Христу, что ли, самое худшее, самое неряшливое и неказистое нужно отдать? Ну нет! Конечно, никогда не нужно ничем гордиться — тем паче одеждой или внешней красотой, но гордый человек, как его ни одевай, хоть в рубище, хоть в рваные какие портки, все равно найдет предмет своей гордости — рваными носками будет гордиться, грязной шеей... Так что смирение — совсем другой вопрос.

Наконец нам повезло — достали мы для сестер просто синего ситца в мелкий белый горошек, и матушка вызвала к себе портниху — выбирать фасоны.

— Для худеньких покрой должен быть один, для полных — немного другой...

Сидела, милая, старенькая, беспокоилась, перебирая выкройки, словно собралась одевать собственных дочерей. Так я, когда ездила за границу, ходила по магазинам и волнуясь покупала одежду своим дочкам: старшей Александрине – хрупкой, кареглазой, с каштановыми волосами – одно, младшей Анастасии – крепкой, голубоглазой, беловолосой – именно что немного другое.

Этот выбор игуменьей материи и фасонов для платья монастырским сестрам так меня тронул, что я, когда мы сели с ней в машину, воскликнула от избытка чувств:

– Как же должны быть счастливы, матушка, ваши монахини под вашим крылом!

И тогда она вдруг сказала мне тихо-тихо и с осторожностью таким милым своим баском:

– Ну а вы что же? Может быть, пошли бы ко мне, а? Вместе бы послужили во славу Божью! Монашество – это ж ангельский чин!

И так посмотрела на меня, так посмотрела, как на «свою»...

Лейтмотивом матушкиных рассуждений всегда было:

– Вот, Господь меня в восемьдесят лет поставил игуменьей когда-то огромного монастыря. А я – что? Что я Ему скажу на Страшном Суде – Господи, так ведь я старая, я больная, я немощная, послушницы мне достались бестолковые, непослушные, монастырь разрушенный, денег нет, вот я ничего и не сделала! Так я Ему, что ли, скажу? Нет, раз Он меня определил на это место, я должна, хоть умри тут на месте, монастырь восстановить.

Это она повторяла постоянно – и когда начинала брезжить какая-то надежда на помощь со стороны,



и когда дело казалось безнадежным: да к тому же и Великий пост наступил — время сугубых искушений и скорбей.

Наконец состоялась процедура передачи подворья монастырю. Подворье располагалось неподалеку от Домодедово: надо было ехать по Каширскому шоссе, а потом, не доезжая до аэродрома, свернуть направо к городу Жуковскому, а после него налево, и там еще километров десять, а потом снова направо по бетонке километра три.

Мы приехали туда с матушкой и тремя послушницами — ровно столько вмещалось в машину. Священник, служивший там в храме, а теперь переведенный на другой приход, отдал нам ключи и опись имущества: с тем и уехал.

И матушка, обойдя новые владения, долго еще стояла посреди поля, которое вот-вот предстояло обрабатывать неопытным городским послушницам.

Ледяной мартовский великопостный ветер раздувал ее намятку и, казалось, готов был унести в пространство – туда, к темневшему лесу, саму ее маленькую, сухую, совсем старческую фигурку, но матушка продолжала крепко стоять, оглядывая слезящимися глазами место, где она, восьмидесятилетняя игуменья, избранная Господом, должна была споспешествовать явлению славы Божией...

С тех пор я ездила в подворье почти каждый день – бывало даже, что и по два раза, когда надо было перевезти туда на богослужение всех насельниц. Возила я туда и всякую утварь, и припасы, и даже пожертвованных монастырю барашка и гуся: они помещались на заднем сиденье в корзинке – блеяли и гоготали. Возила я туда и иеромонаха, которому предстояло там служить и стать монастырским духовником. Это был интеллигентный и симпатичный человек, и мы с ним ну не то чтобы подружились, а просто – разговаривали и понимали друга. И вот едем мы как-то оттуда после литургии, март, снега начинают таять, грачи прилетели, птицы уже поют, косые лучи солнца пронизывают машину насквозь – мы словно в светящейся шкатулке сидим. Он и говорит:

– Трудно, наверное, решиться на монашество, да? А как было бы хорошо, как хорошо!

Я подумала, что это он говорит как-то так, вообще.

– Да-да, – говорю, – да-да!

Проехали еще немного, и он так доверительно мне советует:

– Просто надо идти, и все! А у нас – смирения нет, терпения нет, послушания нет, так надо бороться! Что же за житейскую эту жизнь так уж держаться?

Он зажмурился, весь золотой в лучах весеннего солнца.

Я кивнула, но затаилась в себе.

А подъезжая уже к Новодевичьему, он не выдержал и произнес:

– Да монашество так бы пришлось тебе по душе! Ведь радость же, красота какая, свобода от мира! Подумай, Сам Господь – твой Жених!

И тут я уже с подозрением посмотрела на него. Что-то зашевелилось в душе, заскреблось: это я почувствовала себя – Колобком. И когда этот иеромонах исповедовал на подворье в следующий раз, на исповедь к нему я уже не пошла.

И вот как-то раз, поскольку приходилось мне возить и гостей монастыря, должна была я доставить домой заслуженного звонаря. Когда-то он звонил в монастыре к заутрене, будучи совсем юным, – наверное, это было еще при императоре Николае Александровиче, а теперь это был старенький и сухонький человечек. В монастырь его привезли знакомые, а отвозить пришлось мне. Я спросила его:

– А куда везти? Какой адрес?

Он ответил:

– Адреса я не припоминаю, но зрительно помню все. Вы езжайте, а я вам буду показывать дорогу.

Сел на переднее сиденье и принялся руководить: прямо, направо, налево. Мы проехали Люсиновскую, и где-то возле метро Тульская он вдруг вскричал:

– Скорее, поворачиваете налево, вон туда, под свод, прямо вслед за трамваем.

– А проезд-то тут есть? – с сомнением спросила я, ибо никогда не видела, чтобы сюда заезжали машины.

— Конечно, не сомневайтесь, я тут всегда на трамвае езжу. Я это место узнал.

Ну что — я повернула куда он говорил и поехала по трамвайным путям. Но что-то тут было не так — машин не было, асфальт кончился, зато блистали под солнцем две четкие линии рельсов. Наконец трамваев стало попадаться все больше и больше. Они располагались в странном порядке, подобно тюленям на лежбищах — то тут, то там вокруг них суетились люди, лица которых вытягивались, стоило им лишь взглянуть в нашу сторону. У меня мелькнуло весьма даже реалистическое подозрение, что мы заехали в какое-то трамвайное депо, но я отмахнулась от него как от непродуктивного — то есть это уже не имело значения: все равно надо было как-то отсюда выбираться. И я продолжала медленно и упорно двигаться по рельсам в направлении, указанном мне старейшим звонарем. Мы в очередной раз повернули, и тут старичок радостно закричал:

— Это здесь, здесь, я узнаю эти места, выезжайте теперь на улицу!

Действительно, впереди была улица, очень даже широкая и оживленная. Что за улица? Я потеряла всякую ориентацию, которая и в привычных условиях у меня, мягко говоря, не очень, то есть можно сказать, что, напротив, есть у меня такой «топографический идиотизм». Но теперь он был еще и усугублен путешествием по депо. Короче, мы выехали на незнакомую улицу, и тут я увидела на противоположной стороне длинный-длинный, почти километровой длины бетонный дом. Дом этот начинался примерно там, где мы юркнули в ту трамвайную арку («свод», как назвал его звонарь), и вот после всех мытарств мы вынырнули снова возле этого

бесконечного дома, только в обратном направлении.

— Ой, кажется, мы едем правильно, но только в противоположную сторону, — сказал старичок.

Этот случай с заслуженным звонарем дал мне понять, что с моим профессиональным шоферством у матушки надо постепенно заканчивать: я тоже еду, хоть и по послушанию, и, в принципе правильно, но не в ту сторону, не туда! Как говаривал, по словам игуменьи Серафимы, ее покойный муж, каждый видит в явлениях жизни знаки, сделанные лично ему. Так что пора мне и честь знать, откланяться, сказать «спасибо» и тихо уйти.

Но — Великий пост, в монастыре запарка, половина сестер больные по домам лежат, им лекарства нужны, документы надо в Патриархию завезти, гуманитарную помощь сестрам из Даниловского монастыря забрать. Въехать прямо в ворота: «Машина игуменьи Серафимы!» — «Игуменьи Серафимы? Проезжайте».

Да и матушку игуменью надо было в поликлинику доставить. И вот застряли мы с ней в такой безнадежной пробке, что сама наша поездка уже теряла всякий смысл — мы не только не успевали к назначенному часу, но и стоя на одном месте, сжатые машинами со всех сторон, уже опоздали минут на тридцать.

Матушка поначалу нервничала и все торопила меня, хотя мы почти вплотную придвинулись к впереди стоявшей машине, но потом она как-то смирилась и стала разглядывать улицу.

— Что это за ресторанчик? — спросила она меня, указывая в сторону огромной витрины. — Здесь раньше такого не было. Меня мой покойный муж часто приглашал в рестораны, поэтому я знаю.



— Это китайский ресторан,— ответила я.— Хороший, но очень уж дорогой. Нас с моим мужем сюда приглашал один американский славист.

— Дорогой? — удивилась матушка.— Странно. Я была с моим покойным мужем в китайском ресторане в Италии, и он был очень дешевым. Китайские рестораны вообще дешевые.

— Они очень дешевые и в Париже, и в Америке, их там много, огромная конкуренция, — сказала я.— Но до нас эта дешевизна еще не дошла: такой ресторан пока что один-единственный в Москве.

— Да,— согласилась матушка,— в Италии, конечно, им не выжить, если они будут драть с посетителей три шкуры. Там есть ведь и прекрасные свои национальные рестораны, и французские, и какие угодно. Мы с покойным мужем довольно часто ходили в рестораны и когда ездили на конференции за границу, и у нас, у Москве... Порой именно там улетучивался дух «советчины»...

Я представила себе, как прореагировал бы на этот разговор игуменьи и ее шофера некто, вздумавший бы подслушивать нас со стороны, и улыбнулась.

— Что это вы улыбаетесь? — строго спросила она.

— Я улыбаюсь, потому что понимаю, что вы — счастливый человек!

— Что это вы так решили?

— Вы — внучка мученика,— начала я,— у вас был прекрасный любимый муж, вас благословил Господь в вашей работе, вы сделали ценнейшие научные открытия, которые приносят людям пользу, и даже в вашей маститой старости Господь почтил вас Своим доверием и избрал игуменьей прекрасного монастыря в самом центре России!

— Вы говорите так, словно произносите речь на моих похоронах, — смущенно засмеялась она.— Уж не собираетесь ли вы от меня уходить?

— Матушка, собираюсь,— призналась я.

— Почему? Что-то вас не устраивает? — заволновалась она.

— Все меня очень даже устраивает. Но у меня же муж, дети, любимое дело... Машина теперь у монастыря есть, шофера я вам найду. А я — сами посудите — какой я шофер? Ну колесо у нас спустит где-нибудь ночью под дождем на шоссе — что мы с вами будем делать? Стоять, голосовать, мокнуть, искать мужиков, взывать к шоферской солидарности на дорогах...

— Ну хорошо,— сухо сказала она.— С монашеством, я понимаю, у вас не складывается. Тогда хотя бы найдите мне шофера. Верующего. Как говорил мой покойный муж, нет большего безумия, чем довериться лукавому человеку. А шофер — это ведь доверенное лицо. Именно ему, садясь в машину, открываешь свои первые реакции...

Я нашла. Это был мой мастер Саша, по образованию химик, который чинил мою машину. Он тогда только-только начал приходить к Церкви, и ему

понравилось, что он будет возить саму игуменью Серафиму.

А иеромонах, который стал было духовником ее женского монастыря, вскоре был переведен в другое место, сделался сначала наместником, а потом и епископом. Я встретила его недавно во дворе Патриархии, в Чистом переулке. Он обрадовался, увидев меня, узнал:

— Ну ты — как? Слушай, а у меня в епархии женский монастырек создается. Место трудно словами описать: рай! Представь: речушка чистейшая, вода в ней родниковая, небо отражается, облака, звезды с луной. Чистая поэзия! А над речушкой той — косогор, на который взбежали несколько березок, да так и застыли, залюбовавшись видом. И вот как раз там, у этих березок, — обитель женская. Ну — как тебе?

— Замечательно, владыка, у меня тоже просто слов никаких нет!

— Ну, у тебя дети подросли уже, так? Что ж тебе теперь мешает пойти ко мне... игуменьей? Я бы и машину вам дал! Рулила бы, как тогда.

Я была так потрясена, что на какое-то время лишилась дара речи. Но потом все-таки сказала:

— Так у меня же муж! А как же он?

— А что муж? Что муж? Мы и его возьмем. И для него место найдется. Епархия большая. И его пострижем. Ты — в одном монастыре, он — в другом. Ну — просто Петр и Февронья.

Он стоял и светился изнутри, радуясь тому, как хорошо он все здесь придумал. Мне даже не хотелось его огорчать. Я просто сказала ему, вздохнув:

— Как любил говорить покойный муж игуменьи Серафимы, стой где стоишь, делай должное, и будь что будет!

Ангел



Той зимой у меня была тяжелая жизнь — во-первых, я очень устала: почти десять лет, когда муж стал священником и мы поселились в Переделкине, я практически с утра до ночи работала у него шофером и возила его ни свет ни заря в Москву и обратно — в час, когда все нормальные люди уже поужинали, отмокли в ванне и сидят себе преспокойно у телевизора. А во-вторых, я как-то хронически замерзла: на дворе было морозно так, что в нашем ветхом переделкинском домике комнаты не прогревались выше 12 градусов и то и дело замерзали трубы. Поэтому надо было постоянно быть начеку — обкладывать эти трубы пластмассовыми бутылками с кипятком, держать открытой зажженную духовку, пускать тоненькую струйку воды, наблюдать за включенными рефлекторами, но чтобы они не горели одновременно, а по очереди. Ибо в противном случае это грозило тем, что такого напряжения могли не выдержать электрические пробки и тогда дом наш погрузился бы в кромешный мрак. А мрака в декабре, как известно, и так предостаточно.

Ну и Рождественский пост к тому же...

Словом, как-то я изнемогла и с нетерпением дожидалась Рождества: там уже и день начнет прибавляться, там уже и Святки, тут и до масленицы недалеко, а тут и Пасха с солнышком, теплым ветерком и птицами, птицами.

И вот так, горюя и перемогаясь, я и поняла вдруг, чего именно мне особенно хочется и что явилось бы для меня подлинным утешением: увидеть своего Ангела. Вот, рассуждала я, он ведь дан мне при крещении и с тех пор ходит за мной, пребывает подле меня в моей комнате, присутствует тайно в моей машине, а я его не чувствую, не вижу, не слышу.

Прямо искушение с этим моим желанием! Ведь люди, которые хоть сколько-нибудь понимают в духовной жизни, отлично знают, что если грешный человек начнет вдруг видеть бесплотных духов, то это будет лишь свидетельствовать об его полном помрачении. И если мое желание вдруг исполнится и я увижу своего Ангела, то это будет означать, что — все, мама дорогая, пора тебе, детка, лечиться. И в то же время — так хочется, так хочется, как если бы он был любимейшим моим существом и я бы, тоскуя в разлуке, чаяла скорой встречи с ним.

Ужас — и не помолишься, чтобы Господь мне его все-таки показал, и не отсечешь от себя это безумное желание. Словом, бзик.

А тут и Рождественский сочельник приближается. Думаю — причащусь-ка я в сочельник, на литургии Василия Великого, а потом еще попрошу благословения у священника, чтобы и в Рождество. «Во исцеление души и тела». А то совсем я что-то скисла и рассыпалась.

Так и сделала. Причастилась в сочельник, да еще и разрешение на причастие в Рождество вымолила.

И сразу мне легче стало. Музыка какая-то в душе послышалась, свечечка внутри загорелась — тепло от нее.

Жалко только, что мужа моего поставили служить ночью на Рождество не в его храме Святой мученицы Татианы, куда мои дети с внуками на большие праздники ходят, а в храм Христа Спасителя. Там-то уж точно малые дети ночной службы не выдержат: ни присесть им, ни притулиться. Ну ладно. Пусть муж мой служит с Патриархом, а я поеду туда, где мои деточки — малые и большие. А после службы я мужа моего заберу и — домой, в Переделкино.

Отвезла я его в храм Христа Спасителя и вернулась в Переделкино за дочкой и внучкой, чтобы везти их в Татиану. Свернула с шоссе, еду по пустынной дороге, деревья все в инее, поземка по земле вьется, спешить мне некуда, по сторонам смотрю, любуюсь. А вот уже и место, где вовсе надо снизить скорость, включить левый поворотник и притормозить, потому что тут уже надо повернуть налево и въехать в ворота. Остановилась я и кручу себе руль осторожненько, поскольку дорога очень уж скользкая и ненадежная. И только я выписала этот угол в девяносто градусов, как вдруг вижу — несется прямо на меня, выехав через сплошную на встречку, на страшной скорости черный крутой автомобиль — прямо метит в мою водительскую дверь, и я в эти считанные секунды понимаю: все! Это конец. А с другой стороны — такой покой у меня в душе и голос какой-то — тоже очень спокойный и внятный — отчетливо мне говорит:

— Не бойся! Не бойся! Не бойся!

И тут в самый последний момент водитель этой летящей на меня машины крутанул руль влево, ударил меня по касательной в левое крыло, после чего

пролетел по высоченным сугробам еще метров пять, пока не врезался в железную сетку забора: она спружинила, хотя и порвалась, но остановила этот убийственный полет. Из этого БМВ выскочил мужик восточной национальности и кинулся к задней двери. Он распахнул ее и вынул оттуда на руках — ребенка лет семи. Подержал, подержал его так на весу, да мальчик затрепыхался и встал на ноги.

Все были целы и невредимы.

Но я продолжала сидеть в своей машине, которая после удара отвернулась вправо и уперлась носом в кучу мерзлого снега. Со мною произошло настоящее чудо, и душа переживала торжество, не силах до поры это вместить и осознать. Особенно поразил меня этот отчетливо прозвучавший голос: «Не бойся! Не бойся! Не бойся!» И я чувствовала, что и носитель этого голоса должен был быть в эту минуту рядом со мной, вот здесь.

Ну, дальше было очень много всякой суеты — надо было дочку с внучкой отправлять в храм на такси, дожидаться милиционеров, просить кого-нибудь привезти моего мужа после ночной литургии в Переделкино, ну и так далее, и так далее. Не в этом суть.

Я поняла, что Господь услышал мои тайные воздыхания и утешил меня уверением в том, что Ангел, даже если он пребывает для меня незримым, все равно со мной. Я иду, и он следом. Я сплю, и он надо мной. Я пишу, и он заглядывает через плечо. Я тоскую от одиночества, а ведь я — с ним. Но и: я негодую, а он слышит мои обличения, мои несправедливые язвительные слова... И, значит, все, что происходит со мной, не остается втуне, кем-то воспринимается всерьез, учитывается, записывается в книгу, которая будет прочитана на Страшном Суде.

Ну вот, казалось бы, и все — недоумения разрешены. Прошения исполнены. Радуйся, пой, живи! Блюди, яко опасно ходиши. Ан — нет!

Потому что через весьма малое время — уже Великим постом, в марте, месяце оксюморонов, когда сходятся вроде бы несводимые концы и начала и в таинственной единовременности пребывают картины детства, юности и текущей немолодой жизни, когда особенно отчетливо ощущается хрупкость и конечность жизни, а при этом — ее беспредельность и неотмирность, когда пронзительно чувствуется и неизбежное приближение Рокового Дня и его эфемерность, образ этого незримого Ангела опять появился как нечто желанное и вожделенное. Я ходила по черным скукоженным злым снегам и пыталась представить, где же тут он, и не находила его. Искала его, как возлюбленного, и — не отыскивала! Звала — и не слышала отклика!

Все повторялось опять: «Студных помышлений во мне точит наводнение тинное и мрачное, от Бога разлучающее ум мой,— еже иссуши, о заступниче мой!» Ангеле мой, Ангеле!

Но вот наконец наступила Пасха. И все стало так, как я мечтала в начале зимы. Засияло солнце, запели птицы, стал прихорашиваться жасминовый куст у моего порога.

А через несколько дней к моему мужу в храм Святой Мученицы Татианы пришел его прихожанин, который только что вернулся со Святой Земли, и подарил ему пасхальный подарок.

Это была фотография Патриарха Иерусалимского Исидора, сделанная на Пасху, когда он в своем храме причащал верующих. Вот он стоит на амвоне с Чашей в руке и осторожно раздает лжицей Святое



Причастие. А возле него, с той стороны, где Чаша, чуть лишь наискосок, — силуэт белоснежного Ангела с горящей свечой в руке.

Небесный огонь



18 августа я ехала в экскурсионном автобусе по направлению к горе Фавор. Это и был самый пик паломнической поездки: к полуночи подняться на самый верх и там, прямо на Фаворе, в греческом монастыре, в самый праздник Преображения Господня помолиться за Божественной литургией и причаститься. Паломники уже побывали у Гроба Господня, у яслей, где родился Младенец Господь, пересекли Иудейскую пустыню, поднявшись в монастырь Хозевитов, посетили обитель преподобного Герасима Иорданского, которому служил лев, и заглянули в Кану Галилейскую, где Христос совершил Свое первое чудо. Теперь они бурно обсуждали памятку экскурсанта, в которой была написана программа.

— Ишь, в одиннадцать сбор у подножья горы, восхождение. В двенадцать — всенощная и литургия. А в три часа ночи — схождение благодатного облака.

— Что ж — у них благодатное облако строго по часам, что ли, сходит?

— Ну да, раз оно является частью программы...

— Ты веришь?

— Что-то сомневаюсь... Мне кажется, это трюк какой-то. Греки все мудрят. Нет, ну как можно заранее спланировать то, что ты сам не можешь организовать?

Паломническая группа была пестрая и по своему социальному составу, и по возрасту, и по степени воцерковленности. Были и благоговейно-молчаливые, и «замолившиеся», «продвинутые» — они все время в автобусе читали вслух акафисты, а за трапезой от них то и дело слышалось: «А мне мой батюшка говорил...», «А вот мне мой старец...», «А мне мой духовный отец...»

Но были и совсем не просвещенные. В частности — старая сухонькая деревенская бабка со злыми-презлыми глазами, кучей денег и костылем, которым она чуть что — била попутчиков по ногам. Так, ей не понравилось, что я села в автобусе на переднее сиденье, откуда открывается прекрасный вид, и она согнала меня: ни слова не говоря, просто выковыряла меня своим костылем и уселась сама. Или — в Кане Галилейской. Экскурсовод завел нас в магазин сувениров, где бабка не могла объясниться с продавщицей, говорившей кроме иврита лишь по-английски, и попросила меня ей переводить. Когда подошла пора расплачиваться за покупки, она достала из сумочки пачки и пачки долларов, на которые я от неожиданности воззрилась в изумленье, а она со словами: «Чего вылупилась?» двинула меня локтем в бок и прикрыла от меня деньги рукой. В конце концов она обронила, что в паломничество ее послал сын, богатый. И все, кто уже успел испробовать на себе ее костыль, решили, что, верно, сын ее, по всей видимости,

не то что бы «реальный коммерс», а просто – «конкретный пацан».

Еще одним таким же диковинным человеком в этом паломничестве был мужик лет сорока пяти, дюжий и видный, но простецкий, со следами нездоровой жизни на помятом лице. Он признался, что его послала в эту поездку жена в надежде, что, может быть, это на него подействует исправительно. Он собирался идти ко Гробу Господню просто в белой майке, но наш экскурсовод – молодой иеромонах – попросил его принять надлежащий вид, и тогда он переоделся в черную футболку, на которой был нарисован белый череп.

– Это у меня так – на юморе и на приколе, – благодушно пояснил он, проводя ладонью по груди с рисунком.

После посещения Гроба Господня, за трапезой, когда разговор пошел на всякие возвышенные темы, он тоже присоединился.

– А я в Бога верю! – признался он. – И знаю, что Он мне помогает.

Иеромонах радостно закивал:

– Хорошо, что вы это чувствуете!

– А чего чувствовать? Я это вот как тебя – вижу... Как-то раз просыпаюсь – голова болит, в горле пересохло – помираю, думаю, если сейчас не приму. Но в доме – ничего нет. А жена – на работе и деньги все унесла. «Ой-е» – думаю. Ну, вышел из дома, пошел по улице, в землю гляжу, так мне погано. И тут прямо передо мной на тротуаре – не поверите! – пятьсот рублей! Лежат, родимые, прямо как меня только и ждут. Вы, батюшка, видели когда-нибудь чудо такое? Ну, говорю, Господи, поддержал Ты меня, понял! Слава Тебе! Прихожу в наш универсам, уже к полкам

нужным направляюсь, а тут сосед мой: «Вовчик, — говорит, — я у тебя двести рублей одалживал — так вот, возвращаю». И дает мне еще двести. Тут я не выдержал. «Господи, — говорю, — что ж это такое? Да хватит мне уже! Я ж так сопьюсь!» Но деньги взял. Вот как бывает-то! Как после этого не верить?

Наш иеромонах как-то стыдливо хмыкнул и опустил глаза.

— А вот у меня еще случай был... Познакомился я как-то с одной лярвой, ну — с бабенкой...

Но тут уж его не стали слушать, да и трапеза подошла к концу.

Теперь он сидел, развалившись сразу на двух сиденьях, в автобусе, везущем нас к горе, на которой преобразился Господь.

— Да это греки там нахимичили — с облаком! Небось, заранее стреляют в воздух капсулой с туманом, а к нужному часу она взрывается и спускается в виде облака. А им — паломники, барыши... А вот я нарочно — ничего там в монастыре у них не куплю. А еще мне рассказывали, как в одном монастыре монахи мазали икону подсолнечным маслом, а потом говорили бабкам: она мироточит! А те и рады — ну голосить, деньги тут же им понесли!

— Да ерунда все это! — возмутился иеромонах.— Не может такого быть! Очень надо — икону намазывать! Не станут монахи никого обманывать!

— Тише, тише,— зашикали на них поющие акафист.

Так и приехали в гостиницу. Скинули там вещи, перевели дух, почитали правило к причастию, а тут уже и к подножью Фавора пора ехать, а там либо подниматься в гору пешком, либо брать такси, потому что автобус туда не пройдет.

Пока ехали, опять только и разговоров было, что об этом облаке. Все волновались — появится или нет? И только я почему-то сохраняла к нему равнодушие: куда существеннее мне казалось, что мы попадаем на Преображение Господне именно туда, где оно и совершилось во время оно и продолжает совершаться за богослужением и ныне и присно и во веки веков. Пока лезла в гору, поняла, что ничего большего мне для моей веры вроде бы и не нужно: ни мироточений, ни облаков.

В греческом монастыре было уже полно народа — помимо собственно греков, еще и православные арабы, евреи, сербы, румыны, грузины, и конечно, — наши, русские, украинцы:

— Халя, Халя, я тут тебе место заняла!

В храме такая толпа народа никак не могла бы поместиться, и поэтому греки сделали выносной алтарь — нечто вроде веранды, примыкающей к храмовому алтарю, чтобы люди располагались по всему монастырю, под открытым небом. Я просочилась вперед и встала прямо у перилец, отгораживающих от остального пространства импровизированный алтарь. Так и простояла всю службу, до самого конца Евхаристического канона.

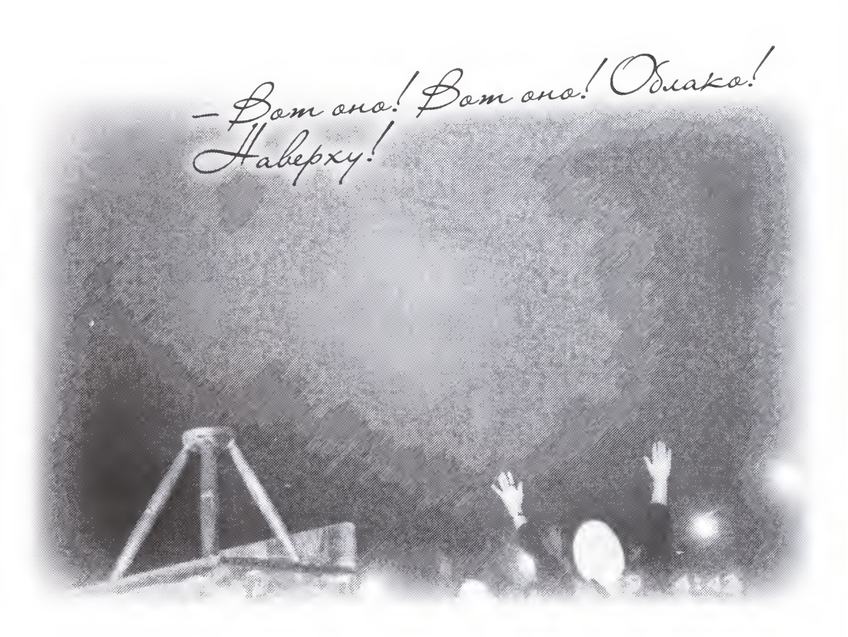
Но только священники стали причащаться в алтаре, в нескольких метрах от меня, как по толпе пронесся шепоток:

— Вот оно! Вот оно! Облако! Наверху!

Я задрала голову и действительно увидела, как прямо на купол храма, на самый крест спускается сизое тугое, аккуратненькое такое облачко и движется все ниже, ниже, постепенно окутывая собой и купол, и крест.



Монастырь
на Святой Земле



И тут, когда священник вышел с Чашей на самодельный амвон и провозгласил: «Верую, Господи, и исповедую...» и все устремились к нему, облако вдруг будто лопнуло, распространяясь по всему монастырю и окутывая людей своим нежным, влажным и туманным дыханием. И тут же – то тут, то там – начались вспышки, вспышки, молнии... Я поначалу подумала, что это эффект фотоаппаратов, которые начали запечатлевать чудесную картину. Но причастившись, отодвигаясь в сторону и присмотревшись, я увидела, что уже все пространство и в небе и на земле пронизано этими веселыми праздничными огненными птичками, змейками, молнийками, зигзагообразно пляшущими в воздухе и выхватывающими из тумана ликующие лица, протянутые руки, которые тянулись прикоснуться, а то и схватить небесный огонь, сошедший в мир. «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»

И — радость, ликование, благоволение, жизнь, жизнь!

Злющая бабка увидела меня среди веселящейся толпы, и что-то милое, детское, простодушное выглянуло из нее. Она схватила мою руку своей цепкой лапкой и, от избытка чувств, потрясла. Должно быть, этот огонь был того же свойства, что и тот, благодатный, сходящий в кувуклии Гроба Господня на Пасху, он не обжигал, хотя и не зажигал свечей...

Все это продолжалось до самого конца литургии. Потом небесное сияние стало ослабевать, туман — рассеиваться. Пора было уезжать.

Мы с моей бабулькой вышли из ворот и стали ловить такси, чтобы спуститься к подножью. Вдруг из ворот показался наш мужик — тот самый, который подозревал греков в корысти и надувательстве.

— Я как пьяный, — возгласил он. — Пьяный, а ничего не пил! Возьмите меня на борт.

Мы взяли его в свое такси.

— Ну все, — сказал он. — Победили они меня! Сдаюсь!

— Да кто вас победил?

— Кто-кто — греки эти! Все у них четко, все натурально. Бог им это тут все устраивает! А я одну-то молнию чуть не поймал! Я даже двадцать евро им положил. «Признаю» — сказал. Верую, так сказать. Эх, мамаша, мамаша! — И он вдруг сжал руку в кулак, поднес его к голове и трижды с силой ударил себя по лбу.

— Ну что? — спросила я у себя — той, которая поначалу все говорила, умничая: мол, эти чудеса для моей веры не так уж и нужны.

Но той — больше не было. Она не отвечала. Да я и не стала ее искать.



Корфу



Покровителем Корфу считается святитель Спиридон Тримифунтский, хотя он никогда не жил на этом острове, а жил на Кипре, где нес христианское служение, совершал великие подвиги молитвы и милосердия и чудеса. Но на Корфу еще в 1456 году из захваченного мусульманами Константинополя были перенесены его мощи, и с тех пор он телесно пребывает здесь, защищая и помогая всем, кто обращается к нему с верой и молитвой.

Я так люблю святителя Спиридона и столько раз чувствовала его любовь, защиту и помощь, что живо ощущаю его присутствие в моей жизни: молитвенно позовешь его – он откликнется. А теперь, здесь, в Керкире, приближаясь к его мощам и стоя перед ними в ожидании, когда их откроют, я испытываю радость ВСТРЕЧИ. Воистину: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Это – одно из самых поразительных откровений христианства.

Считается, что это он в свое время не допустил на остров турок, которые захватывали вокруг все новые и новые земли: в 1531 году янычары, готовясь



Святитель Спиридон Тримифунтский

взять Корфу, обложили его изнурительной осадой. Казалось, падение Керкиры — его главного города — неминуемо. Но жители обратились за молитвенной помощью к святителю Спиридону, и турки были разгромлены, несмотря на их значительный численный перевес над защитниками-христианами.

С 1386 по 1791 год здесь господствовали венецианцы, потом ненадолго сюда пришли французы, но в 1799 году русский флот, возглавляемый славным адмиралом Ушаковым, ныне причисленным к лику святых и особо почитаемым здесь, на Корфу, разбил их и освободил остров. А в 1814 году здесь установилось британское господство, воспоминанием о котором остался английский язык: им — уже традиционно — владеют местные жители.

До сих пор чувствуется, что не турки, а венецианцы здесь задавали тон: столица Корфу Керкира напоминает и Венецию, и Геную, и Падую, и Мальту, а в главных православных храмах — Святителя Спиридона и митрополичьем, где хранятся мощи святой царицы Феодоры, — на греческом богослужении церковное пение сопровождается органом очень осторожным, очень деликатным, словно старающимся имитировать человеческий голос. Да и весь корфианский мелос свидетельствует о своей самобытности, о свободе, не знавшей мусульманских притеснений и веяний. И кажется, что здесь с незапамятных времен так и живут древние феаки, не ведавшие кровопролитий и катастрофического смешения кровей, народ христолюбивый и мирный... Ведь это именно они, феаки, во главе со своим царем Алкиноем приветили у себя уже почти отчаявшегося хитроумного Одиссея и доставили его наконец-то на родную Итаку.

В храме имени святителя Спиридона всегда есть русские паломники. Их как-то сразу узнаешь, даже если они молчат, – не только по платкам у женщин на голове, но по какой- то особой торжественности лица. После богослужения, когда все уже подошли к кресту, а священники позавтракали, служитель открывает раку с мощами и перед ними служится молебен. Прикладываясь к раке, которая вся увешана знаками благодарности чудотворцу за его благодеяния, можно увидеть тело святителя целиком. Вот она, плоть, напоенная Святым Духом, не подверженная тлению в течение уже семнадцати веков.

У греков заведено: если ты хочешь поблагодарить святого, закажи отлить из серебра или купи символическое изображение совершенного им чуда. На раках с мощами и чудотворных иконах гроздьями висят серебряные пластины в форме ноги, руки, глаза, головы, а то и всего тела, то есть дарители благодарят за чудесное исцеление. Есть здесь изображения младенцев, которые были рождены по молитвам святого или Матери Божией. Есть изображения кораблей – это, должно быть, приношения за спасение во время морской бури. Вот и рака святителя Спиридона – вся в таких подарках...

Я очень хорошо понимаю это движение благодарности, пусть даже это так странно выглядит со стороны: ну зачем, скажем, святому эти серебряные штучки или Матери Божией – цветы? Но благодарному сердцу так хочется себя излить, вновь всей душой прикоснуться к святыне – уже не молитвенным стенанием и плачем, а умиленным и обрадованным сердцем: Господи, слава Тебе! Спасибо тебе, святитель Спиридон, что услышал, откликнулся, избавил от неминучей беды!

И я однажды в порыве благодарности почувствовала непреодолимое желание подарить Матери Божьей золотой крестик на цепочке. Он до сих пор висит на Казанской иконе Божьей Матери на московском подворье Лавры.

Прекрасные, интеллигентные русские люди, заработавшие свое состояние не махинациями, а трудами праведными и мастерством, построили здесь, на Корфу, в двадцати пяти километрах от Керкиры, в местечке Агиос Стефанос, прекрасное жилище на вершине горы и пригласили нас с мужем у них погостить.

Всегда, оставляя дом и отправляясь в путешествие к далеким берегам, испытываешь некоторое смущение, словно ты оставил своих ближних одних сражаться на передовой — под взрывами и шрапнелью, а сам, обнажив линию фронта, сбежал отсиживаться в глубоком тылу, — так мятежна, тревожна и многотрудна обыденная московская жизнь. И поначалу, вырвавшись из ее крепких сетей, чувствуешь себя неприкаянно и оглядываешься едва ли не виновато: вот я то не доделал, то обещал, но не выполнил, — множество человеческих и профессиональных, литературных долгов. Ты, как Гулливер, опутанный тысячами невидимых лилипутских нитей, привязанных к колышкам, вбитым в землю: всякое шевеление твое болезненно. Но и твоя праздность путешественника едва ли не кажется тебе преступной.

Потом начинаешь, словно оправдываясь перед кем-то, убеждать себя, что кое-когда человек должен изымать себя из бурного потока поденной жизни, отстраняться от нее, меняя фокус зрения, ибо глаз,

видя перед собой «привычное»,— «замыливается» и перестает отличать главное от второстепенного, насущное от лишнего. И вообще, чтобы лучше понять свое, надо узнать чужое. На каких-то поворотах своего земного пути человек обязательно должен остановиться и перевести дыхание. Может быть, он даже должен дочувствовать то, что он пережил опрометью, додумать то, что он преодолел безмысленно и бессмысленно — на импульсе и инстинкте, подробно разглядеть, что ворвалось в него вихрем событий, да так и осталось неузнанным и неназванным, завязло в толще темного подсознания... Может быть, он даже должен добраться до себя — внутреннего и подлинного, переплыв эту стихию невнятных образов, это море, кишащее гадами, и выйти, наконец достигнув своего твердого берега. Так что путешествие — это тоже дело, убеждаю я себя, словно защищаясь от чьих-то упреков. К тому же у меня есть редакционное задание Журнала — написать двенадцать сюжетиков о любви. Так что я и не бездельничаю, а, можно сказать, работаю. Вылавливать сюжеты из мутного потока дней — это ли не труд? Рассуждать о любви — это просто так, что ли?

И, оглядывая с высокой горы окрестности, вдруг перестаю слышать и этого брюзжащего внутреннего супостата, и его совопросника, которые подобной рефлексией способны отравить жизнь. Я просто говорю: аллилуйя! Радуйся, душа, наслаждайся, благодари Творца! И постепенно чувствую, как мое «внутреннее» уподобляется этому «внешнему» — Корфу с сияющим небом и блистающим морем. Или как «внешнее» — эта неотразимая красота Божьего мира покрывает собой и побеждает смятенный и ущербный пейзаж внутри.

Корфу



Мне кажется очевидным, что многие издержки нашего национального характера объясняются рельефом и климатом. Это – семь месяцев в году низкое свинцовое небо, которого в больших городах и вовсе не видно, одуряющие лютые холода, какие-то ртутные ливни, непогода, сумерки, потемки, тьма... И потом, эти бесконечные пространства поля, луга, перелески, степи. Не на чем успокоить взгляд. Человек внутренне скукоживается, сжимается, стараясь сохранить тепло, напрягается до изнеможения, как дети на картине передвижника Перова, тащащие за собой по снегу свой страшный воз. Все дается героическим усилием, подвигом и борьбой. В какой-то момент русская душа надрывается, болит и как-то метафизически устает. Хочется сидеть в своем углу, сосредоточиться на какой-то одной неподвижной думе

и пить горячительное, чтобы согрелась и размягчилась душа, задубевшая в испытаниях.

Остров есть сам по себе символ: некое замкнутое пространство, отрезанное от прочей земли и открытое небу, микрокосм, как бы душа человека, вмещающая весь мир.

Здесь, на Корфу, есть все: горы, поросшие оливковыми деревьями, и ущелья, вершины и бездны, речки и озерца, песок и камни, диковинные птицы и ежи, и ядовитые змеи, и жадные осы, и роскошная бугенвиллия, цветущая повсюду, и рододендрон... Как и в душе с ее пропастями и возвышенностями, темными подземными речками и рассветами, ползучими гадами и великолепным цветением.

Удивительное дело: я где-то читала, что все это оливковое роскошество рукотворно. Якобы некогда здесь были голые скалы, но греки устроили террасы и насадили оливковые леса.

Но в это трудно поверить: во-первых, как бы никаких террас и нет, а деревья есть. Во-вторых, они есть повсюду — во всех почти и не населенных уголках острова и даже на неприступных скалах. А в-третьих, этих деревьев здесь — четыре миллиона, а жителей — сто тысяч.

По величине Корфу небольшой: 60 километров в длину и 25 в ширину, и то — это в самом широком месте — на севере. К югу он сужается, чтобы в конце концов мысом упереться в море. Но все дороги его петляют среди гор, образуя многообразный серпантин, то карабкаясь ввысь, то спускаясь к самому морю, так что ехать по нему можно долго-долго и медленно — порой трудно разъехаться

со встречным автобусом или никак не обогнать едва ползущую впереди машину и приходится за ней плестись со скоростью лошади, тащащей за собой тарантас. Но именно эта неторопливость движения и позволяет даже мне, сидящей за рулем, вдоволь рассматривать проплывающие картины.

Смотри, душа, смотри, милая, любопытствуй, насыщайся радостью, откликайся любовью, становись сплошной «аллилуйей»!

Святитель Спиридон не только спасал Корфу от захватчиков-иноверцев, но и останавливал (дважды) эпидемии чумы, спасал жителей от землетрясения, засухи и голода, исцелял от смертельных болезней и даже – такое тоже бывало – воскрешал из мертвых. Может быть, чудо с четырьмя миллионами оливковых деревьев – это тоже не без его участия? Вон албанцы пытались при Энвере Ходже устроить на своих скалах террасы и насадить виноградники, даже китайцев приглашали в советчики. Но ничего у них не вышло: виноградники засохли, и остались лишь уродливо перерытые голые скалы.

...Или в Албании это потому, что именно сюда, когда она называлась еще Иллирией, был некогда отправлен в ссылку злочестивый Арий после осуждения его ереси на Соборе? Там Арий, здесь – Спиридон.

На следующий день после посещения в Керкире святителя Спиридона мы отправились изучать морской берег. Он весь изрезан бухтами, и одна не похожа на другую. У подножия горы, на которой мы живем, он каменистый, а если проехать к северу острова и там повернуть к востоку, – берег



песчаный. Здесь Ионическое море и полный штиль. Но если проехать дальше совсем немного – и обогнуть мыс, там море уже – Адриатическое, и на нем шторм. Волны такие, что невозможно войти, – закручивают, сбивая с ног, и утаскивают в морскую даль. Но если продолжить путешествие и пересечь всю северную часть с востока на запад, а потом повернуть на юг, – там опять будет Ионическое море, и на нем никаких волн. Я не понимаю, как это может быть. Мой муж разложил на коленях карту и подсказывает мне на каждой развилке путь, а я рулю, стараясь запомнить дивные имена городков и селений – Кассиопи, Каламаки, Перифия, Ахарави, Агиос Спиридонос, Рода, Сидари, Перуладес. Ну вот, проехали весь север.

Все так, как и должно быть: муж указывает дорогу, а я послушно веду машину. Недавно мне сказала одна милая женщина, довольно поздно, хотя и очень счастливо вышедшая замуж:

— У нас так хорошо в семье, потому что ты открыла мне один секрет и я следую твоему совету.

— Какой-такой секрет? — заинтересовалась я. — Я даже и не помню, что именно я тебе говорила.

— Ты сказала, когда я выходила замуж, что самый главный секрет счастливого брака в том, чтобы в доме был культ мужа. Ну вот, я этому неукоснительно следую, и у нас все так хорошо!

Какая-то птичка все время стучала в зеркальное окно виллы, на которой мы жили: тук-тук-тук. Мы открывали дверь и выглядывали: кто там стучит? И еще спрашивали: кто там? А это птичка — тук-тук-тук с утра. Один раз она, не разобравшись, где подлинная реальность, а где зеркальная, ударилась с размаху о стекло и отскочила — долго сидела недвижимая на земле, ничего не понимая, не осознавая... И только когда мой муж коснулся ее, чтобы взять в руки и перенести на травку, она вдруг неловко взмахнула крыльями и кособоко отлетела на несколько шагов.

Какой простор для символических толкований и назиданий! Не таковы ли мы с нашими невротическими психологическими проекциями — летим на собственное отражение в других и — разбиваемся, отлетая прочь...

Когда она рвалась к нам в дом, стуча клювом, я все время думала: а почему влетевшая птица у простонародья — примета смерти? И тщательно закрывала стеклянную дверь, чтобы она все-таки никак не смогла просочиться внутрь.

Про святителя Спиридона на Корфу по сей день ходят легенды, будто бы он, пребывая телесно в своем храме, во время литургии поворачивает голову в сторону святого престола. А по ночам – ходит: ему часто меняют облачения, и подошвы расшитых тапочек оказываются стоптанными. Кроме того, известно множество свидетельств, когда он исцелял безнадежно больных, предупреждая их о готовящемся чуде своим появлением.

Итак, вилла, где нам позволили пожить, располагается на вершине лесистой горы, откуда видно море неправдоподобного синего цвета, как бы такого и не бывает в природе, а вдалеке – Албания в лысых скалах. Мы смотрели на ее берега в телескоп – и видели там лишь голые обезлюдевшие берега, а по ночам – кромешную темноту. Словно там – тьма внешняя, а здесь, на Корфу, мир Божий: крепкие внятные звезды огромной величины, ослепительная луна, серебрящееся море и живая зелень оливковых рощ.

Вот и опять в русских имениях можно встретить немца-управляющего, горничную-англичанку и садовника-грека. И мне это нравится. Почему бы и нет? Немца зовут Вернер, ему 70 лет, он приехал на Корфу еще студентом, снимал дом у греческой семьи, где росла маленькая девочка, и он дожидался, когда она вырастет. Наконец дождался, женился на ней, прожил целую жизнь и теперь проверяет на вилле у русских водопровод, воду в бассейне, работу кондиционера, а в свободное время разгуливает по Кассиопи с женой, которая уже успела состариться, стоит на пирсе, щурясь на солнышке, сидит

на скамейке у самого берега у таверны «Три брата» и наблюдает, как рыбаки перетаскивают с корабля на берег сети, полные разных рыб и морских чудищ. На лице Вернера — полное благоволение к жизни, блаженство.

Горничную зовут Кетлин, это красивая рослая женщина с красноватым загаром и светло-голубыми глазами. Она старательно трет шваброй белый пол, и после ее ухода на него бывает страшно ступить. Я тоже видела ее в Кассиопи: она садилась на заднее сиденье мотоцикла, бережно обнимая впереди сидящего пожилого грека, и даже прижалась щекой к его спине.

А садовника не знаю даже, как и зовут: он включает в саду поливалки, подстригает траву, черенкует розы и вдруг, уходя, бросает на дорожку, вымощенную аккуратным щеголеватым камнем, изжеванный неопрятный окурок. Мой муж считает, что что-то в его отношениях с хозяевами не так: этот его окурок выглядит здесь как страшный диссонанс. Как вызов миропорядку.

Мы высчитываем даты, загибая пальцы, и понимаем, что, должно быть, сегодня — на тринадцать дней раньше, чем мы, — Греческая Церковь празднует Рождество Богородицы: над головой пролетает вертолет с растяжкой: «Алифос Христос анести!» Воистину Христос воскрес!

Простуженному человеку везде холодно, а здоровый любит и порывы ветра, и бурю, и ливень. Сладко стоять на террасе во время грозы — и следить за молниями, и слушать гром. Олива под бурным ветром шелестит листьями, почти бормочет, а потом как пойдет витийствовать, словно пифия...

В раннем детстве, когда меня родители отправляли на лето с детским садом в Малеевку, я так любила звуки ночной грозы. Слезала с кровати, подходила к окну, вглядываясь в темноту. Стояла в праздничном мистическом ужасе перед одушевленностью темных природных сил. Маленькая язычница, подглядывающая сквозь щелку за возлияниями пирующих богов.

Интересно, как Вернер узнал в маленькой греческой девочке свою будущую жену?

И следил, как она растет — сантиметр за сантиметром, наблюдал, как она становится старше, созерцая ее цветение, а потом высматривал ее в пестрой толпе гуляющих на берегу, выхаживал по горным тропам, выгуливал по оливковым рощам.

Итак, перед отъездом на Корфу меня попросили написать для Журнала двенадцать коротких сюжетов о любви, иллюстрирующих слова апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор 13,4–7). Обдумывая эти сюжеты, я наблюдаю, как Вернер обходит дом, проверяя трубы, и долго стоит над голубым бассейном, — ласточки пролетают над ним, стараясь крылом чиркнуть по воде, и Вернера совсем не боятся.

Если браки совершаются на небесах, то Господь, конечно, подсказывает: вот он, твой суженый! Вот она — на роду написанная тебе невеста, жена.



У меня такая подсказка была. И у родителей моих было такое знание или — пред-знание.

Англичанка-горничная Кетлин кашляет, протирая пол. Вчера она, как и я, во время грозы долго стояла на террасе и смотрела, как молнии рассекают небо и волны кидаются на прибрежные скалы. Что-то такое гроза обещает, что-то сулит. Ну, в детстве понятно: любовь. В юности тоже любовь и творчество. В молодости творчество и любовь. А уже потом — на закате дней? Не знаю, может быть, вечную жизнь... Мертвые встают перед мысленным взором, словно живые, и никаких доказательств, что их больше нет. Напротив, они как-то внятнее и одушевленнее, чем бывали в жизни...

Нечто такое приоткрывает гроза, накануне перевернувшая море, отвязавшая шлюпки от пирса и выбросившая на берег огромную рыбу.

Садовник-грек приезжает на большой красной «Тойоте» и сразу включает поливалки, расставленные по саду, тыча пальцем в кнопочки на щитке. Поливалки крутятся, фонтанируют, и кажется, что весь сад смеется. Садовник наблюдает, стоя у самой террасы. Там уже накрыт стол, и русские стоят, повернувшись к востоку, читая молитву перед едой. Грек понимает, что читают они «Отче наш». И кивает в такт. На днях у него женится сын, и будет большая свадьба.

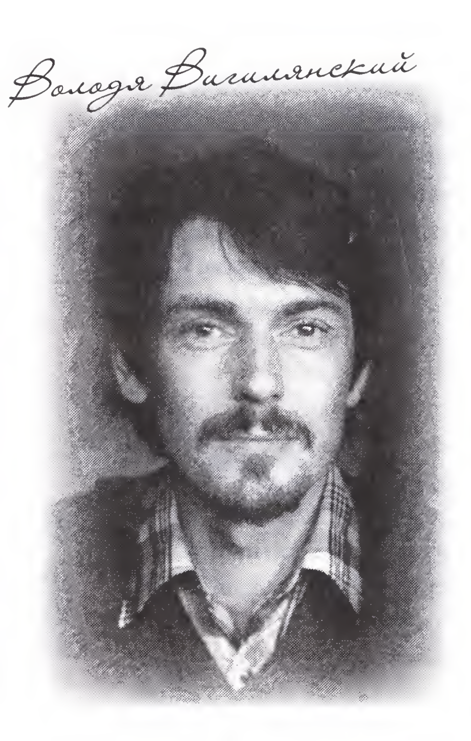
Я в назидание ему на его глазах подняла с земли его очередной окурок, и он вдруг смутился и разговорился, как бы оправдываясь. Сын-то женится, а вот дочь никак не может выйти замуж. Хорошая девушка, положительная, умная. Я видела ее — они приезжали вместе за день до грозы. Лицо у нее правильное, глаза выразительные и большие. Но при этом она так некрасива. Поначалу кажется: это дефект прически, плохая осанка, не та одежда. Родственники думают: вот мы ее сейчас причешем посвоему, воткнем в волосы розу, плечи расправим, выпрямим спину, выработаем поступь, оденем в красное платье, чтобы оно грянуло среди бела дня, чтобы каблучки застучали... И уголки губ непременно поднимем вверх, чтобы получилась улыбка, и глаза как-нибудь наполним огнем, сияньем... «Элпида, давай сделаем из тебя красотку?» Но она сутулится еще сильнее и еще грознее сдвигает брови...

Наверное, садовник кинул этот окурок просто с досады — вспомнил о дочери, покачал головою. Так, машинально. И никакого в этом не было жеста против хозяев дома.

Когда я еще училась в десятом классе, со мной произошло вот что. Я заболела воспалением легких,

и меня послали на рентген в поликлинику Литфонда. Была зима, и я потеплее оделась, закуталась в шарф и с утра пораньше отправилась. В поликлинике было темновато и пусто. И вот, выйдя из рентгеновского кабинета и направляясь к гардеробу по сумеречному унылому коридору, я заметила в его конце силуэт человека. И в этот самый момент прямо возле моего правого уха раздался (или так: справа от меня прозвучал) неведомый голос: «Этот человек будет твоим мужем». Это меня так потрясло, что я устремилась к силуэту, чтобы получше его рассмотреть. А поскольку я близорука, то и приблизиться мне надо было на весьма малое расстояние. И я увидела прекраснейшего молодого человека, высокого, очень и очень худого, даже хрупкого, с лицом, которое напоминало молодого Пастернака. Я так его мысленно и назвала: молодой Пастернак. Но что же было мне делать дальше? Не могла же я вот так подойти к этому удивительному и прекрасному незнакомцу и сказать ему, что он будет моим мужем, или даже хотя бы предложить ему со мной познакомиться. Поэтому я постояла, постояла возле него, подождала, не захочет ли он сам заговорить со мной, и, надев шубку, медленно побрела домой в слабой надежде: а вдруг он меня догонит?..

После этого я стала его искать. Раз он лечится в поликлинике Литфонда, он или писатель, или писательский сын, поняла я. И стала знакомиться с писательскими детьми — взрослыми сыновьями друзей моего отца. Поразительно, но я попадала если не в цель, то аккурат вокруг нее, словно играя в морской бой, я поражала все пустые клеточки вокруг корабля: эти сыновья, как оказалось впоследствии, были знакомы с таинственным «молодым



Пастернаком», а кто-то из них даже и водил с ним дружбу.

Меж тем прошло полтора года и я поступила в Литературный институт. Первое сентября выпало на субботу, которая уже тогда была для студентов Литинститута, кроме первокурсников, не учебным днем. Это даже называлось так: «творческий день». И поэтому первого сентября в институт пришел только первый курс.

Мне сразу там ужасно не понравилось: скучно, томительно, как-то безнадежно – настолько, что я хотела тут же забрать документы и уйти восвояси. Третьего сентября пошел сильный дождь, настала осень. И уж совсем не хотелось идти в институт. Из-за дождя все студенты, которых теперь было гораздо больше, набились в узкие коридоры дома Герцена и искали листки с расписанием. И тут, в этой толчее и тесноте, я внезапно увидела ЕГО, этого «молодого Пастернака», и узнала со спины. Он стоял повернувшись к окну, с длинным зонтом. Я подошла и заглянула ему в лицо. Он скользнул по мне взглядом, словно перед ним был какой-то лишний предмет, не стоящий внимания. Но я хорошо помнила, что мне было сказано в темном коридоре зимней ранней порой.

На воскресной службе в Кассиопи было несколько стариков и старух. К концу литургии стали подходить молодые люди и приводить детей. Причащались два старика и несколько мальчиков и девочек. К концу литургии набился полный храм. Оказалось, эти люди ждут панихиды. Потом всем стали раздавать в церковном садике поминальную еду: все это походило на домашний праздник. Какое-то натуральное благочестие, может быть, не выношенное, не завоеванное в подвиге, а унаследованное: «У нас так принято». Без кризисов и борьбы. Чувствуется, что на Корфу храмы никогда не закрывали, иконы не громили, церковную утварь насильственно не отбирали, священников не расстреливали, веровать не запрещали, за веру не уничтожали... И она срослась с бытом, с образом жизни, с линиями души. «Бог во всем».

Хозяйке виллы, на которой мы живем, как раз это и по душе в «греческой вере» или, скажем так, в этом «национальном образе Православия»: он — без судорог и конвульсий. «Наших, — говорит она, — сразу узнаешь в греческом храме. Они как-то так неистово крестятся и по воскресеньям бухаются на колени перед алтарем. А ведь в воскресенье — это даже и не положено, это ведь — чересчур. Словно они хотят быть благочестивее самой Церкви... А греки молятся естественно, без неофитского надрыва».

Я молчу. Мне здесь так не хочется даже абстрактно никого осуждать... Действительно, греки приходят в храм, как в собственный дом: во время литургии в простоте восходят на солею, прикладываясь к иконам. И — садятся на креслица, расставленные рядами по храму, поднимаясь из них лишь

в самые значительные моменты богослужения. Это и не утомительно, и ноги не болят... И действительно – веет от этого какой-то естественностью: деды наши так молились, отцы молились, и мы молимся, так у нас принято, это у нас на роду написано, родовая религия, народная вера, она уже в подсознании, мол, – какие проблемы? Странно только, что они на воскресных службах не причащаются, как это делаем мы у себя, – «со страхом и трепетом», и где-то в глубине души шевелится опасение, как бы это «натуральное христианство» не оказалось с изнанки прошитым крепкими нитками язычества... Особенно когда каждая олива витийствует, как сивилла.

Уходя из дома, мы его не запираем.

– Здесь абсолютно безопасно, некому воровать, – уезжая, наставляла нас хозяйка виллы.

Мой муж как-то принципиально не хочет, чтобы я запирала и машину, когда мы ее где- нибудь оставляем, и демонстративно открывает в ней окно:

– Никто ничего не возьмет.

А крестик Казанской иконе я подарила вот по какому случаю.

Мой сын Ника должен был рукополагаться в диаконы и собирал для этого необходимые справки. Это оказалось весьма трудоемким делом. Надо было предоставить бумаги из института, который он окончил, из военкомата, из храма, где он прислуживал, из ЖЭКа, из психдиспансера, что он не состоит на учете, из наркологического заведения, что он не наркоман, а кроме того – множество иных медицинских справок, вплоть до анализов крови и мочи.

Все эти справки он собирал почти полгода – еще и из-за того, что он потерял военный билет и должен был мучительным и опасным образом его восстанавливать: военком, у которого был недобор призывников, так и норовил тут же схватить моего сыночка, обрить его – уже вполне диаконскую – шевелюру и отправить куда-нибудь подальше с песнями маршировать на плацу.

Но наконец-то он эти справки собрал: и очередь на анализы выстоял, и с психиатром поговорил, и от военкома ушел с победой... Мы с моим мужем уже и деньги ему подарили и на диаконскую экипировку, требующую немалых затрат, и просто на жизнь – долларов триста (приличные по тем временам деньги). Сложил он это все в портфель и отправился в Патриархию. А там – нет владыки, которому ему надо было документы эти отдать. Выходной день у него – церковный праздник. Он взял свой портфельчик и с ним пошел по своим делам – в храм на службу, а потом – петь на празднике. Он тогда был регентом церковного хора, и певчие часто подрабатывали тем, что пели на торжествах у богатых людей. Заплатили ему там сто долларов, накормили и отпустили в ночь. Положил он деньги к деньгам – туда же, в портфельчик, вышел на темную улицу – пурга, буран. Решил на радостях поехать домой на такси. Тут и таксист подъезжает. Ника сел на переднее сиденье, портфель рядом положил между собой и водителем. Тронулись с места. Тут таксист и говорит:

– Деньги вперед.

– Что это вдруг? Никогда такого не было.

А таксист вдруг как тормознет, перегнулся через него, открыл дверь да и вытолкнул Нику прямо

в сугроб. А портфельчик в кабине попридержал. Захлопнул дверь и рванул с места.

И вот Ника остался без документов, без денег, без справок, без военного билета, даже без паспорта. Проходит день, проходит другой. Владыка спрашивает моего мужа:

– Чего твой-то документы все не несет? Или передумал уже?

А Ника в растерянности: ну хорошо, паспорт он, конечно, восстановит, но военный билет... Да этот военком волчком завертится: несколько дней назад только новый военный билет ему выдал, а он опять его потерял. Нет, больше этой птичке из клетки не вырваться, рыбке не избегнуть сетей, не упустит ее военком... А анализы! А психдиспансер!.. А ЖЭК!

Честно говоря, я была просто убита: я чувствовала, что Ника не скоро примется восстанавливать украденное у него. Протянет, проволокитит, поддастся на это такое типичное искушение вместо того, чтобы его преодолеть, проявить решимость, может, это Господь его произволение испытывает стать диаконом? Владыку раздражит своим промедлением – откажутся в Патриархии его рукополагать. Бывает такое, что Бог лишь единожды предлагает человеку нечто. Пойдет жизнь его НЕ ТУДА.

Ходила я, скорбная и сумрачная, по московским храмам, молилась, просила за моего сынка. А меж тем – две недели уже прошло, третья пошла. Дело уже – безнадежное. Припала я в храме подворья Лавры к Казанской иконе Божией Матери – там небольшая такая икона сбоку висит, даже ниже она уровня лица, на колени надо перед ней вставать и вверх тянуть голову. Стала ее просить и вдруг



Олеся с сыном диаконом Николаем

чувствую, что исходит от нее такое утешение, такая любовь: живая, слышит она меня, откликается.

...Не успела я отпереть дверь, как зазвонил телефон – долго, настойчиво.

– Это не вы документы потеряли? Интересуетесь? – спросил скрипучий старушечий голос. – Так мой сын нашел. Он вам позвонит.

И она – бряк трубку.

Стал мне этот ее сынок названивать из автоматов – свидания назначать. Обещал за сто долларов вернуть портфель. Но каждый раз, когда я готова была уже помчаться к месту встречи, перезванивал и менял адрес, словно кого-то боялся. Наконец мы условились встретиться у Манежа. Выскочила я из машины без перчаток и по снегу бегом. Минут

через пятнадцать появился бугай, стукнул меня по плечу:

— Иди за мной, не оглядываясь. Замечу слежку — ищи свой портфель на помойке.

— А где портфель-то? — спросила я.

Руки у него были пусты.

— Я говорю иди.

Я засеменила за ним. Он провел меня молча, то и дело воровато оборачиваясь и стреляя по сторонам маленькими злыми глазками, по Большой Никитской, потом мы завернули за угол на улицу Неждановой (там храм с иконой святителя Спиридона и частицей его мощей), пересекли садик и повернули назад. У Газетного переулка он остановился:

— Вроде слежки за нами нет. Деньги вперед. Сто долларов.

— Только в обмен на портфель, — уперлась я. Голые руки мои заломило на морозе, губы не двигались.

— Здесь я ставлю условия. Я всегда так делал и все соглашались. Не дашь денег — уйду, ищи-свищи свой портфель.

Дрожащими непослушными руками я протянула ему купюру. Он положил ее в карман:

— Пойдешь в Александровский сад. Там к тебе подойдет человек и отдаст портфель.

— Какой человек? Где у меня гарантии, что он отдаст?

— Говорю тебе: все всегда оставались довольны. Ну, как хочешь, а я пошел, — и он двинулся по направлению к Тверской.

Я помчалась в Александровский сад, жадно вглядываясь в лица. Через минут двадцать ко мне подошла женщина с положительным лицом школьной

учительницы и протянула мне пакет, в котором лежал портфель.

— Я должна проверить, все ли там на месте, — запричитала я. — Может, он пустой.

Она пожала плечами и пошла к метро.

— Подождите, — закричала я.

Но она побежала, и я не стала ее догонять.

В портфеле оказались все документы — и паспорт, и военный билет, и анализ мочи. Не было только денег ни на диаконскую экипировку, ни на жизнь, ни тех, которые заработал мой певчий сын в ту ужасную ночь.

Через полтора месяца он уже стоял с орарем на солее и, покачивая в воздухе легкой рукой, пел вместе с храмом Символ веры.

И тогда я поднесла Матери Божьей этот золотой крестик.

Ответы на все вопросы есть в Священном Писании, однако в нем нет ответа на конкретный вопрос: что мне, такому-то такому-то, делать сейчас, в час такой-то. Здесь — простор человеческой свободе и загвоздка для волеизъявления, которое во всем хотело бы следовать замыслу Божьему, порой столь непонятному.

Один дружественный игумен говорил:

— Если ты не знаешь, как поступить, просто скажи от всего сердца: «Господи, люблю Тебя! Слава Тебе!»

Приснились папа и мама покойные. Будто сидят они в комнате со стеклянной стеной и заглядывают сквозь нее в другую, по соседству. А там живем мы с моим мужем. То есть они нас ВИДЯТ.

Проснувшись, взяла тетрадь и принялась в ней — нет, не писать стихи, а просто — чирикать. Старик Кирсанов, которому я в семнадцать лет приносила свои стихи, говорил мне: побольше чирикайте. Вот я и чирикаю.

...Жаль,
я предков своих не могу оживить —
попировать со мной
под полной луной.
Не могу поселить в домике лубяном
над морем да на горе
в греческом сентябре.
То-то снятся они мне здесь:
что ни сон — они
предсказывают мои дни.
Что ни сон — убеждают держаться берега,
путей, троп,
даже у тьмы, говорят, есть своя граница:
досюда, а дальше — стоп.
Твердят: хватайся за твердь небесную, —
как-то так.
Делают знак.
Говорю: эта твердь небесная высока,
сквозь нее проходит рука.
Ни за что не ухватишься —
как же держаться тут
рукам, которые из меня растут?..
Вот когда б оттуда — из тверди перистой —
вопреки
всем законам здешним — незримые
две руки
протянулись, держа меня на весу, — тогда
убедились бы вы, как поступь моя тверда.



Все думаю про задание Журнала: истории о любви. Ничего не приходит в голову, кроме истории моих родителей. Хотя, быть может, она идет «по другому штату» и сама вовсе не о любви, а о действии Промысла Божьего.

В декабре 1941 года шестнадцатилетний папа ехал на поезде из Москвы с такими же, как и он, курсантами в артиллерийское училище в Томск. В том же вагоне моя бабушка увозила в эвакуацию своих дочерей – мою одиннадцатилетнюю маму и мою девятилетнюю тетку Лену. Было холодно и страшно. Но молоденькие курсанты, занимавшие тот же отсек, пели, шутили и курили. Говорили о поэзии. Читали стихи. Мама тоже – умная девочка – что-то прочитала. Потом получает она записочку от одного из этих молодых людей. На газетном срезе нацарапано карандашом: «Вернусь с победой – ты будешь моей женой». Мама тоже взяла карандашик и написала печатными буквами: «Дурак». С тем и отдала бумажку курсантику.

Меж тем пора было укладываться спать. В плацкартном вагоне было холодно, много народа, яблоку негде упасть. Короче – бабушка уложила Лену прямо в валенках, ногами к проходу. А когда они проснулись, оказалось, что кто-то ночью украл



валенки у девочки. Тогда бабушка отрезала рукава своей шубы, зашила их и надела Лене на ноги.

...Через 14 лет папа, фронтовик, инвалид войны, молодой поэт, студент Литературного института, сидел преспокойно дома с женой и тещей. Ужинали и рассказывали всякие истории, связанные с войной. И папа вспомнил, как он ехал в училище и у них в вагоне со спящей девочки сняли валенки, и тогда, чтобы обуть ее босые ноги, ее мать отрезала рукава от шубы... Бабушка изменилась в лице, посмотрела на него каким-то новым взглядом и ахнула. И стала описывать этих курсантов, которые шутили и читали стихи... Тогда уже папа как-то странно посмотрел на нее, молча встал, где-то порылся и извлек крошечную бумажку – газетный срез. Он развернул ее и протянул молодой жене. Она прочитала: «Вернусь с победой – ты будешь моей женой».

Апостол Павел не случайно в своем определении проявлений любви пошел в основном

апофатическим путем: у него любовь «не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде...» То есть она устраняется от всякой душевной нечистоты, избегает бесконечных провокаций самолюбия, уклоняется от соблазнов, как шипы, цепляющих и язвящих душу. Она освобождается от страстей, борющих человека от юности его, и таким образом оказывается как бы вне их, против них, вопреки и наперекор... Из ее действий указано лишь, что она «долготерпит», и активность эта направлена скорее вовнутрь, обращена к собственной глубине, так же как и то, что она «все переносит»...

Христос сказал: «Терпением... стяжите души ваши» (Лк 21, 19). Любовь, испытуемая терпением, действительно собирает вместе разрозненные силы души, центрует их на себе, претворяя разнокачественные энергии в единую волю властного преображенного Эроса. Эта власть так велика, что перед ней пасует даже мощный природный инстинкт самосохранения, и душе сладка и желанна жертва, принесенная своей любви. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15, 13).

Эту любовь заповедует нам Господь, причем называет это «заповедью новой»: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15, 12, 17). «Пребудьте в любви Моей» (Ин 15, 9). «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13, 35). Две первейшие заповеди начинаются словом «возлюби». Апостол Иоанн засвидетельствовал, что Сам «Бог есть любовь» (1 Ин 4, 8). Да и все Святое Евангелие — это благовестие Любви о любви.

По сути – там все о ней! Любовь и есть эта новая жизнь во Христе...

«Любовь милосердствует, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор 13, 7).

У хозяйки виллы, на которой мы гостим, двое детей. Не так давно у нее работала няней моя грузинская подруга Каринка. У нее было университетское филологическое образование, и в няни она пошла не от хорошей жизни, хотя и была счастлива, когда я ее туда пристроила.

Каринку и ее мужа Шалву я знаю с семнадцати лет. Они тогда только-только поженились, а я приехала в Тбилиси попытать литературного счастья и попробовать переводить грузинских поэтов. Вскоре у них родилась гениальная девочка Сулико. С трех лет она занималась музыкой, в пять ее приняли в музыкальную школу, а в девять она уже солировала: играла на рояле со взрослым оркестром грузинской филармонии, ездила даже на гастроли. Шалва несколько лет проработал дипломатом в африканской стране, где у них был дом с бассейном, с прислугой: были горничная, шофер и садовник... Потом им захотелось домой, и они вернулись в Грузию. Это был 1989 год...

Вскоре, спасаясь от тягот войны, они переехали в Москву. Мыкались, снимая жилье. Пытались продать свои тбилисские апартаменты – две роскошные квартиры в лучших районах Тбилиси, – за них по тогдашним ценам можно было купить разве что однокомнатную квартирку в Марьино. Сулико выскочила замуж – естественно, по любви. Через год,

родив сыночка, развелась с мужем и совсем забросила музыку.

И тут Шалва закрутил на стороне бурный роман, а вскоре и вовсе бросил Каринку. Она осталась в чужом городе без мужа, без дома, без работы, без денег, с разведенной дочкой и внуком на руках. Вот тогда она и пошла работать няней к состоятельным людям. Они так ее полюбили, что стали считать чуть ли не за родственницу. Но она проработала там несколько лет и — дала слабину. Сломалась на какой-то ерунде — то ли какая-то интонация в голосе у ее хозяев царапнула ей слух, то ли вспомнилось, что она сама кончала филфак Тбилисского университета, была писательской дочкой и женой дипломата, что был у нее когда-то прекрасный собственный дом... Что была у нее дочка-вундеркинд, которой пророчили мировую славу, а та сделалась матерью-одиночкой с печальными глазами и устроилась — и то с огромным трудом — в какую-то фирму, торгующую хлопком, и летает теперь в Казахстан.

Глядя на Каринку, я думала: ну а я бы смогла, окажись в такой же ситуации, в чужой стране, среди чужих людей, напрочь забыть о себе и пойти работать няней или уборщицей? Не знаю: наверное, чтобы прокормить детей... Ездила же я выступать от бюро пропаганды Бог весть куда, читала свои стихи и в заводских общежитиях, и в красных уголках — тетка-комендантша входила туда, со властью выключала работавший телевизор, прерывая на самом интересном месте «Семнадцать мгновений весны» или итальянский сериал про капитана Каттани, вызывая приступ острой ненависти и протеста со стороны бедных лимитчиков, сгрудившихся вокруг голубого экрана, и выставляла им на растерзание

меня, назидательно предваряя мое выступление речью о том, что они должны культурно просвещаться и расти. И я, внутренне сжимаясь от горечи, досады, стыда и всей этой бессмыслицы, читала им стихи. А мне потом за это надругательство и над ними, и над самой собой платили семь пятьдесят, а то и – если выступление было в Подмосковье – одиннадцать рублей. А что: у меня было тогда двое крошечных детей, муж мой только-только окончил Литинститут, его никуда не принимали на работу, потому что он не был комсомольцем, статьи его не печатали – наоборот, возвращали, как из «Вопросов литературы», – с резкой резолюцией или вопросом, написанным красным карандашом на полях: «А как у вас с марксистско-ленинской идеологией?» Нет, сладко жертвовать собой в одночасье, полыхнуть, сгореть, но невыносимо тяжко – медленно и терпеливо – день за днем, день за днем совершать свой подвиг любви.

...В это воскресенье мы отправились с утра пораньше в Керкиру на литургию у мощей святой царицы Феодоры в митрополичьем храме. Ее мощи были также перевезены из Константинополя в пору его падения и разграбления. Здесь тоже, как и у святителя Спиридона, церковное пение сопровождается органом, и это так дивно, что после службы и молебна у мощей святой царицы, на который собрались греки с доблестной военной выправкой, в белых морских кителях, я отправилась по церковным лавкам Керкиры выискивать запись здешней литургии на компакт-диске. Нигде не было, и лишь в одной из лавчонок мне продали за десять евро единственный – последний – диск. Не то чтобы мне теперь всегда хотелось бы молиться «под

орган», нет, но просто иногда, время от времени, когда-нибудь, темным зимним московским вечером послушать эти корфианские молитвы, возвращаясь легкой на подъем душой в храмы к святой царице и святителю.

Ну хорошо, вот некогда в институте я встретила наконец того, кого искала и называла «молодым Пастернаком», и со спины тут же узнала его, и получила возможность видеть его каждый день, и даже добилась того, чтобы с ним познакомиться. И что? Ничего. Лишь в конце учебного года накануне экзаменов я набралась храбрости, позвонила ему и попросила принести шпаргалки. А потом настало лето, и все разъехались на каникулы. А потом начался следующий год, но и он не принес мне ничего от того, кто был обещан мне в мужья в коридоре темной поликлиники, кроме беглого «привет» и «здравствуй».

В институте я перезанималась и перетрудилась: во-первых, я училась на переводческом отделении и учила плюс ко всем предметам еще венгерский и французский языки. Во-вторых, я много писала по ночам и порой, еще в пылу ночного вдохновенья, прямо из-за письменного стола отправлялась утром на лекции. По вечерам ходила на всякие там поэтические встречи, вечера поэзии и так далее. Родители очень за меня беспокоились и решили отправить на зимние каникулы в Гагры, в пустующий по зимнему времени дом творчества писателей. Его пытались заполнить шахтерами, но и те ехали туда без особой охоты. Чтобы как-то скрасить скуку, они по вечерам ходили на танцы, которые устраивались прямо в столовой. Причем женщины танцевали с женщинами, а мужики — с мужиками.

Как-то раз, сидя в своей лоджии, выходящей прямо на море, и следя за багровым солнцем, медленно склоняющимся долу, я вдруг испытала странное ощущение — меня целиком охватила решимость тотчас же, немедленно позвонить обещанному мне будущему мужу. Этот порыв воли был так иррационален, что я засомневалась: от меня ли он исходит, тем паче что телефона я не помнила наизусть, — он был где-то у меня записан и остался в Москве, да и звонила я лишь единожды — насчет шпаргалок. И если бы это не звучало столь пародийно, я бы описала это так: «Какая-то неведомая сила взяла меня в оборот и потащила на близлежащий переговорный пункт». Но в том-то и дело, что все происходило именно так. Я вышла в метельные сумерки, стараясь мысленно ничего не исследовать и не сомневаться, а просто подчиняться. Я даже заставила себя не думать, что вот сейчас я наменяю для переговоров монет (кажется, пятнадцатикопеечных), а какой же номер я наберу? Нет, я просто пошла к автомату, сняла трубку и позволила руке самой, как ей вздумается, потыкать в разные кнопки...

И трубку взял он.

— Привет, — сказал он радостно. — Ты куда пропала? Я сижу и жду твоего звонка. Приходи ко мне завтра в гости.

— Приду, — радостно откликнулась я, стоя в будке на переговорном пункте в городе Гагры.

Через полчаса вещи мои были запихнуты в чемодан, через час я уже садилась на электричку, следующую в Адлер. А еще через два часа я предстала пред очами начальника аэропорта, умоляя посадить меня на самолет, летящий в Москву.


Олеся и Владимир
Вигилянские

На следующий вечер я, как мы и договаривались, пришла в гости и, чувствуя, как дрожат у меня от страха поджилки, старалась говорить только о возвышенном и прекрасном. Тем паче что на письменном столе моего собеседника я увидела раскрытую книгу, лежащую вверх обложкой. На ней было написано: «Шеллинг. Система трансцендентального идеализма». Именно в эту систему мне очень хотелось попасть.

На сей раз мы решили пересечь остров в его срединной части, чтобы оказаться на противоположном нашему — западном — берегу. Там, в Ангелокастро, до сих пор возвышается на горе неприступная средневековая крепость, а чуть южнее — в Палеокастрице — есть монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая Чаша». То тут, то там вдоль узкой извилистой дороги попадались селенья с удивительными розовыми домами, увитыми вьющимися растениями и приветствующие путников неизменной алой бугенвиллией, росли огромные пальмы, лимоновые деревья в желтых лимончиках и могучие кактусы, увешанные сочными оранжевыми грушевидными плодами. Мы даже остановились у одного такого бесхозного кактуса и сорвали несколько штук. На вкус они напоминают одновременно инжир и киви. Всюду царило благолепие и безмятежность. Местные греки, если таковые и встречались нам, разъезжали на велосипедах или беседовали, сидя в тавернах за стаканчиком доброго местного вина и неприхотливой закуской — тцацики, саганаки, мусакой или даже клефтикой. Что-то не чувствовалось, чтобы здесь где-то шла битва за урожай или страда. Просто был

прекрасный жаркий сентябрьский день, и небо было высоко и безмятежно, и жизнь хороша, и почему бы между делом не подкрепиться в таверне в компании соседей, или родственников, или друзей, обсуждая новости...

Монастырь в Палеокастрице действующий. Там живут пятнадцать монахов. Поэтому днем, когда нет богослужения, он закрыт. А открывают его лишь перед литургией и перед вечерней службой. Мы дождались положенного часа и подошли к чудотворной иконе Матери Божией, со всех сторон увешанной традиционными серебряными приношениями.

Мне вспомнился один наш друг — священник, служащий в подмосковном храме в честь иконы «Неупиваемая Чаша». Там всегда бывает множество народа, особенно женщин, которые приезжают специально, чтобы заказать молебен о своем муже-пьянице. Они горячо молятся: «Господи, сделай так, чтобы мой муж бросил пить»,— и горько, горько плачут. И вот одна такая женщина — из молящихся и плачущих — вдруг приходит к этому священнику с претензией:

— Я у вас тут в прошлое воскресенье молебен заказывала водосвятный, чтобы Васька мой перестал пьянствовать. Так он и перестал — родимчик его хватил, лежит теперь парализованный, пальцем пошевелить не может. Что это у вас за методы такие? Я так не договаривалась. Уж лучше пусть все обратно вернется. Пусть уж он лучше пьет, чем так-то кулем лежать. Сделайте, батюшка, как было.

«Не знаете, чего просите».

А вот у моих друзей — Таты и Марика — процесс чудесного исцеления от алкоголизма прошел куда

менее болезненно. Марик — человек богемный, эмоциональный, поэт к тому же. И вот он пил каждый день — то чтобы снять стресс, то чтобы преодолеть уныние и взбодриться. С утра он выпивал пивка, потом по дороге в журнал, где он работал, подкреплялся из железной банки «шейком», днем во время обеда опять обращался к пивку, на обратном пути брал в киоске какой-нибудь джин-тоник, а уж вечером дома позволял себе немного расслабиться бутылочкой вина. Самое ужасное было то, что эта последняя «расслабляющая» бутылка вина оказывала на него непредсказуемое иррациональное воздействие: или он засаживался писать стихи, или устраивал истерику и кричал о том, что вокруг все бездари и поэтому его не признают, или с наслаждением оскорблял Тату, и дело доходило даже до рукоприкладства, порой с криминальным оттенком: там было все — сломанные ребра, ссадины и гематомы, кровь из носа, сотрясение мозга... Тата убегала от него в ночь, находила пристанище, принимала твердое решение с ним развестись, но на следующий день Марик буквально приползал на коленях и целовал землю, по которой гипотетически могла ступать Татина нога, рыдал, заламывая руки, клялся бросить пить, и она в конце концов давала ему «последний шанс». Он, бывало, даже зашивался, но это ввергало его в мрачность, он переставал писать стихи и тогда «расшивался», опять принимался с утра за пивко, и все опять начиналось по новому кругу. Так продолжалось больше двадцати лет.

И вот мы с Татой стали вместе ходить в храм и заказывать молебны Матери Божьей, чтобы Сама Царица Небесная вмешалась и подействовала на Марика.

И что же? Через весьма малое время у него на лице появились... прыщики. Он стоял перед зеркалом, разглядывая их, и мочил каким-то лосьоном. Но лосьон их не брал. Тогда он обратился к врачам. Они сказали: это у вас печень. Вам пить никак нельзя — весь будете в прыщах. А Марик вообще-то видный такой мужик, и оказалось, что сам он этим очень дорожил, так что прыщики повергли его в полное расстройство. И он даже бросил пить ради красоты лица.

— Надо же, — говорила Тата, — какой инструмент воздействия нашла для него Матерь Божья — прыщики! Ты знаешь, у него же и ишемия, и предынфарктное состояние было, и это его не останавливало! Но прыщики на лице!

...У моей крестной матери Татьяны был муж-алкоголик. Он каждый день выпивал. А если не выпивал, то глотал нимбутал. А если не нимбутал, то забивал мастырку (ему приносили). Одновременно это был талантливейший, умнейший человек, писатель, классик детской литературы С. В истории болезни у него было написано: «Шизофрения в паранойяльной форме, алкоголизм, полинаркомания, печатается в «Мурзилке», передается по радио». С. это комментировал так:

— Я сам — сумасшедший, а моя жена — «жена писателя».

И еще он говорил:

— Чтобы быть в этой стране сумасшедшим, надо иметь крепкую психику и железные нервы.

И еще он говорил:

— Если ты хочешь прикинуться сумасшедшим, говори правду и только правду.

Если он выходил из дома, он непременно попадал в какую-нибудь историю, и потому о нем

говорили, как о гоголевском Ноздреве, что он — человек исторический. «Мать Татьяна» ходила за ним, как за малым ребенком, вечно приставляла к нему «телохранителей» из числа друзей. Но особенно ее тревожил этот каждодневный кайф, в котором пребывал ее муж, и больше всего она боялась, что он не спасется.

— Генька, — говорила она, — сам апостол Павел писал, что пьяницы Царства Божьего не наследуют!

Она испробовала все: и лечила его, отдавая в больницу, но там он убалтывал санитаров, нянечек и даже медсестер, и они исправно поставляли ему и спирт, и таблетки; молилась за него по монастырям и даже купила ему дом в деревне, чтобы он мог испытать на себе благотворное воздействие родной природы, вдохнуть полной грудью сладкий и приятный дым Отечества и отлежаться, как Емеля, на горячей русской печи. Но избу спалили пьяные рыбаки. Она пробовала приглашать в дом верных друзей, чтобы они, бросившись грудью на амбразуру, влили в себя побольше запасов спиртного, а ему поменьше досталось. Она сама чуть было не стала жертвой «синдрома жены Нейгауза». Жена Нейгауза, как только видела у мужа водку, тут же самоотверженно пыталась ее истребить, заливая в себя, чтобы сказать ему: «А больше ничего нет!» И так, бедная, спилась, зато он окончил свои дни вполне благополучно, еще и бурный роман с юной француженкой-пианисткой успел закрутить...

Вот и Татьяна мужественно применяла тот же метод, то есть, по сути, «клала душу свою за други своя», только сумела вовремя остановиться. И вообще она создавала в доме атмосферу нормальной жизни, где все шло своим чередом: приходили

редакторши, которым С. надиктовывал свои чудесные рассказы о путешествиях и зверях; собирались друзья, вечно кто-то праздновал свой день рождения, именины, годовщину свадьбы, защиту диссертации, открытие выставки, выход новой книги; то сосед забегал на минутку по какому-то делу, да так и оставался, заслушавшись и засмотревшись; то некий иногородний знакомец останавливался на ночлег; то странствующий монах получал приют. Создавалась странная ситуация, когда сюда, в этот теплый хлебосольный дом, где Татьяна всех угощала в буквальном смысле — от души, устремлялись люди, внешне будто бы куда более обустроенные и благополучные, чем сами хозяева, чтобы получить здесь утешение и любовь, примириться с жизнью.

С. после возлияний лежал на диване, как древний патриций, вокруг него восседали гости — порой это были люди, вроде бы вовсе не совместимые между собой, окажись они где-то в другом месте, и он рассказывал им такие потрясающие истории, которые потом передавались из уст в уста, постепенно утрачивая свое авторство и превращаясь в фольклор. С. был мастер устного рассказа, виртуоз парадокса.

Было время, когда Татьяна тайком разбавляла водку водой, причем пропорции последней все увеличивались и увеличивались, пока в рюмке С. не оказалась чистая вода. Он выпил и удивленно сказал:

— Ну надо же, до чего дошло! Пью — и не пьянею.

Потом Татьяна узнала, что в Белгородской области, в поселке Ракитное, живет удивительный православный старец, по молитвам которого

совершаются чудеса. И повезла С. к старцу. Это был архимандрит Серафим (Тяпочкин). Он принял его с любовью, обнял и сказал:

– Что же вы, дорогой, так долго ко мне не приезжали!

И благословил их поселиться у местной старушки, каждый день приглашая обедать в свой священнический домик.

Целыми неделями, а порой и месяцами мои друзья в ту пору жили около старца. С. общался с приезжавшими сюда священниками и монахами и сам стал выглядеть столь благообразно, что порой его в церковном дворе принимали за священника и просили благословения. Бог знает, к каким чудесным переменам жизни это могло привести, но тут старец умер, и мои друзья утратили свое благодатное пристанище, вернувшись в Москву, где их опять закружил этот безумный вихрь гостей, страстей...

Но Татьяна верила, что Господь исцелит ее Геньку, и все время отправлялась по монастырям, припадая к старцам с просьбой помолиться о ее «Геньке». Была она у старца Кирилла, у отца Иоанна Крестьянкина, у отца Павла Груздева и даже у убогого Алеши из Оскола.

Но она сама была больна и нуждалась в операции. Однако она и представить себе не могла, как это ляжет в больницу, а оставит свое «нетечко» без своего присмотра. Но главное было даже, мне кажется, не в этом. В конце концов, можно было поселить с С. верного человека, который бы и позаботился, и покормил, и постирал. Вся суть в том, что она настолько была поглощена любовью к своему мужу, настолько занята идеей его спасения, что психологически не могла переключить свою энергию

Архимандрит Серафим,
монах Леонид (Рыков)
и Митрофан Дмитриевич



и внимание с него на себя. Поэтому она все тянула с этой операцией, откладывала, тянула, тянула... И упустила время.

Он пережил ее на два года. Все это время он очень тосковал, но почти и не пил. Лежал на своем диване, вспоминая жизнь... Он практически ослеп, но воспринимал это как-то символически: дескать, вот, земная юдоль погасла, зато какие картины обозревает он теперь духовным оком! Мой муж, священник, часто навещал его, исповедовал и причащал, пока наш друг не отошел в вечность.

...А мать Татьяну я увидела сразу после похорон во сне. Она выглядела радостной и веселой. Мы пришли с ней в какую-то роскошную трапезную, если выражаться на светском языке — как бы в какой-то шикарнейший и даже респектабельный ресторан, но очень уж высокий и просторный, и она сказала смеясь:

— Ну, дорогая, а теперь ты будешь меня угощать!

Проснувшись, я представила себе длинные церковные поминальные столы с горящими свечами и всякой снедью и подумала, что именно о таком угощении и шла речь в моем сне.

Она знала, что я любила ее.

Когда муж и жена прожили жизнь в любви, как же невыносимо им разлучаться в смерти! Хорошо бы умереть вместе. Как это в древности: «Они насытились днями и умерли в один день». Но — увы!

Я читала в одном из жизнеописаний новомучеников, как большевики пришли к сельскому священнику, вытащили его за бороду из алтаря и потащили расстреливать. Следом за ними бежала матушка и молила их со слезами, чтобы они

расстреляли и ее вместе с мужем. Они отталкивали ее, матерились, но женщина не унималась. Тогда эти доблестные чекисты, чтобы она наконец замолчала, — так и быть — поставили их обоих у стены храма и нацелили на них ружья. Матушка, просияв, прильнула к мужу, и через мгновение оба они были расстреляны.

В житии святителя Спиридона сказано, что он был женат и жили они с женой благочестиво, родив дочь. А потом жена умерла. И далее после этой спокойной констатации своим чередом описываются дальнейшие события жизни святого. Так и положено в житии: обязывает сам жанр, чтобы не было тут ничего лишнего, ничего психологического. Но на самом-то деле, как бы смирен и кроток он ни был, наверняка ведь и страдал, и плакал, и горевал. Даже Христос, узнав, что Лазарь умер, «восскорбел духом» и «прослезился», потому что, как сказано, «Он любил его» (Ин 11, 33, 35, 36).

Так и Спиридон любил жену — почему бы ему ее-то не любить, когда он любил всех? Именно по любви он, приютив у себя голодного и изнемогающего странника и не имея никакой постной пищи, чтобы его покормить (был пост), угостил его мясом, причем, чтобы тот не смущался, сам разделил с ним трапезу. По любви беседовал с идолослужителем Олимпом, пытаясь отвратить его от языческого заблуждения. По любви давал нуждающимся деньги и пищу. Исцелял, воскрешал из мертвых, усмирял бурю.

Когда жена умерла, у святителя Спиридона осталась на руках дочка, сирота Ирина, и он растил ее, заботился, болел за нее душой, как все добрые

родители. А потом и она умерла, как сказано, «в расцвете лет».

Ирина тоже была наверняка очень хорошая, любящая дочь. Какая-то богатая женщина дала ей на хранение свои драгоценности — то есть ей можно было доверять, зная, что она не предаст, не обманет, не поступит низко... Значит, земная жизнь святителя была полна горя и много в ней было того, что можно пережить лишь великим страданием и терпением. Это только нам, издалека, через условный язык жития видится, что святым все давалось легко.

Нет, конечно, разумеется, для верующего человека умерший не сгинул, не пропал, душа его жива, тело ждет воскресения... И все же. Христос ведь знал, что Он вот-вот воскресит умершего Лазаря, а все же не сдержал слез, услышав, что друг Его мертв. Значит, и нам не возбраняется плакать от нашей любви, когда плачется, и страдать, и страдание это проходить насквозь.

Если от Палеокастрицы взять к югу вдоль моря, то приедешь на крутой берег, по которому можно спуститься, а потом вновь взобраться к монастырю Миртиотисса. Там живет всего лишь один монах. Румын.

Мы добрались сюда слишком поздно — служба уже закончилась, а монастырь закрыт. Поэтому мы расположились в таверне неподалеку от монастыря. Повсюду стояли дымящиеся банки с подожженным кофе, чтобы отгонять назойливых и жадных ос, которые, оказывается, любят здесь мясо. Как увидят (или учуют) кусок мяса или колбасы, сразу слетаются и с жадностью припадают к нему, жаля каждого,


Часовня преподобного Серафима Саровского в монастыре Миртиотисса

кто попытается воспрепятствовать им. Мы взяли все греческое: тцацики – йогурт с чесноком и огурцами, саганаки – жареный сыр, мусаку – баклажаны с мясом. И жареные кабачки, покрытые хрустящей корочкой, и мидии, и огромные креветки, и маленьких жареных рыбок, и клефтику – тушеную баранину со всякой всячиной, и местное розовое вино. Ну что ж, в нашей жизни бывали такие дни, когда мы ели лишь поджаренный на постном масле черный бородинский хлеб. А бывало, что – печеный в духовке лук.

Вернувшись в Агиос Стефанос, я поставила компакт-диск с литургией, с органным пением, но он оказался пуст – ни звука, ни шороха, ничего. Огорчившись, включила телевизор. Там шла какая-то

американская русскоязычная политическая программа. Ведущий задавал вопросы журналистке из России о предстоящих выборах, а она их клеймила как заведомо сфальсифицированные. Вообще-то, вряд ли теперь можно считать, что она «из России», поскольку она уже много лет живет в Америке и преподает в одном из американских университетов. Но я помню ее еще по Москве. Тогда она была замужем за немолодым писателем, которого увела у своей подруги, родила ему ребенка, а когда настали здесь времена, тяжелые для жизни, взяла сына и переехала с ним в Америку, покинув старика в полном одиночестве. Так он и умер — один. Наверняка, когда она его уводила от жены и они воровато встречались по чужим квартирам тайком, считалось, что это у них — любовь...

Ну, что касается выборов, манипуляций, фарса, я с ней согласна. Я давно уже на выборы не хожу. Но она вдруг стала призывать выводить людей на улицы и митинговать. Представляю, если бы ей сейчас предложили «ответить за базар» и заняться этим самолично. Ну, давай — вышагивай впереди колонны под знаменами, с громкоговорителем в руках, прямиком на Пушкинскую!

Нет, это сидя в телевизионном кресле ничего не стоит призывать народ к протестным демонстрациям да из Америки наблюдать пожар русской революции.

Я все-таки никогда не понимала такой «любви»: умыкнуть мужика из семьи, встречаясь с ним «на часок» в чужой квартире, благородная хозяйка которой удаляется на это время и перекантовывается у подруги, в кино или просто, шмыгая носом,

гуляет по улицам, не в силах отказать, потому как «а если у них любовь?» Потом со скандалом женить его на себе, похороводиться с ним годок-другой-третий, а потом бросить, уже больного и никуда не годного, на произвол судьбы. У таких романов есть свой особый почерк, свой джентльменский набор: «цветы, ужин при свечах, вино, фрукты, хорошая музыка...» С юности, когда за мной только-только начинали ухаживать молодые люди, я саму эту стилистику, интонацию терпеть не могла. Всякий, кто обращался ко мне с таким предложением, даже если оно было очень чистосердечным и вполне невинным, вызывал во мне чуть ли не отвращение.

Еще когда я отсиживалась в зимних Гаграх, куда меня на зимние каникулы отправили родители приходить в себя от переутомления, а на самом деле — от несчастной любви к моему будущему мужу, который об этом все еще не подозревал, и я с опоясывающим лишаем, заработанным на нервной почве от этих безответных любовных злостраданий, пребывала там среди шахтеров и шахтерш, один старичок-художник, отдыхавший поблизости с внучкой Настей, ставшей теперь известной художницей, познакомил меня с литовским прозаиком — то ли Витас его звали, то ли Витаутас.

— Он мне сказал по секрету, что вы ему очень понравились, он просит его познакомить с вами. Вы не возражаете?

Ну, познакомились мы. Он дядька такой дородный, интеллигентный, в костюме, в золотых очках, для меня — старик, лет ему тридцать восемь против моих девятнадцати. Живет в соседнем номере.

И что? «Здрасьте» – «Здрасьте». «Как красиво снег лежит на мандаринах!» «В зимнем море есть свой колорит!» Скукота!

И вдруг он мне говорит:

– У меня книжка вышла в Вильнюсе. Я бы хотел это отметить. Приходите сегодня вечером ко мне в номер. У меня – вино, фрукты, коньяк, хорошая музыка.

Но, как только я про вино с хорошей музыкой услышала, у меня внутри тут же звук стал такой тревожный нарастать, как в фильме Гайдая, когда Никулин чувствует, что чуждая неведомая сила приближается к его бриллиантовой руке.

– Спасибо большое,– вежливо сказала я. Но я хочу поработать.

И как он ни уламывал, я ему:

– Призвание превыше всего!

И что? Он там у себя в номере напился своего вина, может быть, даже и коньяка – вдогонку и, пьяный, стал на ночь глядя стучать ко мне в номер. Якобы хотел что-то узнать или уточнить. Но тут опять появился этот звук, и я сказала ему:

– Уточняйте, пожалуйста, через дверь.

Но он, конечно, не стал ничего уточнять, а стал стучать кулаками и ломиться. Но дверь была крепкая, и он ничего не достиг.

Все на какое-то время успокоилось, но, видимо, он, вернувшись в свой номер, добавил еще и полез через перегородку между лоджиями – со своей на мою. А у меня как раз дверь была чуть-чуть приоткрыта: я сижу, пишу стихи, морской воздух овевает меня, ночной ветерок. И вдруг – бац! – что-то такое тяжелое прямо в мою лоджию – это он грузно перевалился, коленку зашиб, очки разбил.

Ух, я и перепугалась, и разозлилась, кинулась дверь в лоджию запирать. И — едва успела: он уже вскочил и принялся в нее колотить. Всей массой своей наваливается, дверь аж дрожит: она, в отличие от входной, крепкой, довольно хлипкой была, да еще и со стеклом.

«Ну, — думаю, — а как он стекло это выдавит, мне-то чем защищаться?» Я хоть и крепкая была, и сильная, и румяная, и мне девятнадцать лет, а все-таки мужик-то это больно здоровенный. И на улицу от него через другую дверь не убежишь в ночь — там молодые грузинчики ходят по темноте, белками посверкивают:

— Эй, блондинка, пойдем — угощу!

Стала я по номеру шуровать — орудие какое-нибудь искать, палку, ничего более подходящего не нашла, чем вантус и вешалка. Встала я перед ним за стеклом — в одной руке этот вантус, в другой — вешалка с крючком, размахиваю ими воинственно, лицо делаю свирепое, глазами вращаю, зубы скалю, боевой клич испускаю. Видимо, это его впечатлило, и он обратно полез. А я слежу сквозь стекло, чтоб он уж полностью туда опрокинулся. Но он, видно, уже силы порастерял, нога у него раненая, очков нет, редкие волосики растрепались на субтропическом ветерке, сам он в рубашке одной промерз в феврале-то на лоджии, да хотя бы и в Гаграх, стоять: никак не может залезть. Но я строго слежу, и как только он в мою сторону бросает жалостливый взгляд и всей своей фигурой выражает пораженческую горесть, поднимаю свой вантус и поворачиваю в его сторону вешалки железный крючок.

В общем, на следующий день в столовой дома творчества он вообще не появлялся.

А еще через день мне старичок-художник, который нас познакомил, и говорит:

— Простите, но мне кажется, наш Витас (Витаутас) в вас влюбился. Вчера весь вечер только о вас и говорил — неизгладимое впечатление вы на него произвели.

Еще бы! Я живо представила себя, грозную, как полки со знаменами, с вантусом и вешалкой в обеих руках...

А еще через несколько дней мне был этот тайный голос, призывавший позвонить моему будущему мужу. А потом я уже была в Москве.

Нет, конечно, не все было так уж благостно, когда я, дрожа от ужаса, перешагнула порог его дома. Хотя мне очень тогда хотелось поговорить о чем-нибудь интеллектуальном и высоком, соответствовавшем моим чувствам. Но я так боялась, — какая замечательная строчка есть у Вознесенского: «Не знал я, циник и паяц, что любовь — великая боязнь», — что взяла с собой для верности мою любимую, еще школьную, подругу.

— Расскажи ему, какие мы замечательные, веселые, — попросила я.

И мы вошли в дом. У него был в гостях молодой декадентский поэт, очень утонченного вида, который только что закончил книгу стихов «Запастерначье», и мы сели на кухне пить чай.

И тут моя прекрасная подруга принялась устраивать мою судьбу, странное вдохновенье осенило ее, и она стала красноречиво повествовать о таких историях, которые, мягко говоря, вовсе не обязательно было выкладывать моему будущему мужу, да еще при первом посещении. Ну,

например, она вспомнила, как мы с ней на спор в девятом классе выпили в уборной Третьяковской галереи бутылку гамзы... И закусили ирисками «Золотой ключик». А потом вышли к народу в зал, и эти ириски вдруг у нас посыпались по всему полу.

Впрочем, поэту-декаденту эти истории очень понравились, и он бурно смеялся:

— Забавные такие девчонки!

И он даже приглашал нас к себе на академическую дачу, доставшуюся ему в наследство от его дедушки-академика:

— Ко мне туда и Димочка Сахаров приходит — сын этого,— и делал многозначительный жест рукой. Так что приезжайте, всегда приятно пообщаться со свободными людьми.

А вот на моего мужа рассказы моей подружки не произвели такого уж обольстительного впечатления — он сидел, вежливо изображая улыбку, и когда мы вышли из подъезда, моя подружка честно сказала мне:

— Ну что? Я очень тебя подвела?

— Ты погубила мне жизнь,— грустно ответила я.— Но я все равно буду тебя любить.

Боже мой, что же я ничего не могу придумать путного для Журнала! Лезут в голову какие-то нелепые истории и вовсе не о том, а все какая-то ерунда: «вино, хорошая музыка»...

Я выступала от бюро пропаганды художественной литературы в Парке культуры. Дело это было очень муторное: открытая эстрада, на скамейках — случайные люди, в основном старички-пенсионеры и одинокие мамаши с орущими детьми, а кроме

того — просто проходной двор: все туда-сюда передвигаются, останавливаются, пьют пиво, прислушиваются, зевают, переговариваются и отходят.

Звук в микрофоне плывет, сам микрофон вдруг начинает гудеть. В принципе, это дело дохлое, никому не нужное, а для поэта — так даже и вредное. В довершение всего я была беременна на девятом месяце моим сыночком. И только перспектива получения семи рублей пятидесяти копеек толкнула меня на эту авантюру. К тому же Сьюзен, жена Питера Осноса, американского корреспондента в Москве, подарила мне набор одежд для беременных, и на каждой вещи было написано по-английски: «Наслаждайся своей беременностью», и я, в принципе, наслаждалась и щеголяла — настолько шикарными были эти широкие кружевные блузки, белые брючки с большой широкой резинкой на пузе и вольно ниспадающие длинные платья в мелкий цветочек.

Выступали мы на пару с довольно бездарным поэтом, хотя и красавчиком, Славой Л. Сойдя с эстрады и подписав у администраторши путевку с благоприятным отзывом, чтобы отвезти ее в бюро пропаганды, мы оба вздохнули с облегчением. И Слава Л., сладко поглядывая на меня, вдруг сказал значительно:

— А не махнуть ли нам сейчас ко мне? Посидим при свечах, у меня вино, хорошая музыка...

Я испытующе вперилась в него: он что, издевается надо мной? Баба перед ним на сносях, старший годовалый ребенок дома с отцом остался — он это знает, я еще перед выступлением ему об этом сказала...

Но взор его зажегся зазывным огнем, и я поняла, что это он всерьез, живота моего под широченной

вышитой блузой не заметил, а что дочка дома, ну так и что ж...

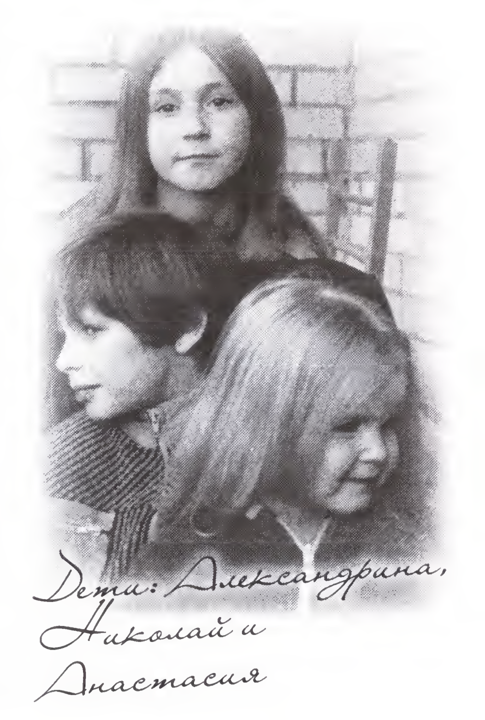
— Спасибо, конечно, — сказала я, — но у меня дела...

На следующий день я родила сыночка. А еще через пару недель я поехала получать гонорар за свое позорное выступление и встретила у кассы Славу Л.

— Как живешь? — спросил он.

— Хорошо, ответила я. — Вот, сынка родила, пока мы не виделись...

— Как сынка? У тебя же годовалая дочь.


Дети: Александрина, Николай и Анастасия

— Ну, тогда была только дочь, а теперь еще и сынок. Скоро ему уже полмесяца будет.

У меня есть два «жития» святителя Спиридона. Одно — составлено неким греком Михалисом Г. Ликисса, другое — вышло недавно в Москве и написано А.В. Бугаевским. Во втором житии, в отличие от первого, утверждается, что святителю Спиридону, несмотря на явленные им чудеса и свидетельства его прозорливости, так и не удалось обратить в христианство языческого жреца Олимпа. Тот, хотя и относился к святителю с почтением, все же не принял Христовой веры. И это не менее важный и красноречивый факт жизни святителя Спиридона, чем если бы он все- таки обратил идолослужителя.

Здесь, в решении свободной воли человека, в его личном выборе — краеугольный камень христианства. Никто и ничто не спасает автоматически. Даже в числе двенадцати ближайших учеников Христовых оказался предатель. У человека до последней минуты его жизни нет верных гарантий спасения. Пока не прервется его дыхание, с ним остается роковой вопрос его вольного произволения, возможность исповедовать Христа или отречься от Него. До самого смертного часа человеку не дано знать, примет ли его — такого, при всех его заслугах или вовсе без оных,— Христос. Единственное, что перекрывает этот страх быть отвергнутым,— это его любовь. Любовь ко Христу, которая «не перестает», которая «все покрывает» и которая верит в милосердие своего Любимого: «всему верит, всего надеется, все переносит».

Вечером мы отправились, по совету наших хозяев дома, к бухте неподалеку, в таверну «У Петерса». Столики стояли прямо на небольшом пирсе, так что нас с трех сторон окружало море, а вокруг плавали утки — они с жадностью хватали хлеб, который им бросали пирующие. За соседним столиком оказалась супружеская пара англичан. Англичане с тех времен, когда Корфу был их колонией, облюбовали остров для отдыха. Они приезжают и селятся здесь повсюду — английская речь куда громче звучит на Корфу, чем греческая. Они купаются в бассейнах, хотя иногда и в море, загорают на пляже (женщины порой «топлес»), сидят в тавернах, рулят по извилистым дорогам на арендованных машинах, вызывая законное раздражение водителей из других стран, ибо ездят они слишком медленно, — видимо, потому что им, помимо крутизны и «узины» здешних дорог,



приходится приспосабливаться еще и к леворульному автомобилю, и движению, с их точки зрения, «по встречной».

Итак, англичанин с хитрым любопытством посмотрел на меня и вдруг воскликнул:

– Вы актриса? Я видел вас в кино.

– Нет, – сказала я.

– А похожи на актрису. Я сам работаю в кино. Пишу сценарии.

Так мы постепенно разговорились, сдвинули столики. Они представились: Джордж и Хэлен.

– Вон там, на горе, вилла Ротшильдов, а там – владельца фирмы «Феррари», – просвещал нас Джордж.

Впрочем, болтали о том, о сем, даже об английской литературе. Здесь ведь, на Корфу, родились знаменитые братья Дарреллы. Один – Джеральд

Даррелл — писал чудесные книги о всяких зверях — я зачитывалась ими с детства. А другой — тот, который появляется в этих книжках как зловредный и довольно-таки противный брат Ларри, — стал даже лауреатом Нобелевской премии за свои постмодернистские романы. Дом, в котором они жили, целехонек — его недавно купила какая-то украинка. Впрочем, она сама оказалась страстной почитательницей обоих братьев и охотно позволяет всем желающим взглянуть на их жилище.

Помянули в разговоре также Шекспира, Диккенса, Теккерея, Байрона. Потом разговор несколько увял и оживился лишь тогда, когда внезапно перескочил на «падение фунта», которое как раз в это время сотрясало всю Англию.

— Да, — сказал Джордж, — вся эта банковская система крайне ненадежна. Особенно когда в одном банке берешь кредит на покупку квартиры, а другие банки скупают у него риски и потом оказываются банкротами... О, у нас все живут в ужасном напряжении и недоверии: все боятся краха. Не знают, с какой стороны будет удар. Поэтому молодые люди не хотят вступать в брак.

Все эти драконовские брачные контракты, обязательства, а ведь неизвестно, что у тебя случится завтра: вдруг не возобновят контракт на работе или повысится процентная ставка по кредиту на квартиру... В умах — такая тихая паника. Но вот эта финансовая система, биржа — это все ведь так интересно. У нас был один знакомый маклер, который работал на бирже. Так он в какой-то момент понял систему и безумно разбогател. Но это не принесло ему счастья. Жена его спилась и спалила одно из имений, битком набитое всякими

ценностями — картинами, антиквариатом. Сын разбился на собственном самолете. А сам он, в конце концов, оставаясь все еще мультимиллионером, застрелился. Просто все ему стало неинтересно. Почему в литературе ничего нет об этой силе денег, об этом азарте игры?

— Почему это нет,— возразила я.— А Достоевский, которого тема денег очень волновала? А Бальзак?

— Да, да, но я имею в виду — сейчас, сейчас! Это будит такие страсти, шевеление таких подземных пластов в человеке!

— Ну, а вы сами почему не напишете? Вы же сценарист!

— Я пишу бытовые комедийные сериалы. Это очень хорошо идет. Всегда есть спрос. А трагедии, знаете ли, надо еще пристраивать, искать продюсеров. Словом, это просто не мой конек.

Поэт-декадент, автор «Запастерначья», с которым я познакомилась у моего будущего мужа, когда впервые так бесславно к нему пришла, выполнил свое обещанье и пригласил нас к себе на академическую дачу. Наш общий друг Андрей Витте, который тоже тогда писал стихи, специально для этой поездки угнал у своего отца «Волгу», и мы, почти как этакая золотая молодежь, покатили в Жуковку. Я расположилась на переднем сиденье рядом с водителем, а мой будущий муж сидел сзади. И поэтому я все время оборачивалась к нему, весело щебеча. Даже и не заметила, как, закинув ногу за ногу, острой коленкой уперлась в прикуриватель, и когда он в положенный срок стал выскакивать, чтобы дать огоньку, коленка моя преградила

ему путь. И тогда он нерастраченным этим своим огнем что-то внутри машины подпалил. Как только мы вырулили на Рублевку, из отверстия, предназначенного для радио, вдруг повалил черный дым, запахло паленым и Витте, ударив по тормозам, закричал:

— Вылезай! Ложись! Сейчас рванет!

Мы выскочили, отбежали и залегли по-пластунски прямо в сугроб у куста, прикрывая головы кистями рук.

Прошла минута, другая, потом еще. Машина все не взрывалась, и мы продолжали лежать. Наконец Андрюша не выдержал: он ринулся к ней, открыл капот и, сняв с себя куртку, принялся ею бить по дымящимся проводам. Мы кинулись за ним, тоже стащили с себя куртки, не исключая того, что ведь и сейчас может еще рвануть, но он сказал с облегчением:

— Погасил!

И мы поехали, чувствуя, как совместное лежание на голом снегу под кустом в ожидании взрыва, у смерти перед лицом, сблизило нас. И поэтому мы с особым воодушевлением пили у поэта-декадента превосходное красное вино, ели чернослив, начиненный миндалем и пышно покрытый взбитыми сливками, а баснословный Козин нам пел: «Только раз бывают в жизни встрэчи, только раз судьбою рвется нить...» И тут зашел на огонек обещанный нам сын уже тогда легендарного Сахарова Митенька. Не знаю, наверняка теперь это уже солидный господин и весьма недурен собой, но тогда это был пятнадцатилетний шкет с тонкой шейкой и худеньким личиком, сплошь покрытым красненькими подростковыми прыщиками. Он сразу решил вписаться

в компанию взрослых девятнадцатилетних людей: опрокинул в себя полстакана виски, проигнорировав эстетскую черносливовую закуску, и пристроился возле меня, явно выказывая желание «приударить».

— Вы любите стрелять лис? — спросил он моего будущего мужа.

Тот усмехнулся.

И тогда Митенька, потирая руки и чуть-чуть побрызгивая слюной, сказал мне как бы невзначай:

— А я страсть как люблю пострелять лис для своих любовниц!

Этот Слава Л. в начале перестройки провернул хитроумнейшую финансовую операцию. Он обзвонил московских поэтов, причем не только тех, которые были на виду, но и таких, которые томились в тихой безвестности по литобъединениям, и предложил каждому бесплатно издать буклет с его стихами, причем вместе с переводами этих стихов на четыре европейских языка. Переводчики якобы были уже «заряжены», а серия запущена.

— Представляешь, какая это будет тебе реклама, — и не только здесь, у нас, но и в Европе, а хотя бы даже и в Америке? Поэзия без границ! Ну что, согласен? — спрашивал у каждого он.

Все, конечно, были согласны и кинулись нести ему свои стихи.

— Но только, — говорил он вдруг, словно вспомнив нечто незначительное, — тебе надо будет сделать портрет на обложку. Поскольку это серия, то он должен быть в общем ключе. Но ты не беспокойся, у меня есть специальный фотограф, он тебя сфотографирует как положено, и подретуширует,

и все будет о'кей. Только уж за это тебе придется заплатить. Но больше — ни копейки с тебя не возьмут.

И тут он называл сумму, весьма приличную по дореформенным временам: предположим, это было триста рублей.

— Чего так дорого? — вскидывались бедные поэты.

— Простота! Так это ж фотограф-художник! Для всеевропейского издания! А ты мелочишься. Ну и сиди себе в своем экономном бесславии!

И что? Наскребали поэты эти денежки, одалживали как миленькие, приносили ему в клювике. И я бы принесла, если бы не мой муж. Он тогда работал в «Огоньке», и у него рядом было фотографов пруд пруди, и все отменные.

— Да ладно,— сказал он мне,— позвони Славе, спроси точно, каким должен быть этот портрет, узнай все параметры, а тебе наши фотографы бесплатно все сделают.

Но Слава сказал:

— Нет. Тут у нас специальная технология, и чужие портреты нам не подойдут. Так что фотографируйся у нас. Неси триста рэ.

И вот тогда мой муж разгадал его авантюру.

— Посчитай, сколько поэтов в одной только Москве, и умножь это на триста — сколько денег получится? А Слава потом скажет: ну, ребята, провалилось, не удалось! Издательство отказалось вас выпускать в самый последний момент.

И действительно: Слава Л. вдруг куда-то исчез. То сидел-сидел в кафе ЦДЛ, а то вдруг — нет его, как не бывало.

А через несколько лет, когда я была в гостях у Андрея Синявского, я вдруг увидела у него

на секретере книгу стихов, выпущенную, кажется, в Мюнхене. На обложке красовалось: Святослав Л. Внутри была подпись, нечто такое: «Дорогому мученику совести Андрею Донатовичу от мученика совести Славы Л.»

— Откуда вы знаете этого мученика совести? — спросила я Синявского.

— Да я был в Германии, и ко мне на моем вечере подошел этот милый человек, который и подарил свою книгу. Он сказал, что тоже очень пострадал от советской власти, томился в неволе и еле ноги унес.

Я живо представила себе эти разъяренные толпы разочарованных поэтов, требующих у Славы свои буклеты на пяти языках, и подумала, что, действительно, он, наверное, испытал огромное облегчение, когда наконец сел в самолет, улетавший в прекрасный Мюнхен.

У святителя Спиридона было несколько историй, непосредственно связанных с деньгами. Однажды после сильного наводнения к нему пришел разорившийся крестьянин и поведал о своей беде: он пришел к знакомому состоятельному человеку и попросил его одолжить зерна для посевов, с тем что после урожая он вернет ему это зерно с лихвой. Но тот потребовал от него залог, которого у бедняка не было.

И тогда святитель Спиридон дал ему для залога дивное украшение — золотую змею. Перед такой ценностью владелец амбаров не смог устоять и наделил крестьянина зерном. Тот посеял его и вскоре получил небывалый урожай. Выручив за него немалые деньги, крестьянин на радостях поспешил к богатому землепашцу, чтобы вернуть долг. Но богачу уже так не хотелось расставаться с драгоценностью,

что он слукавил: мол, не получал он никогда никакой золотой змеи, в глаза ее не видывал и потому возвращать ничего крестьянину не будет.

Крестьянин поведал эту историю святителю Спиридону, и святой уверил его, что плут вскоре будет наказан. Богач же тем временем решил полюбоваться столь ловко присвоенной драгоценностью и полез в сундук, где она хранилась. Каков же был его ужас, когда он обнаружил вместо золотого изваяния живую змею! Он захлопнул крышку сундука, отыскал крестьянина и, ссылаясь на то, что он только что вспомнил всю эту историю с залогом, предложил вернуть драгоценность в обмен на уплату долга.

Крестьянин принес деньги, а богач подвел его к сундуку и предложил забрать из него то, что там хранилось. Крестьянин отвалил крышку и вытащил оттуда сверкающую золотом литую змею.

Когда крестьянин вернул драгоценность святителю Спиридону, тот пригласил его пойти с ним на огород, где и положил на землю сокровище. После этого он воззвал к Господу с молитвой благодарения, и змея, сослужив свою службу в качестве золотого изделия, превратилась в живую скользкую тварь и тут же уползла по своим змеиным делам. И потрясенный крестьянин понял, что святитель Спиридон, который так хотел ему помочь и сам не имел ничего, что бы можно было отдать в качестве залога, умолил Господа превратить это пресмыкающееся в драгоценный предмет. Ибо «Господь творит все, что хочет, на небесех и на земли, на морях и во всех безднах» (Пс 134, 6). Но каково же дерзновение святого, какова сила его молитвы!

Это ведь еще и притча об эфемерности стоимости земных вещей. Сколько стоит кусок хлеба

во дни голода? Стакан воды в пустыне? Глоток воздуха в газовой камере? Да хотя бы и рукавицы во время лютого мороза? Сколько стоит зрение? Способность ходить? Говорить? Слух? Сон? Сколько стоит сделать так, чтобы тебя любили? Чтобы самому хоть кого-то любить? И что можно купить на миллион фунтов умирающему? Что, какое благо могут дать деньги мультимиллионеру, которому так претит жить, что он предпочитает выстрелить себе в глаз? Не скользкую ли змею уползающую видит он перед тем, как направить дуло себе в зрачок?

В церковнославянском тексте Евангелия по сравнению с русским переводом стоит исключительно точный глагол «отщетить»: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою отщетит?» (Мк 8, 36). И воистину: «Какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мк 8, 37).

Это я к тому, что недавно слышала по радио дискуссию: все ли можно купить. И дискутирующие пришли к выводу, что купить можно все, дело лишь в цене. Интересно, как они собираются покупать себе ум или талант? И что это будут у них за купленные друзья, или купленная жена, или купленная мать?

Я знала один брак, заключенный по расчету, но там все очень плохо кончилось. Это красотка Нана, у которой была дочка-олигофрен, вышла замуж за грузинского миллионера. Он был старым, обрюзгшим и с большой бородавкой на лице, но главное – он был хам и плебей. Зато Нана поселилась в роскошной квартире в лучшем районе Тбилиси, получила возможность самой не зарабатывать

на жизнь, а сидеть с больной дочкой и лечить ее у лучших врачей. Так она пожертвовала собой, потому что очень любила эту больную девочку. Но ее миллионер был так ей отвратителен, что она его отравила, подмешав в чачу какую-то кислоту. Потом она подкупила в суде нужных людей, и то ли ее оправдали, то ли дело вовсе закрыли. А потом в Грузии началась война. В Тбилиси не работало отопление, и она разжигала камин. Искра упала на паркет, ночью он начал тлеть, потом загорелся дом, а Нана с дочкой не могли выскочить из него, потому что к железной двери нельзя было пробраться из-за бушевавшего огня, а на окнах были решетки.

Но что касается браков по любви, то я знаю немало случаев среди моих знакомых, когда хотя бы один из будущих супругов получал внутреннее твердое удостоверение в том, что именно этот человек и будет делить с ним жизнь. Так было с моим другом, писателем С., когда он увидел Татьяну и сразу понял, что именно она – его жена. Так было и с женой моего брата: они вообще ходили в один детский сад и сиживали там рядом на горшках. Она уверяет, что уже тогда знала, что он – ее будущий муж. Так было с моими друзьями Петей и Соней – они учились в одном классе, а поженились только в двадцать три года: все это время Петя доказывал Соне, что она предназначена именно ему.

И все это не роковые романы, а браки, совершенные на небесах, любовь до гроба и после него. Просто любовь.

Никогда не догадаешься, кто кого полюбит, и никогда не добьешься любви, если уж не суждено.

Отец Владимир и Олеся



Я помню, как моя подруга Любаня страстно влюбилась в молодого и неженатого прозаика П., с которым я была в добрых приятельских отношениях. И вот она все просила и умоляла меня как-нибудь поехать вместе к нему и завести общий разговор, чтобы уж она потом, завязав знакомство, имела возможность встретиться с ним самой. И так она на меня насела, что я согласилась, несмотря на то что мой муж очень меня ругал и даже называл это в сердцах «сводничеством». Но я понимала, что это никакое не сводничество: просто, когда человек влюблен, он трепещет. Он двух слов не может связать. А они вообще знакомы шапочно и помимо меня. Просто она не может с ним наладить чисто человеческий контакт. Ну, ведь я же сама тоже просила подружку в сходной ситуации пойти со мной...

В общем, узнала я, что он живет в Переделкине на чьей-то писательской даче: зима, хозяева в Москве, а он вроде как сторожит. И что он болеет. И я сказала: я тебя, больного, навещу. Он сказал: давай. А я сказала: а я приеду с подружкой. Он сказал: хорошо.

Мы купили аспирина, парацетамола, все того же вина, фруктов и поехали к больному. А у него — котлеты, пюре, борщик, кисель, коньяк.

Пока он расставлял на столе тарелки, Любаня мне и говорит с подозрением:

— Кто-то до нас здесь уже побывал! Чувствуется заинтересованная женская рука!

Села и съела все подчистую. Уничтожила чужие следы. А потом еще и коньяк принялась истреблять. Но поскольку она вообще-то девушка была непьющая и добронравная, ее после такого преизобильного ужина, да еще и коньячка, да еще и с морозца, потянуло в сон. И когда молодой и подающий надежды прозаик П., которого мы с самого начала попросили почитать что-нибудь «из новенького», принялся с воодушевлением декламировать свой рассказ, старательно интонируя, кое-где посмеиваясь, а порой даже и смахивая невольную слезу, Любаня стала клевать носом и держать двумя пальцами левый глаз, чтобы хоть он не закрылся совсем. Но ее героические усилия оказались тщетными: все ее силы оттянул на себя желудочно-пищеварительный тракт, и когда прозаик П. закончил читать с полным ощущением, что рассказ — удался, Любаня, откинув голову назад, сладко посапывала в своем кресле.

Ну и вот, ничего у них не получилось. Так что можно считать, что мы с ней просто прогулялись за город

по русской зиме, хорошенько покушали, отогрелись в тепле, вздремнули и возвратились назад.

А ведь она такая миловидная, заботливая, у нее и квартира своя в Москве — уютная, благоустроенная, а у прозаика П. даже и прописки-то не было. Она и в литературе толк понимала, и сама стихи пописывала, так что не стала бы его мещанством давить, и все у них могло бы быть так хорошо!

Но — не судьба!

А еще я знаю один трагический случай, когда молодой иеродиакон, то есть — монах, между прочим, очень суровой жизни — встретил в монастыре прекрасную девушку-медика и отпросился в Москву к ней на лечение. И такая у них бурная вспыхнула страсть, что он бросил все и на ней женился. Но не прошло и полугода, как эта его любовь претворилась в такую жгучую ненависть, что он стал бояться себя самого, как бы он вдруг ее не убил. Поэтому он просто от нее сбежал. В монастырь возвращаться у него не хватило духа, и он поселился у матери в тихом провинциальном городке, где и спился. Самое поразительное, что когда он был еще в монастыре, он все возмущался другими монахами: и молятся они мало, и не так, как положено, и святых отцов не читают, и едят много, и вообще, в монастыре слишком уж для него мягок устав. Он даже просил меня отвезти его на машине по лесной дороге куда-то вглубь, и дальше мы уже шли пешком, верней, ломились по непролазной чаще километра три, отмахиваясь от комариных туч. Наконец он остановился и сказал:

— Вот тут. Вот тут будет мой скит, когда я уйду из монастыря и стану подвизаться в одиночестве.

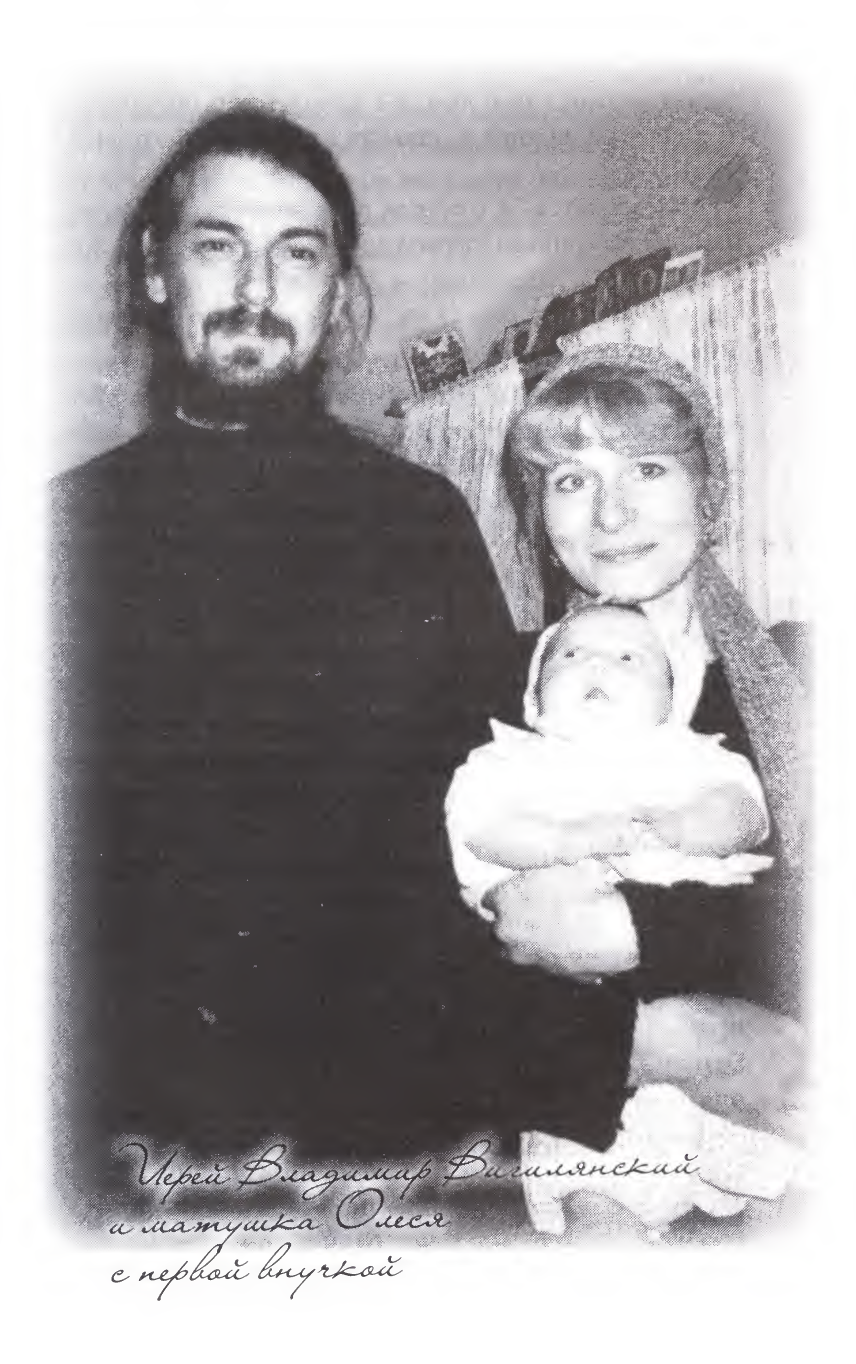
Построю церквушку и буду молиться в ней день и ночь.

...После этого случая я стала с большим подозрением относиться к отдельным монахам, которые начинали сетовать на то, что устав их монастыря недостаточно строг, и делиться своими помыслами об уходе в собственный скит.

А что касается того отвращения, которое вдруг стал испытывать тот несчастный иеродиакон к своей избраннице, то ведь и в Библии есть такая история. Это когда Амнон воспылал преступной любовью к Фамари, так что заболел из-за нее, заманил ее к себе и изнасиловал. И вот сразу после этого, как сказано, «возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней».

Все-таки любовь и радость — это дары Божьи, и Он кому хочет, дает их, а кому не захочет, у того отнимает: Бог творит все, что хочет. Захочет — ожесточит сердце фараона, а захочет — умягчит. Поэтому — берегись, пытающийся своровать эту радость или похимичить, чтобы получить ее. Честно говоря, я люблю этот Божественный произвол.

Удивительно, как любовь притупляет все прочие ощущения. Когда ко мне впервые, вскоре после пира с поэтом-декадентом, собрался в гости мой будущий муж, я постаралась получше его принять: все убрала, купила всякого вкусного и, когда он пришел, стала жарить блины, целиком поглощенная его присутствием, — настолько, что, схватившись за раскаленную сковородку, этого даже и не почувствовала,



Иерей Владимир Вигилянский
и матушка Олеся
с первой внучкой

а просто инстинктивно отдернула руку. И лишь когда он покинул мой дом, я с удивлением обнаружила у себя на ладони и пальцах страшный багровый ожог.

Мне кажется, я отчасти могу понять, как мученики, претерпевая какие-то нечеловеческие пытки и страдания, терпеливо и кротко переносили их. Ибо любовь поглощала их ощущения, перекрывала боль, «покрывала все».

Святителя Спиридона ведь тоже мучили и пытали. В житии сказано, что еще до своего епископства, в 305 году, он был отправлен на рудники; там он подвергался пыткам за то, что не желал отречься от Христа, ему повредили правый глаз, отрубили правую руку... А во время гонений в 308–313 гг. он был арестован вновь. Правда, в том же житии (греческом) говорится и о том, что на его святых мощах нет следов повреждения глазниц, но ведь мучители могли поранить ему глаз и не повреждая глазниц.

Но особенно меня поражает то, что у него, как и у моего отца, не было правой руки. Мой отец потерял правую руку на фронте, когда ему было девятнадцать лет. Удивительно, но я никогда не чувствовала, что мой отец – инвалид. Да и люди, дружившие и просто общавшиеся с ним, как-то переставали осознавать, забывали, что у моего отца правый рукав – пустой. Он его заправлял в карман. Это происходило оттого, что он так сам себя поставил: никакой беспомощности, никаких скидок. Он одной левой прекрасно водил машину, и не какую-нибудь там инвалидку или переоборудованную специально под его немощь, – нет, у него был «Форд» с обычной в те времена ручкой переключателя

скорости на руле, и отец, придерживая ладонью руль, длинными и безупречно красивыми пальцами переключал скорости. Единственно, что права в ГАИ были выданы ему по блату. Но гаишники, останавливавшие его, как бы даже и не замечали, что водитель-то без правой руки.

Отец прекрасно писал левой рукой, и почерк его был изящен, лишь буквы норовили склониться влево. Он мог одной рукой ввернуть лампочку, поменять штепсель, забить гвоздь, перемонтировать колесо, снять аккумулятор и поставить его назад... Как? Не знаю. Бог весть. Когда прекраснейшая его машина проржавела настолько, что в ней сгнила ножка водительского сиденья, он придумал, как подпереть его мусорным совком,— так и ездил, а что — даже и веселей... Он мог отбиться от хулиганов, которые как-то раз на него напали, попросив прикурить. Он был статен, красив, широкоплеч, элегантен, остроумен. Его сотруднику по журналу «Дружба народов» Юрию Гершу, у которого началась гангрена, отняли левую руку, и он впал в глубочайшую депрессию. А папа его утешал. «Слушай,— шутил он,— у тебя нет левой руки, а у меня правой — сколько денег мы теперь с тобой сэкономим на одних перчатках!»

Мама моя как будто даже гордилась, что он не как все, а — лучше. Отсутствующая рука — это его доблесть, его слава, его честь. Он — как адмирал Нельсон! Она — как леди Гамильтон! Я думаю, это оказывало и обратное благотворное действие на отца: он сам никогда не ассоциировал себя с этим страшным словом «калека».

Наверное, так ощущал себя и святитель Спиридон.

Отец мой остался в живых на войне как бы случайно, а на самом деле — благодаря чудесной помощи преподобного Серафима Саровского.

Это было под Гданьском (или Данцигом), где он, девятнадцатилетний лейтенант, командовавший артиллерийской батареей, выбрав дислокацию возле кирпичной стены полуразрушенного дома, которая закрывала его пушки с тыла, принял бой с фашистскими танками. Однако эти танки дали по ним такой залп, что вся батарея вместе с пушками полегла и оказалась смешанной с землей, и папа был убит. Последнее, что он помнил, был чудовищный взрыв, вспышка огня, а потом все затихло и погасло и он отошел во тьму. Но вдруг, точно так, как это записано со слов пациентов, переживших клиническую смерть, в книге Моуди «Жизнь после смерти», он обнаружил себя в длинном открытом фургоне, мчащемся с огромной скоростью по тоннелю, и вокруг звенели бубенчики, а впереди был свет. И тут навстречу ему вышел старичок, который перегородил собой путь, остановил фургон и сказал:

— Стоп! Ты куда? Тебе еще рано. Возвращайся.

И папа очнулся на операционном столе.

А как раз в то самое время, когда фашистские танки долбанули по папиной батарее, его друг по артиллерийскому училищу, тоже девятнадцатилетний лейтенант, Павлик Агарков, занявший со своей батареей высотку в нескольких километрах от того места, где шел бой, с тревогой слушал далекий грохот этой смертельной битвы. Как только утихли звуки и упала тьма, он решил на свой страх и риск отправиться туда, чтобы хотя бы похоронить друга и потом сообщить его матери о месте могилы. Добравшись

до полуобвалившейся кирпичной стены, он откопал папино бездыханное и залитое кровью тело и потащил его к ближайшему кусту, чтобы там выкопать яму и предать земле останки своего юного друга. И пока он его тащил тяжело и неловко — сам маленький ростом, от силы метр шестьдесят, а папа высокий, метр восемьдесят два, — у папы вдруг согнулись в коленях ноги. Павлик наклонился над ним, приложил к губам зеркальце — ба, да он живой! И потащил его в ближайшую польскую деревню, где было нечто вроде санчасти. Врач лишь взглянул на папу и отвернулся, дав Павлику понять, что тот — не жилец и что не стоит и затеваться. Но Павлик приставил пистолет к его голове и сказал: действуй. Врач стал объяснять, что огромная потеря крови, гангрена, надо отнимать правую руку, случай безнадежный. Но Павлик все держал в руке пистолет и повторял: возьмите мою кровь. И врач положил папу на операционный стол, принялся омывать раны, повторяя, что у раненого первая группа крови, а у Павлика — третья, и вообще это все дохлый номер... И тогда польская девушка-медсестра, посмотрев на папу с жалостью и любовью, сказала:

— Такий млодый! Такий сличный! У меня перврша группа! Возьмите мою.

Вот папа и очнулся на операционном столе рядом с ней.

Потом, через много лет, мы с папой ездили в Гданьск, все там облазили в его окрестностях и нашли и то поле, и ту полуразрушенную красную кирпичную стену, и ту прекрасную девушку Марту Обегла. Она стала очень респектабельной ухоженной дамой, владелицей косметического салона в лучшем районе Гданьска.



— А кто же был тем старичком, который тогда вышел тебе навстречу и вернул назад? — спросила я у отца.

— Я тоже поначалу думал, кто же это такой: вроде очень знакомый, даже родной, а вспомнить никак не могу. А потом понял, где я видел его. На иконе, дома, в красном углу. Эта икона в детстве исцелила меня от слепоты.

— И кто же это был?

— Преподобный Серафим Саровский. Ему особенно молились бабушка и мать, он считался небесным покровителем нашего рода.

Добавлю еще: мой двоюродный дедушка со стороны отца — тоже Александр — считал, что преподобный Серафим спас во время Ленинградской блокады его семью.

Дедушка уже понимал, что все они — его жена, и двое сыновей, и он сам — вот-вот умрут от голода, как умерли жена и дети его брата Жоржа, который был на фронте. И сидел ночью пригорюнившись на кухне. И вдруг — а дедушка мой был никакой не мистик, а самый что ни есть реалист, даже критический реалист, скептик — входит

к нему преподобный Серафим Саровский и говорит:

— Не отчаивайся! Завтра я выведу вас отсюда.

Наутро пришло распоряжение срочно эвакуировать цех, где дедушка был инженером, и ему позволили взять с собой и семью.



Папа умер от диабетической комы 9 октября, в день памяти апостола любви — святого Иоанна Богослова, в больнице города Видное, куда его привезли на «скорой» из его переделкинского дома. Мы с мужем (он тогда уже стал священником) буквально за два часа до его кончины приехали, чтобы его пособоровать. Он лежал на больничной койке без сознания и тяжко дышал, перебирая пересохшими губами, словно что-то пытался еще сказать. После соборования мы вышли на больничное крыльцо. И вот тут, когда я еще стояла на крыльце, не решаясь уйти, я вдруг почувствовала... папину душу, и вся она была как любовь, и я вдруг стала ужасно плакать: все лицо в слезах, они льются потоком, капают.

Было так, словно вот он весь передо мной и со мной и словно он мне говорил — или действительно он мне это говорил: «Ну, что ты плачешь?

Мы же всегда теперь будем вместе. Мы даже будем ближе, чем были, и ничто не разлучит нас», как-то так. Я поняла, что в эту минуту он умер.

Мне стало грустно, что я не могу посадить маму с отцом в машину, чтобы мы вместе поехали вдоль моря туда, на юг, за Керкиру, к маленькому монастырю Влахернской иконы Божией Матери, который расположен на острове: мой муж, как всегда, разложит на коленях карту и будет руководить, я — рулить, а мои родители — просто радоваться и удивляться, глядя в окно. Ведь они так любили путешествовать! Еще в моем детстве мы на папиной машине объезжали всю Россию, Украину, Белоруссию, Прибалтику,

Крым... Я своим детям не открыла и десятой части того, что подарили мои родители мне.

В Керкире мы завернули в ту иконную лавку, где я купила пустой диск якобы с записью литургии. У меня была надежда, что мне поменяют его. Но она была закрыта. Зато был открыт храм святителя Спиридона. Службы не было, но можно было приложиться к раке с мощами святого. Я написала на греческом записки о здравии и об упокоении и попросила священника, чтобы он помолился. Видимо, у меня было такое просительное лицо, что он куда-то пошел и вскоре принес мне несколько кусочков ткани, в которую незадолго до этого были облачены священные мощи. Я очень обрадовалась: ведь раньше у меня был такой же кусочек от облачения святителя, и я, отправляясь в дорогу, всегда прикалывала его к изнанке своей одежды, пока он не истлел и не развалился. Моя подруга, считавшая, что

это как есть язычество, даже стыдила меня за этот, как она выражалась, «талисман» или «оберег», но я отговаривалась тем, что поскольку я святителя Спиридона люблю, мне дорога любая вещица, имевшая к нему отношение.

Так я берегу папины шахматы, хотя половины фигур уже не хватает, а доска истерта. Мне все равно они дороги, потому что он когда-то держал их в руках. А уж кусочек ткани от святителя Спиридона еще и освящен на его мощах. Словом, я тотчас прицепила его булавкой к изнанке блузки. Так я чувствовала себя увереннее, возвращаясь уже в кромешной тьме по серпантину из Канони, где расположен монастырь Влахернской иконы Божией Матери, к себе в Агиос Стефанос. Куда ни поедешь в Греции, везде отыщется какая-нибудь святыня. Или чудотворная икона, как в этом крошечном монастырьке на острове, или частицы святых мощей — и святого апостола Андрея, и Победоносца Георгия, и первомученика Стефана, и святого мученика и чудотворца Трифона, и святителя Николая Угодника, и святой Анастасии Узорешительницы, и святой мученицы Теклы... Вся земля пронизана благодатными токами, живительными энергиями, благорастворенными воздухами. Дай Бог и нам наполниться ими здесь, надышаться, ощутить как норму жизни...

Да, святитель Спиридон охотно, когда у него были деньги, раздавал их неимущим, а тем, кто впоследствии могли разбогатеть, давал их в долг. Так он дал их одному купцу, который обещал, закупив товар и выгодно продав его, эти деньги вернуть. И вернул — святитель попросил

его положить их в какой-то шкафчик. А потом они ему понадобились опять. И он опять попросил у святителя Спиридона. И тот сказал: возьми. И купец взял и снова вернул, положив в тот же шкафчик. А потом — опять попросил и снова пришел возвращать. Но на сей раз он решил слукавить: мол, зачем святителю деньги, — и в шкафчик их обратно не положил. Святитель это сразу понял, но вида не подал.

Далее с этим — уже очень и очень преуспевающим — купцом произошло следующее: все его торговые корабли утонули вместе с товарами во время бури. И он совершенно обнищал. Приходит он в беде и печали к святителю и опять просит у него денег. Святитель ему не отказывает.

— Возьми, — говорит, — их оттуда, где ты их оставил в прошлый раз.

Купец лезет в шкафчик, а там, естественно, пусто.

Тогда его охватил стыд, и смятение, и покаяние, ибо получилось, что, обманывая святого, он обманул и наказал самого себя.

Впрочем, если внимательно приглядеться, так всегда и бывает.

Мой духовник говорил мне, что это очень хорошо, когда человек сразу получает возмездие за свой грех: Господь особенно печется о нем.

Мне такое возмездие посылается тут же, самым невероятным образом, порой — даже смешным. Как-то раз я разбирала вещи в шкафу, и злые мысли клубились у меня в голове. И вдруг дверцы шкафа быстро задвигались туда-сюда, туда-сюда, а поскольку мое лицо оказалось аккурат между ними,


Отец Владимир с греческими батюшкой и матушкой на Корфу

то получилось, что они именно что надавали мне по мордасам, и – до синяков! Больше всего меня поражало то, что когда я пробовала продемонстрировать моему мужу, как это произошло, я поняла практическую невозможность такого своеобразного мордобития.

Или шли мы однажды зимой с моим сынком – еще подростком, у которого были скользкие ботинки, и он все время падал. Я сказала ему весьма строго:

– Что это ты все падаешь и падаешь? Почему это я, интересно, не падаю никогда?

Но не успела я договорить последнюю фразу, как ноги мои взметнулись чуть ли не выше головы и, смешно замахав в воздухе руками, я грохнулась всей массой об лед. Мое «никогда» прозвучало уже тогда, когда я сидела на тротуаре, а мой сын кинулся меня поднимать.

Но сребролюбие – такой липкий, такой уязвляющий душу грех! Как отделаться от него? Вот, казалось бы, я почти три недели блаженствую, живу на гостеприимной вилле, купаюсь в море и разъезжаю на прекрасной машине, а вдруг да и входит в мою голову мысль: а как было бы хорошо, если бы – ну, хорошо, пусть не эта вилла, не такая роскошная, с бассейном и садом, а был бы и у меня здесь собственный хотя бы небольшой домик над морем, чтобы можно было когда угодно сюда приезжать... Чтобы и мои дети, и мои внуки... Ну хотя бы вон тот – строящийся, по соседству. Или вот этот – уже построенный, готовый к продаже. На заборе висит доска, где большими буквами: «Продается»... Сколько же это, интересно, стоит? Как бы разжиться такими деньгами? Хорошо бы, привалило мне Бог знает откуда большое наследство... А что: отыскался бы, наконец, какой-нибудь одинокий богатый двоюродный дедушка – пусть не в Польше, где моей прабабке Леокадье Вишневской принадлежало имение Щипиорно под Варшавой и где мы с папой даже встретили старичка Филиппяка, который еще помнил юную госпожу, вышедшую замуж за русского полковника: в Польше все равно ничего не отдадут; пусть – где-нибудь в Германии: бабка моей матери была настоящая баронесса, и ее фамилия была фон Бишоп. И этот родственник бы сказал: «Внученька, дорогая! Давай я куплю тебе на Корфу прекраснейший дом!»

...О, как трудно прервать этот мутный и изнуряющий поток бреда!

Ночью взяла фонарик и позвала мужа: пойдем, посмотрим.

Мы вышли за ограду и, светя в темноте неверным фонариком, стали спускаться по крутой тропе к строящемуся дому. Он был уже почти готов, хотя стоял еще без окон, без дверей. Мы вошли внутрь и взобрались по лестнице.

— Здесь — спальня, — догадалась я. — Здесь — ванная, а здесь — кабинет.

Из дыры в стене, предназначенной для двери, ведущей в лоджию, открывался морской простор. На небе сияли звезды. По дальней горе в гуще деревьев изредка мелькали огоньки — то была дорога на Агиос Стефанос. И стояла какая-то неправдоподобная тишина — не слышно было даже цикад.

Становилось как-то не по себе — в этом чужом недостроенном доме, в полном безлюдье, с фонариком наперевес.

— А бассейн здесь — маловат, — на всякий случай сказала я.

Мы спустились и вышли на тропу, собираясь исследовать и второй, уже выставленный на продажу дом. Но там уже были и окна, и двери, и все было заперто, и фонарик наш что-то стал барахлить.

С утра пораньше видели ежика, перебегавшего через дорогу, видели огромную птицу с синей головой, красными крыльями и желтой грудкой, видели шмеля в полосатой велюровой рубашке, видели змею, гревшуюся на камне. А ночью видели огромные звезды — множество звезд, и ходили на открытую площадку в горах, откуда наблюдали вспыхивающие зарницы: это гроза в Италии, и, кажется, она собиралась к нам.

Мой друг прозаик В. прожил бурную богемную жизнь. Он поменял несколько городов и стран,

а также нескольких жен, одну из которых крепко побил из ревности, а сопернику выбил передний зуб, так что чуть было не угодил под суд, но обошлось: нанял хорошего адвоката с красноречивой фамилией Баксов и откупился. И наконец, «на закате дней», он «возвратился на круги своя», осел на месте и усвоил образ кающегося грешника. А у него от прежней — еще дозаграничной — жизни оставался чудесный сын Коленька, которого сам В. называл «даром небес»: кроткий, светлоликий юноша.

Коленька с отрочества прислуживал в храме, а потом поступил в Московскую духовную семинарию и очень успешно там учился. При виде его сердце само принималось петь ему: «Аксиос! Аксиос!» Да и вообще — все говорило о том, что он вот-вот примет священный сан и будет чистым сердцем молиться за нас у престола. К тому же и девушка у него была ему под стать — радостная, пригожая, вся как наливное румяное яблочко.

Он так и говорил о ней: «моя девушка».

— А можно, я приду к вам с моей девушкой? А вы не можете моей девушке подарить свою книгу?

Познакомил ее с отцом, с друзьями отца — всем она по душе, стало быть, свадьба не за горами, а там и до рукоположения рукой подать...

Так проходит месяц, другой, полгода, год...

Встречаю его на улице — идет, сияющий.

— Коленька, как жизнь?

— Слава Богу! Вот — в Духовную академию поступил...

— А девушка твоя как?

— Прекрасно просто! Ей так повезло! Она замуж вышла — очень счастливо, очень хорошо. За друга моего, бывшего сокурсника. Замечательный

человек, очень духовный, и ведь как поет! Его уже и во диаконы рукоположили. Они только что вернулись из Греции, полные впечатлений: были у мощей святителя Спиридона, и у Андрея Первозванного, и у Иоанна Русского. Я всю жизнь мечтал туда попасть, но они мне так доподлинно все описали, так живо, что я как будто сам там побывал, воочию все увидел и прикоснулся к святыням. До сих пор храню это блаженное чувство.

...Мой друг В., комментируя это, говорит, имея в виду Коленьку и себя: «Волен Бог и на терновнике вырастить виноград, и на репейнике — смоквы!»

Я все-таки спросила его:

— А может, Коленька ту девушку и не очень любил?

— Да ты что, неужели ничего не поняла? — удивился мой друг.— Любил, конечно, колечко ей даже купил уже обручальное, со мной советовался: «Папа, ты все-таки разбираешься, какой у женщин вкус», боялся: а вдруг колечко его — не понравится? Да вот подарить не успел: все шептал тогда потрясенный: «Не судьба, не судьба!» Ну и принес это колечко просто Матери Божьей — то ли зарок Ей какой дал, то ли просто — утешения попросил...

Мама пережила отца на семь лет. Поначалу она как-то по-детски обижалась на него:

— Как он мог уйти, а меня здесь оставить!

Порой она даже переадресовывала этот упрек ему:

— Зачем, зачем ты меня не взял вместе с собой! Ушел один!

Она очень страдала, стала слепнуть, так что уже не могла читать, почти не могла ходить, все время

лежала или сидела на кровати, у нее началась гангрена, ей чуть было не отрезали ногу, но — слава Богу! — спасли.

И вот за месяц до смерти, совсем беспомощная, она вдруг сказала:

— А знаешь, я благодарю Господа за все, что Он дал мне познать и пережить за эти семь лет.

Лицо ее стало просветленным и простодушным, и она была похожа на большую девочку.

— Если уж в тебе есть любовь, держи ее изо всех сил — всеми руками, всеми пальцами! — и она улыбнулась так, словно держала в себе какую-то потрясающую тайну. Теперь наверняка она открыла ее отцу.

Как все-таки прекрасна жизнь на острове Корфу, как привольна, как хороша! Жители занимаются тем, что оказывают гостеприимство чужестранцам, делятся с ними своей радостью и той красотой, которой одарил их Господь. Или выращивают овощи и фрукты. Или — ловят рыбу. Вкус этой рыбы и этих креветок, мидий, кальмаров, осьминогов, лангустов, только что пойманных и извлеченных из сетей, совсем не такой, как где бы то ни было — будь то в Париже или в Москве.

Наша жизнь сложна и подчас искусственна, а здесь естественна и проста. Это та самая простота, с какой святитель Спиридон — человек некнижный и, может быть, даже и вовсе не ученый, зримо изъяснил на Первом Вселенском Соборе пред мужами высокообразованными и премудрыми тайну Божественного Триединства. Они все спорили между собой, пытаясь переложить это на язык философских терминов, а святой достал кирпич, сжал его в руке, так что из кирпича взметнулся

к небу огонь, вниз истекла вода, а на ладони осталась глина.

Ну что ж, до отъезда оставалось всего несколько дней, и мы еще и еще раз объехали благословенный остров и вдоль, и поперек, и вокруг. Еще раз навестили святителя Спиридона и святую царицу Феодору и снова хотели было вернуть бракованный компакт-диск, да лавка опять оказалась закрытой. Так и не удалось мне увезти с собой звуки здешнего пения. А меж тем гроза, бушевавшая в Италии, ринулась на Албанию и наконец обрушилась на Корфу. Ночью ветер ревел таким властным басом, что было страшно и казалось, что именно так с Иовом из бури говорил Бог.

А на следующий день после того, как мой будущий муж пришел ко мне и я, жаря блины, обожгла ладонь, он сказал, когда мы вышли из института:

— Пойдем гулять.

Взял мою руку в свою и засунул в карман своей шубы, и так мы шли...

С утра был проливной дождь, но и под дождем можно поехать в Кассиопи, повернуть в глубь острова и подняться в древнюю деревню Перифия, где некогда было множество храмов, а теперь все — и дома, и храмы — стояли полуразрушенные, а на развалинах пировали туристы в устроенных тут же тавернах и продавались поделки из оливы. Мы купили огромную — до середины ноги — деревянную утку с перьями из корней. Утка стояла на своих перепончатых лапах, задрав вверх полированный клюв, и глядела ввысь.



В былые времена люди избирали для жизни пространства, более или менее удаленные от моря, потому что на море царили пираты и прибрежным поселениям, в случае их высадки на сушу, было несдобровать. Перифия, без сомнения, была богатая деревня: такие просторные и прочные каменные дома в два этажа, внутренние дворы, почти крепостные ограждения, храмы. Но вот грянул глас Божий из бури – и обезлюдело место, и опустело поле, и начали крошиться кровля и осыпаться дома.

Пока мы путешествовали, дождь все шел, дороги совсем развезло. Но на шоссе это совсем не чувствовалось. А когда свернули с главной дороги к своему Агиос Стефанос, да кончился асфальт и пошла щебенка с песком и глиной, это стало очень даже ощутимо. Машина то и дело пробуксовывала на рытвинах, непрочное покрытие ползло под колесом, приходилось крепко-крепко вцепляться в руль,



потому что он вдруг норовил вырваться и вильнуть куда не положено.

У меня мелькнуло смутное опасение: если дождь будет продолжаться всю ночь, то мы, может статься, наутро, когда нам предстоит ехать в аэропорт и именно по этой дороге резко подниматься вверх, рискуем совсем забуксовать на ней, застрять, а то и, потеряв скорость и заглохнув, вовсе скатиться вниз. И вообще, подумала я, какое же все-таки это легкомыслие – с утра пораньше ехать на самолет и не продумать никакого запасного варианта на тот случай, если, ну, например, колесо спустит, или мы здесь завязнем в этой непролазной глине, или заглохнет мотор. Или тихоход-англичанин какой-нибудь будет ехать свои 10 км в час впереди нас и не будет никакой возможности его обогнать? Что мы будем делать, если задержка в пути угрожает нам опозданием на самолет? А меж тем – поздно было продумывать и «запасной вариант». Была глубокая ночь.

Наутро ни свет ни заря мы погрузились в машину, и у меня опять засвербила мысль о разнообразнейших вариантах поломок, которые могут прервать наш легкий автомобильный бег. На всякий случай я даже не стала проверять колеса. Ну хорошо: вот, предположим, я увижу, что нечто не так, и что? В багажнике – ни гаечного ключа, ни отвертки, ни колеса. Запихнули чемоданы в багажник, утку из оливы – в кабину, и – в путь. Я только взывала мысленно к святителю Спиридону, чтобы он нам помог, и трогала ткань от его облачения, приколотую с изнанки к одежде на моем плече.

Так, первый крутой поворот проехали, теперь с газком круто вверх, гоп, опять крутой поворот, чуть снижаем скорость, снова вверх – опять газку, но не перегазовывать, а то колеса зароются в глину. Машина вильнула, но взобралась. Теперь надо осторожненько проехать над огромным камнем, который норовит пропороть дно: «Святителю отче Спиридоне...» И – рраз! – проскочили, теперь только спуск, а там – асфальт. И вдруг – встречная машина: не разъехаться, надо подать назад и прижаться к изгороди справа. Я остановилась, раздумывая. Из водительского окна выглянул молодой грек. Я отъехала и замерла, пропуская его. Встречная машина тронулась и осторожно, почти впритык, миновала нас – из водительского окна снова выглянул этот грек и что-то такое сказал. Я думала, поблагодарил. Наверное, рабочий, который строил дом там, по соседству, куда мы ходили с ночным фонариком.

Но главное дело сделано. Выезжаем на главную дорогу. Впереди – Керкира и – ни англичанина впереди, никого... Едем, едем, прощальным взором

оглядывая эту уже такую знакомую дорогу — Синеес, Нисаки, Барбати. Вдруг — какой-то мужик посередине дороги машет нам руками: стоп! стоп!

— Что еще ему надо? — недовольно буркнула я. — Не буду я останавливаться, может быть, он — бандит.

— Разве ты видела здесь бандитов? Остановись. К тому же, кажется, это тот самый грек, у которого мы арендовали машину, — сказал мой муж.

Я затормозила. Грек подбежал к нам, сильно волнуясь.

— У вас спустило колесо. Вас сегодня утром видел мой брат — вы мимо него проезжали. Он мне позвонил. Так вы не доедете до аэропорта.

Я вышла из машины — действительно, левое переднее колесо сильно сдуто. Еще немного — и машину бы бросило в сторону.

— Что же нам делать? — испугалась я.

— Я дам вам другую машину. Оставите ее прямо там же, в аэропорту.

Мы сели и поехали. Надо же, тот самый единственный грек, встретившийся нам на узкой дороге, оказался братом того, кто давал нам машину в аренду. Удивительно, что он смог заметить это колесо, удивительно, что он и саму арендованную у его брата машину узнал. И не поленился предупредить. А этот вышел на дорогу и преградил нам собою путь. Вот он, мой ночной придушенный ужас, это спущенное колесо! И как же тут все тонко и осторожно устроил святитель Спиридон, как по минутам все рассчитал, пока я обращала к нему свои мысленные мольбы, чтобы не случилось с нами ничего не только ужасного, но и просто искусительного, дурного.

...Вот мы и вернулись домой. Ничего-то, оказывается, я на Корфу не сделала, любовных сюжетиков для Журнала не написала, никаких вещественных доказательств не привезла, кроме икон святителя Спиридона, чтобы раздать друзьям, и огромной нелепой утки из оливы с головою, глядящей ввысь. Я поставила ее на пол и увидела, как она простодушна, и радостна, и весела. Перья ее, сделанные из корней, лихо торчат. Жаль только, что я не купила вторую такую же: стояли бы они теперь вместе, парочкою, рядком.

Единственное богатство, которое я накопила там,— это детское ощущение таинственности жизни, удивленный восторженный взгляд...

И все-таки мне хоть что-нибудь хочется вернуть в тот заветный шкафчик святителя Спиридона, откуда я так много взяла. Просто открыть скрипучую дверцу и положить сокровище — пусть пребудет там до поры, когда обнищает сердце и изнеможет любовь. Тогда скажет святитель:

— Чадо, пойди, возьми свою драгоценность там, где положила ее.

2007

Об автореe



Олеся Александровна Николаева окончила Литературный институт им. Горького в 1979 г., член Союза писателей с 1988 г., с 1989 г. преподаватель творческого семинара поэзии в Литературном институте, вела спецкурс «Истории русской религиозной мысли», с 2008 г. ведет на телеканале «Спас» передачи «Основы православной культуры» и «Прямая речь».

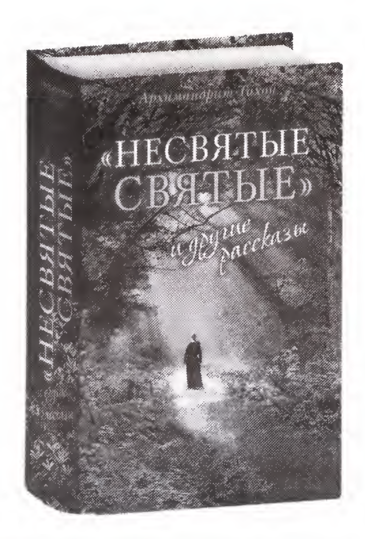
Олеся Николаева — лауреат литературных премий: «Национальная премия «Поэт»» (2006 г.), «Лучшая поэтическая книга года» (2009 г.), «Премия им. Б. Пастернака» (2002 г.), журнала «Знамя» «За лучшую прозу года» (2003 г.), «Anthologia» «За высшие достижения современной поэзии» (2004 г.), премия «Нестора-летописца» за книгу «Ничего страшного» (2008 г.), журнала «Новый мир» «За лучшую стихотворную подборку года» (2010 г.), кинофестиваля «Лучезарный ангел» «За лучший сценарий художественного фильма» (2010 г.), премия «Просвещение через книгу» по номинации «Художественная литература» за книгу

«Корфу» (2011 г.) и др. премии. Несколько раз выдвигалась на Государственную премию РФ. Автор 10 книг прозы, 11 книг поэзии и 4 книг религиозно-философских эссе.

Награждена орденами: «Культурное наследие» Международной федерации русскоязычных писателей (2011 г.), св. равноапостольной княгини Ольги (2010 г.).

Основные романы и повести: «Инвалид детства» (1988 г.), «Августин. Роман в стихах» (1988 г.), «Кукс из рода серафимов» (1992 г.), «Мене, текел, фарес» (2000 г.), «Корфу» (2008 г.) и др. Автор первым в современной литературе (еще в советское время) художественно изобразил представителей русского духовенства, явив их героями нашего времени.

В мае 2012 года Олеся Николаева стала лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая вручается за значительный вклад в развитие русской литературы. Во время церемонии награждения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Олеся Николаева «являет пример замечательного творческого и духовного подвига, который был запечатлен на страницах ее произведений».



В издательстве Сретенского монастыря ранее вышла книга архимандрита Тихона (Шевкунова) «“Несвятые святые” и другие рассказы».

«В часы, когда тягучее уныние подкрадывается и хочет заполнить душу, когда то же происходит с близкими мне людьми, я вспоминаю события, связанные с чу́дным Промыслом Божиим. Один подвижник както сказал, что всякий православный христианин может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с Богом. Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов, своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И всё же мы, хоть и немощные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего более прекрасного, чем созерцание поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире».

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Содержание

Олеся Николаева

«Небесный огонь»
и другие рассказы

Пятое издание

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВА *архимандрит Тихон (Шевкунов)*

ДИРЕКТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВА *иеромонах Симеон (Томачинский)*

ОФОРМЛЕНИЕ *иеромонах Матфей (Самохин)*

ВЕРСТКА, ОБРАБОТКА
ИЛЛЮСТРАЦИЙ *Михаил Родионов*

КОРРЕКТОР *Лариса Иконникова*

ТЕХНОЛОГ *Михаил Мыскин*

ФОТОГРАФИИ *из семейного архива Вигилянских, а также: архимандрита Тихона (Шевкунова), священника Игоря Палкина, Анатолия Горяинова, Ивана Правдолюбова, Михаила Родионова, Георгия Розова, Наталии Харитоновой*

Выражаем благодарность за помощь в подготовке текста Вере Растворовой

Подписано в печать 28.11.2012. Зак. № 7055/12
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Объем 15,5 п.л. Тираж 20 000 экз.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура NewBaskervilleC

Издательство Сретенского монастыря
Адрес издательства: 107031, Москва, Б. Лубянка, 19
Интернет-магазин: **www.sretenie.com**
Книжная торговля Сретенского монастыря: **(495) 628-8210**
Магазин «Сретение»: **(495) 623-8046**

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «ИПК Парето-Принт», г.Тверь. **www.pareto-print.ru**



1

2000



«Олеся Николаева смогла как никто другой — с открытым сердцем, сильно, живо, интересно и близко — начать повествование о современных православных людях, о Промысле Божием, о чудесных историях, научила нас любоваться нашими замечательными братьями и сестрами. За это Олесе огромное спасибо!»

Архимандрит Тихон (Шевкунов),
автор книги «“Несвятые святые” и другие рассказы»

«Происходит с тобой тот род сумасшествия, который всегда вызывает живая проза и который зовется несколько истрепанным словом — сопереживание».

Павел Басинский, «Россія»

«Искренне верующий человек умеет распознавать чудеса в обычной жизни, хотя они на первый взгляд кажутся случайными совпадениями. Олеся Николаева рассказывает о чудесах, свидетельницей которых стала сама».

Ирина Лукьянова, «Фома»

ISBN: 978-5753307460
9 785753 307460

Олеся Николаева

«НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ»

и другие рассказы